

Элеонора Шафранская

Туркестанский текст
в русской культуре:
Колониальная проза
Николая Каразина
*(историко-литературный
и культурно-этнографический
комментарий)*

Санкт-Петербург
Свое издательство
2016

Рецензенты:

*С. Н. Абашин, доктор исторических наук,
профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге;*

*А. М. Эткинд, доктор философии,
профессор Европейского университета во Флоренции.*

Шафранская Э.Ф. Туркестанский текст в русской культуре: Колониальная проза Николая Каразина (историко-литературный и культурно-этнографический комментарий). – СПб.: Свое издательство, 2016. – 370 с.

ISBN 978-5-4386-1048-9

На материале литературного творчества забытого, но весьма популярного при жизни писателя и художника Николая Николаевича Каразина (1842–1908) в книге рассмотрен туркестанский текст русской культуры.

Н.Н. Каразин – участник и очевидец колонизации Средней Азии – одним из первых запечатлел те необычные для европейского глаза артефакты, ментефакты, черты ландшафта и др., которые стали слагаемыми, или паттернами, туркестанского текста. Этот феномен словесности представлен взглядом XXI века: от современных устных нарративов о президенте РФ – в глубину истории, к временам колонизации среднеазиатских территорий.

*В оформлении обложки использована
работа Николая Каразина «Атака собак под Ургютом»
(гравюра Ивана Матюшина)*

Нас влекла сюда та неведомая сила, которую, быть может, уместно было бы назвать роком, неисповедимой исторической судьбой, ибо мы шли и пришли сюда случайно, без зрело обдуманного плана, без сколько-нибудь разработанной программы наших дальнейших действий, без предварительного ознакомления с географией страны, с языком и бытом туземного населения, настроенного по отношению к нам безусловно враждебно, как к завоевателям и неверным, какими мусульмане считают всех, не признающих Мухаммада последним и главнейшим пророком...¹

Владимир Наливкин

¹ Наливкин 2012: 60.

ПРОЛОГ

В мае 2013 г., находясь в Бухаре и ее окрестностях, я услышала от профессионального экскурсовода сакраментальную информацию: рассказывая о строительстве железной дороги (которую, как известно, проложили во времена Российской империи в конце XIX в.), гид сообщила, что до Бухары дорогу не дотянули, так как воспротивилось местное духовенство, а ограничили Каганом – бухарским предместьем. *Чем славен Каган?* – риторически произнесла экскурсовод. – *В Кагане с родителями проживал пять лет, будучи школьником, Владимир Путин, нынешний президент РФ*².

Эта история стала отправной точкой для дальнейшего расследования. Тогда же был проведен неформальный опрос среди жителей Бухары и Самарканда: мои информанты выразили убежденность в правдивости информации о «земляке» Путине. Рассказчики³ повторяли историю, услышанную мною от гида, варьируя лишь количество лет, прожитых в Кагане фигурантом. Достоверность нарратива подкреплялась ссылками на прессу, телевидение: «сами видели», «читали», как Путин приезжал, уже будучи президентом, в Каган, в родную школу, и даже сделал вспомоществование. Однако не все информанты могли ответить на уточняющие вопросы, например, о номере школы, в которой учился фигурант. Этот вопрос стал камнем преткновения – все отвечали, что не помнят, но обещали узнать. Пришлось созваниваться с Бухарой уже из Москвы – информанты узнали: школа сгорела.

² От информанта Е.В., 53 года, род. в Тверской обл., проживает в г. Бухаре; зап. Э. Шафранской в 2013 г.

³ Информанты: Б.Б., 56 лет, род. в Бухарской обл., проживает в г. Бухаре; зап. Е.В. Митрофановой в 2013 г.; Г.Б., 54 года, род. и проживает в г. Шафиркане Бухарской обл.; зап. Э. Шафранской в 2013 г.; Е.Ю., 24 года, род. и проживает в г. Бухаре; зап. в Р. Муртазиной в 2013 г.; Ф.Г., 35 лет, род. и проживает в г. Шафиркане Бухарской обл.; зап. Э. Шафранской в 2013 г.

Некоторые рассказы насыщены подробностями о пребывании президента в этих местах: *Путин двенадцати-тринадцатилетним мальчиком приезжал в Бухару. То ли дедушка у него был военный, то ли отец – не помню. Его привезли на экскурсию в Арк⁴, он сел на эмирский трон и фотографировался. Мне тогда стало понятно, что он станет большим человеком. Это было где-то в 1964 году. Его привезли на большой серой машине – ГАЗ-31, сопровождал высокий человек и доктор из областной больницы. Высокий человек – это военный, полковник. Этот военный умер в 1977 году, а его сын описал этот случай в 1984 году в газете «Правда Востока». Путин учился в Кагане в школе имени Чернышевского. Эта школа была рядом с военной частью (то ли отец служил, то ли дед – не помню)⁵.*

В рассказах большинства информантов родители Путина – работники железной дороги: *Он (Путин. – Э.Ш.) сам рассказывал – во время посещения могилы Амира Темура (Тамерлана. – Э.Ш.) в Самарканде, – что учился в Кагане, куда его родители были командированы в железнодорожное депо. Он говорил, что до сих пор помнит вкус плова. А когда его спросили накануне юбилея, – вы же знаете, что 7 октября у Путина был юбилей, – с кем и как он его будет праздновать, ответил: в кругу семьи, но на столе обязательно будут плов, шашлык и манты. И это не байка (на мое недоумение и неверие. – Э.Ш.), это показывали по телевизору⁶.*

Все рассказчики говорят о детстве героя. Можно предполагать, что на наших глазах рождается эпос о вожде современности – по вполне каноническому сюжету, присутствующему в мировом фольклорно-мифологическом дискурсе. В работе С.Ю. Неклюдова «“Героическое детство” в эпосах Востока и Запада» этот канон иллюстрируется примерами из эпоса раз-

⁴ Арк – бухарский Кремль.

⁵ От информанта Л.Г., 60 лет, род. в г. Кагане Бухарской обл., проживает в г. Бухаре; зап. Е.В. Митрофановой в 2013 г.

⁶ От информанта Х.А., 59 лет, род. и проживает в г. Шафиркане Бухарской обл.; зап. Э. Шафранской в 2013 г.

ных широт. «...Детство в героическом эпосе везде описывается сходно и все его формации могут рассматриваться как типологически близкие. <...> Постоянная активность... – доминирующая черта эпического богатыря, и проявляется она не сразу, содержась в скрытом виде в героическом детстве. Это своего рода инкубационный период, когда происходит становление и накопление характерологических черт персонажа.

Биографический момент особенно важен для складывания центрального образа эпоса, причем этап особого детского состояния может и не находиться в тесных причинно-следственных связях с “взрослой” жизнью богатыря, но тем не менее оказывается весьма существенным для конструирования его образа. Помимо некоторого количества сюжетных линий, берущих здесь свое начало, в нем присутствует еще и особый прием называния, представления героя, утверждения его права на исключительное, центральное положение в сюжете по сравнению с другими персонажами...» (Неклюдов 1974: 129).

Современный фигурант среднеазиатских нарративов вписывается в этот канон – если не героизмом, то своей избранностью, отмеченной, в частности, красноречивой деталью – это *трон эмира*: «...он сел на эмирский трон и *фотографировался*».

В восточных фольклорных, устных и письменных, эпических повествованиях развит мотив «трон, на который может воссесть только самый достойный». В частности, этот мотив лежит в основе индийского повествования «Жизнь Викрамы, или 32 истории царского трона»: когда умер царь, министры вынесли вердикт – закопать царский трон, так как более нет царей, достойных взойти на него. Брахман засеял поле, где был зарыт трон, и вскоре оно зацвело богатыми всходами. Проезжавшего мимо царя брахман пригласил на поле отведать плодов, что царь и сделал. Брахман же, спустившись с холма, стал стыдить царя за то, что он губит его поле. Так повторилось дважды. «Тут подумал царь про себя: “Удивительное дело! Когда этот брахман поднимается на холм, его ум охватывает желание быть щедрым, а когда он спускается, становится скуп. Под-

нимусь-ка я сам на холм и посмотрю, в чем тут дело» (Жизнь Викрамы 1960: 44–45). Поднялся царь на холм – пришли ему на ум такие мысли: «Нужно каждого избавить от горя, всех людей освободить от бедности; злодеев следует наказывать, а добродетельных защищать; с подданными должно обходиться по всей справедливости. К чему много слов: если бы сейчас кому-нибудь понадобилась моя жизнь, я отдал бы ее». <...> «...Как же узнать, что за сила скрыта в этом холме?» – подумал царь...» (Там же). Выкупив землю у брахмана, царь приказал раскопать холм – там оказался трон «исключительной прелести». Трон перевезли в город, в «залу с тысячью колонн, и в ней в добрый час при счастливых предзнаменованиях установлен...» (Там же: 60–61). Но как только царь собирался садиться на трон, одна из тридцати двух статуй, на которых он крепился, заговорила: «...царь, если ты, как и он (Викрама. – Э.Ш.), наделен мужеством, великодушием, силой, благородством и другими добродетелями, тогда садись на этот трон» (Там же). На утвердительный ответ царя статуя продолжала: «“О царь, не приличествует тебе самому похвалиться своей щедростью. Кто кичится своими добродетелями и горд, видя пороки других, тот попросту дурной человек. Благородные люди так не поступают...”. Царь Бходжа сказал: “Ты права; кто славит свои добродетели, тот глуп. Мне не следовало хвалить самого себя. Расскажи мне о великодушии того человека, кому принадлежал этот трон”» (Там же). Далее каждая из статуй рассказывает историю, завязкой которой (и рефреном всего цикла) являются слова: «Если тебе свойственно такое великодушие (или «великодушие Викрамы». – Э.Ш.), тогда садись на трон» (Там же: 63).

Типологическим индийскому сюжету о троне представляется нарратив *о мальчике на троне*. Так, в монгольском сюжете «Аржи-Буржи-Хан» повествуется о следующем: недалеко от ханских дворцов находился высокий земляной курган – любимое место для детских игр. Кто первым вбегал на курган, садился на него, как на трон, играл роль царя, разбирая жалобы и просьбы подданных. В кургане, считали вокруг, была скрыта чудесная сила: любой мальчик, сделавшись царем, становил-

ся ясновидящим, мудрым; когда роль царя исчерпывалась, он делался обычным. Аржи Буржи Хан заинтересовался этим феноменом, предположив, что в кургане есть какая-то тайна, сообщающая мальчикам мудрость и ум царя. Курган был разрыт, в нем обнаружен царский трон, однако не каждый мог сесть на него – деревянные воины преграждали дорогу. Лишь достойному был открыт путь (Аржи Буржи Хан 1959).

Существует сказка, аналогичная монгольской, и в бурятском эпосе. Одному человеку надо было разрешить бытовую ситуацию: два вернувшихся с военной службы молодца претендовали называться его сыном, а сын на самом деле был один. Все втроем идут к хану по имени Аржа Боржи, который славился мудростью и справедливостью, и он как будто бы разрешил проблему старика. Но один из юношей, которому было отказано быть сыном, продолжал плакать и причитать. Юноши со стариком оказываются на холме, а там сидит дева, которая и разрешила безвыходную проблему, загнав в бутылку нечисть, скрывавшуюся под маской сына. Старик и его настоящий сын были счастливы и побежали с новым известием к хану. Аржа Боржи-хан узнав, что его обманул шолмос, черт, пожелал узнать, что это за умная девушка, но на холме уже никого не было. Тогда хан приказал раскопать холм. Оттуда предстал золотой трон с тридцатью двумя ступенями. На каждой ступени стояло по два стражника из серебра. И Аржи Боржи-хану, прежде чем сесть на трон, пришлось пройти ряд испытаний, которые привели его, как недостойного трона, к смерти⁷ (Аржа Боржи-хан и небесная дева Ухин).

Вполне вероятно, что вместе с прочими культурными влияниями и заимствованиями (как-то: суфизм, дервишество⁸) из Индии в Бухару проник один из фольклорных мотивов, рас-

⁷ Существует несколько вариантов бурятских сюжетов об этом персонаже (варианты огласовки имени – проявление фольклорной вариативности): в частности, в одной сказке он предстает каннибалом (см.: Аржа Буржа-хан 1973).

⁸ См.: Тримингэм 2002: 58; Бёрк 2002; Эрнст 2002; ЦА 2008: 16, 18.

смотренных выше, – «трон, на который может воссесть только самый достойный» (о проникновении в Бухару монгольской и бурятской версии мотива «мудрый мальчик/дева, восседающий на холме, в котором скрыт божественный трон» пока говорить затруднительно⁹, но типологические сходжения налицо)¹⁰: «Мне тогда стало понятно, что он станет большим человеком», – сообщил информант о Путине-подростке.

Мотив трона, на который может взойти только достойный, присутствует в Коране: он связан с тронном пророка Сулеймана: «Мы испытали Сулеймана, / На трон его (безжизненное) тело положив. / И он (в раскаянии) вновь к Нам обратился / И сказал: “О мой Господь! / Прости мне и даруй такую власть, / Которой соответствовать никто после меня не будет...”» (Сура 38:34–35) (Коран 2004: 484).

Элементы разнообразных древних мотивов, связанных с тронном, их главная интенция – взойти на трон может только достойнейших из достойных, видимо, присутствуют в метатексте среднеазиатского *genius loci*, найдя выход в современных нарративах о Путине.

Таким образом, в бывшей советской республике российский президент в устном дискурсе предстает героем с биографией, имеющей отношение к данному региону. Излага-

⁹ Однако не исключена версия, что монгольские мотивы проникли в Бухару также посредством индийского канала: «Учеными Ц.С. Сульгимовым и Г.Н. Заятуевым был введен в научный оборот рукописный альманах “Волшебный мертвец и другие былины и сказания, выписанные из различных книг”. В него включены рассказы, сказки и притчи, взятые из ксилографических и рукописных сочинений. Альманах открывает знаменитым древнеиндийским собранием былин “Двадцать пять рассказов Веталы”, получивший среди тибетского и монгольского народов большое распространение под названием “Волшебный мертвец”, далее в нем идет повествование “Аржи-Буржи-хан”. Это не менее популярное в народе собрание былин – переработка древнеиндийского сказания “Жизнь Викрамы, или Тридцать две истории царского трона”» (Бадлаева 2008: 11).

¹⁰ Выражаю благодарность С.Ю. Неклюдову за ценные советы и литературу по данной проблеме.

ется нарратив о Путине как о земляке бухарцев: где именно жил и сколько лет, учился в местной школе, его родители были командированы в местное железнодорожное депо. Похожая картина в городе Самарканде: рассказчики сообщают источники (пресса, телевидение), называют себя их реципиентами.

Каков механизм рождения подобных сюжетов на постсоветском пространстве? С одной стороны, ориенталистские (колониальные) мифы выросли в советское и постсоветское сознание, с другой – оксиденталистские мифы набирают обороты в виде новых фантастических сюжетов. Более двадцати лет прежние советские республики носят статус самостоятельных государств, однако до сих пор чаяния, упования на справедливость связывают с бывшим Центром.

На вопрос о подобных сюжетах отвечает университетский преподаватель из Самарканда: *Что касается дикарски-азиатских бредней о Путине – это очередной миф. В Самарканде его тоже рассказывают, но с соответствующими вариациями. Есть тут байка и о том, что жена Путина похоронила своих родителей на нашем кладбище. И много другой чуши, подобной бухарской. Неужели вы могли поверить в такую галиматью*¹¹.

С одной стороны, информант подтверждает распространенность молвы и слухов о Путине, с другой – эти устные тексты не входят в его представление о фольклорной действительности. Показательно слово «поверить» в комментариях: неправда, «чушь», «галиматья» в данном контексте – это то, что лежит якобы за гранью здравого смысла, а потому не может являться объектом фольклористики¹².

С.Н. Абашин, востоковед, специалист по Средней Азии, будучи в сентябре 2013 г. в Самарканде, сообщает в Фейсбу-

¹¹ От информанта Р.Н., 66 лет, род. и проживает в г. Самарканде; зап. Э. Шафранской в 2013 г.

¹² Фольклор – «...“это вся та чепуха”... которая никем не воспринимается всерьез, кроме самих фольклористов» (цит. по кн.: Богданов 2001: 77).

ке: «Мне тут в Самарканде рассказывают, что бывшая супруга ВВП родилась именно здесь»¹³.

Некоторое время назад (в 2006 г.) был записан такой нарратив: *Ташкент. Еду в такси. Доброжелательный водитель-узбек интересуется, откуда я. Обрадовавшись, что я из России, говорит, что теперь мы заживем! Теперь станет лучше! Россия поможет, скоро деньги будут общие, ведь Путин – наш, самаркандский, в молодости он работал в Янгиоле, просто это не афишируется. Но все знают, что он уже двух человек своих поставил в правительство*¹⁴.

Постколониальная перспектива вносит в восприятие действительности новые акценты. «...Дискурсивная субъективность “освобожденного” человека, – по словам И. Калинина, – оказывается эффектом приобщения к тому языку, чья гегемония ранее обеспечивалась социальным господством, протест против которого и привел к политическому освобождению “обретающих голос” угнетенных» (Калинин 2012: 595). Таким образом, прежде «угнетенные» заговорили не новым, как вроде бы ожидалось, а прежним языком.

В отличие от бухарской или каганской публики, жители Ташкента, узбекской столицы, как показал опрос, ничего не знают о среднеазиатском прошлом Путина (исключением можно назвать предыдущую запись 2006 г. и еще одну, сделанную в 2014 г.¹⁵). Таким образом, можно утверждать, что

¹³ URL: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=365665500230762&set=a.112398022224179.14181.100003619451808&type=1&theater&no&tif_t=like (Дата обращения: 24.07.2014.)

¹⁴ От информанта С.В., 62 года, род. в г. Ташкенте, проживает в г. Москве; зап. Э. Шафранской в 2006 г.

¹⁵ Ожидая очереди на таможне ташкентского аэропорта, разговорилась с пассажиркой-ташкенткой. Говорит: «Раньше *ваш* часто к нам приезжал – понятное дело, бабушка его была еще жива». Пассажирка слегка испугалась, увидев/услышав мою, видимо, неадекватную реакцию: «Какая бабушка? С какой стороны? Когда умерла?» Жанр повседневных слухов/сплетен не предполагает подобной реакции, требующей уточнения, – отсюда испуг: «Точно не скажу, но ведь все знают».

перед нами географически очерченный *локальный фольклор* (Бухара, Самарканд и их предместья). Общее впечатление, вынесенное из частных разговоров (число собеседников значительно превышает число указанных информантов), таково: определенная часть узбекистанской публики боготворит Путина, образ которого встроен в нишу ностальгии по «Советам». Спрашиваю: что вы так тоскуете? – ведь у вас теперь есть то, чего не было прежде: дома, машины.

Раньше наши дети посещали Дом пионеров, кружки, дискотеки. В домах был свет, газ. Сейчас все наши подростки дети вынуждены искать работу в России. Мой сын работает уже десять лет официантом в Москве, сюда возвращаться не собирается. Мы неделями сидим без света и газа. Жаловаться некому. Один мой ученик, который обучается на дому по причине болезни, мечтает о компьютере. Мы выбили для него материальную помощь в международном фонде. Но деньги до мальчика не дошли. И компьютера он не получит. Напишите об этом в своей книге, пожалуйста¹⁶.

На сайте международного агентства новостей «Фергана.Ру» обсуждалось недавнее землетрясение (25 мая 2013 г.). В комментариях – слова: *Теперь землетрясений стоит опасаться десятикратно*¹⁷. Комментатор, вспоминая общесоюзную стройку по восстановлению Ташкента в 1966 г., выражает тревогу, что теперь узбекскому народу не поможет никто.

Интенцией сиротства, оставленности пронизана постколониальная литература¹⁸. Ключевая фраза одного из персонажей Сухбата Афлатуни: *Москва нашей столицей быть расхотела* (Афлатуни 2006а: 13) – выражает настроение жителей бывшей советской окраины. Об аналогичных экзистенциальных ин-

¹⁶ От информанта Ф.В., 51 год, род. в Навоийской обл., проживает в г. Шафиркане Бухарской обл.; зап. Э. Шафранской в 2013 г.

¹⁷ Фергана.Ру: Международное агентство новостей. URL: <http://www.fergananews.com/comments.php?id=20683&block=news> (Дата обращения: 31.08.2013.)

¹⁸ См.: Гриценко 2009; Рубина 2006; Афлатуни 2006; Афлатуни 2006а; Афлатуни 2009; Афлатуни 2011.

тенциях пишет Аркан Карив в романе «Однажды в Бишкеке», предлагая читателю постсоветскую картину, наблюдаемую рассказчиком в республике, соседней с Узбекистаном. Так, персонаж, простой киргиз, говорит: *Пусть будет царь. Нам не нужна демократия. Пока была советская власть, я знал, кто я. Пусть даже я был для урусов (русских. – Э.Ш.) чурка, но государство меня уважало и ценило* (Карив 2013: 348).

Как в устных нарративах, так и в художественно-рефлексивных фрагментах прослеживаются следующие характерные черты:

- тоска по прошлому, структурируемая ныне в ностальгический миф о советском времени;
- имперско-колониальный анахронизм;
- мифологическая приватизация культурных героев; подобная аберрация весьма распространена в дискурсе; два примера: шолоховские казаки считают Ленина своим, из казаков (Шолохов 1957: 161–162); украинцы опровергают еврейство Иисуса Христа, считая его своим, славянином: они его «реабилитируют», выводя за пределы его этнического сообщества: «...Уже доказано, шо сам Исус <...> шо вин сам сроде як не еврэй. Чэрэз то, шо ў нэго булы очи, очи булы зэлэнковати, сам буў рыжоватый, каштанового цвету буў волос, вот по ўсих сих датах...» (Белова 2005: 41).

И все же главный фактор в мифологизации биографии реального и здравствующего политического деятеля можно охарактеризовать как постколониальный (и даже посттравматический), что находит теоретическое подтверждение в современных концепциях ориентализма¹⁹. Эдвард Саид, один из критиков ориентализма, указавший на отсутствие в нем гуманистической сущности, говорит о посториенталистских культурных формах и создаваемых ими структурах чувства (Саид 2012: 52), о постколониальной деформации, отраженной в людских умах в виде деформированных идей (Саид 2012: 54). «Ни империализм, ни колониализм не являются простыми актами накопления и приращения. Оба они поддерживаются и,

¹⁹ См.: Там, внутри 2012; Эткин 2013 и др.

возможно, даже приводятся в движение мощными идеологическими образованиями, которые включают в себя представление о том, что определенные территории и народы *нуждаются* и даже призывают о господстве над ними, а также связанные с такими господством формы знания» (Саид 2012: 51).

Ниспровергатель ориентализма призывает исследователей попытаться понять гегемонию имперской идеологии, которая охватила все постколониальные культуры. Саид говорит о рудиментах империализма и колониализма в постколониальном дискурсе, о том, что имперское прошлое еще живо, и его следы в настоящем задают вектор изучения явлений, порожденных империей (Саид 2012: 71). Обращает внимание на такой парадокс: «...несмотря на горечь и унижение от поражения, в этом были все же и определенные преимущества, а именно: либеральные идеи, национальное самосознание и технические блага, – со временем все это позволяет хотя бы отчасти примириться с империализмом. Другие ретроспективно размышляют о колониализме в постколониальном веке, чтобы тем лучше понять трудности настоящего во вновь обретших независимость странах» (Саид 2012: 66–67).

Записанные в бывшей советской республике нарративы о Путине и выражающие тоску по советскому прошлому прецедентные тексты свидетельствуют не столько о деформации сознания постсоветского человека, сколько о присущей человеку мифологической органике вообще, – в данном случае – человеку определенной, постколониальной эпохи. «Западный человек мог уйти из своих прежних колоний... физически, но сохранил их не только в качестве рынка, он продолжает там править также морально и интеллектуально» (Саид 2012: 80), – именно в этот вердикт, вынесенный по поводу совсем других метрополий, колоний и постколоний, вписывается мифологический слой, который живет и получает развитие. Так, Путин не только «учился» в школе в предместье Бухары, но уже и родился в Бухаре, об этом – новый виток народной молвы (см.: Волчек 2014).

Арминий Вамбери в своем «Путешествии по Средней Азии» подметил много характерного в ментальности наро-

дов, среди которых ему пришлось провести десять опасных месяцев в 1863 г. С тех пор его наблюдения превратились в прецедентные тексты, которые лежат в основании нынешней ориенталистики.

После моего путешествия по Бухаре и окрестностям и неожиданного «откровения», будто Путин, будущий президент России, детство провел на бухарской земле, – по-особому высветился один из фрагментов книги Вамбери: путешественник, находясь на пути в Бухару, останавливается в старинном городе Андхое. Тогда, в 1863 г., Андхой располагался на пограничном перепутье: еще не афганский город (таким он станет в 1885 г.) и уже не бухарский (до 1820 г. входил в состав Бухарского эмирата). Жители Андхоя, по словам Вамбери, «говорят о Бухаре как об образце справедливости, благочестия и земного величия и почитали бы себя счастливыми, если бы эмир взял их под свое покровительство. Один старый узбек заметил, что даже френги (англичане) – “да простит ему господь его прегрешения!” – были бы лучше нынешнего мусульманского правительства» (Вамбери 2003: 180).

Эти два посыла: один из XIX в. (желание видеть правителем иностранца), второй XXI в. (присвоение биографии стороннего правителя²⁰) – смотрятся как типологически родственные. Каковы истоки подобного явления? что ему предшествовало? – об этом данная книга.

²⁰ Первоначальные впечатления о путинском дискурсе в Бухаре отражены в статье: Шафранская 2013а.

О ТУРКЕСТАНСКОМ ТЕКСТЕ

Узбекский писатель Абдулла Кадыри²¹ устами персонажа (альтер эго автора) восклицает: «Братья! Русские, рассчитывая на наши распри, уже приготовились возле наших ворот для нападения. И если мы, вместо того, чтобы свести наши силы для отпора в единый кулак, станем убивать своих, то какова будет наша участь? Об этом подумал кто-либо из вас? Вы подумали о том, каково будет нам под игом неверных? Каким образом вы намереваетесь дать отпор им, или все пустим на самотек?»

Слезы текли из глаз хаджи, и он продолжал:

– Так вот, братья! Пока вы роете могилу для кипчаков, другие готовят то же самое для вас. Пока мы точим мечи на кипчаков, русские направляют на нас свои пушки. Вы видите в кипчаках единственных врагов своих, я же всегда обращал свой взор в другом направлении и вижу куда более грозного врага...» (Кадыри 2009: 305).

Этот фрагмент – из романа начала 1920-х гг. «Минувшие дни», написанного на узбекском языке. Роман переводили на русский и издавали в советское время (1960–1980), однако этого фрагмента в русском варианте нет. Он есть в новом переводе романа (переводчик М. Сафаров), изданного в Ташкенте в 2009 г.

Абдулла Кадыри, узбекский писатель, был расстрелян в 1938 г. в возрасте 44 лет – в ходе сталинских чисток. Очевидно, та интенция, которая исходит из приведенного отрывка, – не из последних причин казни Кадыри. Вот еще один фрагмент, отсутствующий в советских изданиях романа: «Нас, слепых, безумных отцов, добровольно отдающих свое будущее в руки неверных, Аллах безусловно проклянет за междоусобицу, которая и есть причина нашей беспомощности перед неверны-

²¹ Абдулла Кадыри (1894–1938) – узбекский писатель, создатель первого узбекского романа «Минувшие дни» (1922–1925), репрессирован и расстрелян.

ми, сын мой! Нас обязательно постигнет кара Господня за то, что мы, собаки, позволили превратить в свинарник Туркестан, где покоится священный прах предков. Всевышний покарает нас за то, что мы осквернили эту святую землю, вскормившую наших великих предков – неповторимого Темура Гурагана, талантливого полководца Мурзу Бабура, ученых – Фараби, Улугбека, Ибн Сино, – которые развивали науку и культуру в Туркестане» (Кадыри 2009: 323–324) – чем не аналог узбекского «золотого слова, со слезами смешанного», из «Слова о полку Игореве». Почему этот отрывок не прошел советскую цензуру? Вероятно, по причине той мысли, которая вытекает из этого слова-обвинения: осквернили, впустив на свою землю неверных.

Это был взгляд изнутри – на приход в Туркестан²² русских.

А как русские смотрели на свое внедрение на чужие территории? Об этом написано немало воспоминаний, травелогов, жанрово-литературных произведений. Что-то печаталось по горячим следам, что-то создано в советское время – с четкой идеологически имперской, затем с советско-имперской позиции. А разночтения, субъективно-объективные рефлексии по поводу Туркестанского проекта властью не очень поддерживались (терпимо и лояльно – до революции, жестко и агрессивно – после).

Интервьюер «Русского журнала» задает современному писателю вопрос: «Тема колонизации азиатских окраин Империи почти не становилась темой литературных произведений, хотя во взаимопроникновении европейской и среднеазиатской культур можно увидеть ключи и к некоторым социокультурным процессам уже советского времени. С чем связано такое умолчание о единственном для России крупном колониальном освоении?» Отвечает Евгений Абдуллаев: «Ну, если бы оно было единственным... Был еще Крым; был, конечно же, Кавказ. Они, похоже, и оттянули основные лите-

²² О топониме Туркестан и туркестанском ареале см.: ЦА 2008: 12–15.

ратурные ресурсы. И какие: Пушкин, Лермонтов, Толстой... Тут совпал период “колониального освоения” с романтизмом; романтизм вообще чувствителен к экзотике, к “берегу дальнему”. Даже кавказские повести Толстого еще светятся романтизмом, хотя и остывавшим... С азиатскими окраинами все было сложнее; когда русские войска брали Ташкент и подчиняли Бухарское ханство, романтизм уже отпылал. А реализму с его умением открывать новые миры в самом ближайшем и обыденном, в “борще с мухами”, эти экзотические окраины были ни к чему. Толстой, понятно, уже туда не поехал. Вронского отправил, как в тридевятое царство. И в советское время Туркестан оставался литературно неосвоенным. Не считая туркменских вещей Платонова и “Узбекистанских импрессий” Кржижановского; но это – двадцатые годы, а потом? Поэты – лучшие – тоже, как и прежде, летели стаями на Кавказ. Грузия Пастернака, Армения Мандельштама. А что у Мандельштама про Среднюю Азию – где он, кстати, и не был? “Однажды из далекого кишлака / Пришел дехканин в кооператив, / Чтобы купить себе презерватив...”...» (Абдуллаев 2011а).

Ключевой фразой в ответе писателя видится эта: «...реализму с его умением открывать новые миры в самом ближайшем и обыденном... эти экзотические окраины были ни к чему», с чем можно не согласиться. Одним из ярких, весьма популярных при жизни писателей, «открывавших новые миры и экзотические окраины», а именно Туркестан, был Николай Николаевич Каразин.

Туркестанский текст в русской культуре стартовал с тех самых пор, когда в Среднюю Азию пришли российские военные, когда в печати стали появляться заметки, очерки, этнографические сообщения, а потом уже и художественная проза о тамошнем крае – примерно с 1860-х годов.

Уже зафиксированный ташкентский текст в русской культуре (см.: Шафранская 2010) – это отпочковавшееся образование от туркестанского текста, расширившееся до самобытного культурного феномена и просуществовавшее полто-

ра века в русском культурном дискурсе. Собственно ташкентский текст зародился именно в недрах туркестанского, став кульминационной фазой его развития.

Под локальным (именным, топонимическим) текстом в данном исследовании понимается совокупность представлений о месте, деталях этого места, языке, фольклоре, мифологии, людях – с их нравами, ментальностью, поведением, жестами, этнографическими характеристиками – всего того, что впоследствии будет растиражировано и станет сводом стереотипов о месте, или локальным текстом.

Туркестанский текст, как представляется, был сотворен теми первопроходцами в Среднюю Азию, которые записывали всё, что поражало взгляд европейца, что не укладывалось в привычную картину мира. Это были, прежде всего, военные востоковеды. Но, как известно, на чувства и умы читателей более воздействуют художественные образы – потому проза русского писателя Николая Николаевича Каразина сыграла в рождении туркестанского текста одну из ведущих ролей.

Пришло время исследовать прозу Каразина по ряду причин: во-первых, диктат идеологии XX века сделал всё, чтобы это имя было забыто (ниже будет высказано предположение почему), а писатель Каразин – достойный по всем параметрам; во-вторых, феномен туркестанского (как и любого другого) текста возможно исследовать только постфактум, оглядываясь в прошлое; в-третьих, сам Каразин был слагателем туркестанского текста, повторяя из очерка в повесть, из рассказа в роман одни и те же детали, образы, наблюдения. Они были важны, по мнению автора, для создания инокультурной картины мира, именно они впечатлили его неазиатское око. И, в-четвертых, только в 2000-е годы в России стали появляться постколониальные исследования (на Западе несколькими десятилетиями раньше), в поле которых проза Каразина непременно должна быть включена.

Не все, кто описывал Туркестан времен включенности его в состав Российской империи, были слагателями туркестан-

ского текста. Но Каразин – именно его слагатель, с упорством тиражировавший из текста в текст туркестанские сигнатуры.

Сигнатуры города (термин введен в научный оборот литературоведом Т.В. Цивьян) – это некий «минимальный набор признаков», которые «тиражировались в бесчисленных словесных и несловесных, художественных и нехудожественных текстах» (Цивьян 2001: 41), или, иначе, – паттерны.

В советские времена о завоевании Средней Азии было принято писать так: «Кауфман, обращаясь к купцам: “Крепите и дальше промышленность края... способствуйте его процветанию... Вносите культуру... помните, господа, вы здесь культуртрегеры”» (Алматинская 1958: 206);

«Кауфман, первый генерал-губернатор Туркестанского края сообщает императору: “В ханствах идет борьба за власть. Туземцы разорены до крайности, озлоблены. Их подстрекают против нас, бьют на фанатизм. Надо покончить с Кокандским ханством, успокоить край, заселить его русскими крестьянами и предоставить льготы для переселенцев”. <...> [Царь:] “Пожалуй, ты прав. Большие надель, льготы – это привлечет мужиков. Да, край надо заселять. И здесь будет спокойнее (имеется в виду в России. – Э.Ш.). Действуй! Только бы переселенцы не возвращались обратно”» (Алматинская 1958: 216–217);

«Как известно, в Ташкент, в Самарканд и другие наши города каждое лето приходит много поденных рабочих со всех мест Средней Азии. Особенно из Бухары, Каратегина, Дарваза, Бадахшана. Все эти рабочие возвращаются на зиму домой, там рассказывают о русских порядках, о русском управлении. Не удивительно, что все русские путешественники и ученые встречают радушный прием даже в самых захолустных углах. Слово же “инглиз” повсюду в Азии служит синонимом бессердечного эксплуататорства...» (Алматинская 1958: 367).

Или так, как в остросюжетном романе, фрагмент которого напоминает передовицу из советской газеты: «На землях советской Средней Азии образовались три союзных республики: Узбекская, Туркменская и Таджикская. Невиданно росли

и ширились посевные площади под белое золото – хлопок. Советский Союз в самое короткое время должен был покончить с зависимостью от зарубежных королей хлопка; в стране строились огромные текстильные фабрики и комбинаты. И люди трех солнечных республик были захвачены большими планами, горячей работой, великими надеждами.

Труженики-дехкане спорили, думали, примерялись и объединяли хозяйства в коллективные артели. Чайрикеры – безземельные крестьяне-издольщики – получали самые лучшие земли. Мелиораторы и ирригаторы обводняли древнюю сухую землю, проводили каналы, орошали пустыни, поднимая миллионы кубометров нетронутой земли. Водхозовские разведчики закладывали и бурили скважины в пустыне. Геологи рылись в земных недрах. Дорожники перекидывали мосты через дикие ущелья, покрывали асфальтом сотни километров дорог. На карте возникали новые названия, бывшие кишлаки превращались в города» (Брянцев 1959: 15).

Совсем иным выглядит завоевание Средней Азии на страницах каразинской прозы. С одной стороны, в творчестве Каразина ощутимы интенции писателя-этнографа и художника-реалиста, стремящегося к объективности изображения, не всегда в угоду официозу и пропагандистскому дискурсу. С другой – Каразин, помимо прочего, строит модель будущего, которая впоследствии будет приватизирована русской колониальной прозой последней трети XIX в., будучи связанной с цивилизаторским проектом Российской империи в Туркестане. Оглядываясь на литературу и искусство советского XX в., можно констатировать, что писатель Каразин одним из первых в русском дискурсе участвовал в создании *канона будущего* для вновь завоеванных земель и народов; этот канон будет растиражирован впоследствии в художественной литературе, официальной пропаганде, мифологии повседневности; жив он по сию пору: яркий пример – ироничный «остерн» В. Мотыля «Белое солнце пустыни», в котором паттернами туркестанского колониального текста являются кумачовые лозунги, растянутые в кадрах фильма: «Первое общежитие

свободных женщин Востока», «Долой предрассудки: женщина – она тоже человек», «Музей Красного Востока» – и реплики персонажей фильма: «Час освобождения настает!», «Забудьте вы, к чертям, свое проклятое прошлое» и др.

Несколько слов необходимо сказать о рабочих терминах *колониальный*, *колониализм*. Как ни странно, они до сих пор вызывают, не сказать, что неоднозначное толкование, скорее, протест у части ученой публики, особенно в последнее время, после выхода книги А. Эткинда «Внутренняя колонизация» (Эткинд 2013). Несколько ранее, в 2007 г. в журнале «Антропологический форум» опубликованы две рецензии на книгу Уилларда Сандерленда (Моррисон 2007) – эти рецензии оппонировали друг другу, выражают полярный спектр в отношении как к самой проблеме колонизации, так и терминологии.

Будучи нейтральными и вполне адекватными по сути, указанные термины примерно в середины 1930-х гг. резко поменяли коннотацию, встав в ряд хулиганской политической обоймы, адресованной «врагам» – антисоветскому Западу и империалистам²³. Этот лексико-идеологический кульбит, на мой взгляд, вписывается в историко-культурную парадигму, названную Аланом Дандесом *проективной инверсией* (Дандес 2003). С той поры проблема колониализма применительно к СССР, а затем к РФ приобретает статус исторической травмы: одни страдают от нее, другие пытаются исследовать проблему.

Российская империя никоим образом не скрывала приращения своих территорий посредством колонизации, напротив, она этим гордилась: одно из свидетельств – Всемирная выставка в Париже в 1900 г., где Россия была представлена своими окраинами, среди прочих – Туркестаном (Шевеленко 2012).

²³ Анализируя постсоветские процессы в центральноазиатских республиках, А. Халид пишет: «...Российская экспансия стала называться покорением, а не присоединением, как ее принято было называть с 1930-х годов» (Халид 2010: 181), что зеркально отражает как раз тот период, который предшествовал 1930-м годам.

Как Россия завоевывала Туркестан – об этом почти вся проза Каразина, забытого, или вычеркнутого из литературного мейнстрима, по причинам идеологическим, несоответствия советской пропагандистской машине. Однако именно творчество Каразина питало советский соцреалистический дискурс – тому есть немало доказательств (один из примеров будет приведен ниже).

Н.Н. Каразин, будучи русским офицером, присягнувшим императору, разделял идеологию Туркестанского проекта, и это многогранно отражено в его живописном и литературном творчестве – с одной стороны. С другой, как писатель-реалист и писатель-этнограф он не мог обойти кровавый и насильственный характер этого проекта. Потому в его прозе ощущима щедринская интенция – родом из «Господ ташкентцев», подтверждением чему может служить совершенно прозрачное заглавие его романа – «Погоня за наживой», в котором представлены «ташкентцы» всех мастей и профессиональных пристрастий: «Их много теперь *туда* едет» (Каразин 1905: 2/37)²⁴; «Много теперь едет к нам всякого народа, и молодого, и старого...» (Каразин 1905: 2/39); «Я туда вот уже третий раз еду, и мне эта дорога вот как известна» (Каразин 1905: 2/41); «Что же, это все начальники едут? – Начальники! – Большие? – Нет, маленькие, большие поедут после. – Вот беда будет!» (Каразин 1905: 2/69); «Мы будем рыскать по горам и запускать в их недра свои буравы и щупы...» (Каразин 1905: 2/107); «А нельзя будет полюбопытствовать, – обратился Бурченко к восточному человеку, – что именно вы предполагаете устроить в Ташкенте?! – Новый ресторан! – Ну, а вот эти барыни, что же они будут делать? – Будут подавать господам

²⁴ Почти все ссылки на каразинские художественные тексты сделаны по собранию сочинений в 20 томах 1905 г., за редким исключением – по сборнику избранного 1993 г., когда страницы 1905 г. повреждены или утеряны; в других случаях – по прижизненным журнальным публикациям Каразина, которые не вошли в 20-томное собрание сочинений. Все тексты приведены в соответствие с современными нормами правописания.

кушанье и играть на арфе! – серьезно ответила за своего мужа Августа Ивановна» (Каразин 1905: 2/110).

Чтобы не продолжать почти неисчерпаемый ряд примеров (у Каразина двадцать томов художественной прозы), остановимся на одном произведении, которому писатель предположил жанровое определение – сказка-быль, это рассказ «Атлар».

Атлар – имя святого, захороненного в мазаре в пустыне, где пасет скот мальчик, плененный воинами-кочевниками. У мальчика, как ему кажется, устанавливается особая связь с этим святым, когда он приходит к нему на могилу, долго сидит там, а потом засыпает и слышит во сне назидания Атлара. Святой не только говорит, но и показывает мальчику картины будущего, весьма символические. В частности, финальной и кульминационной картинкой в череде испытаний, которые выпадут на долю народа – того, с кем отныне связана жизнь мальчика, запомнилась подростку такая: «...богатырь на белом коне, шагом едет. / Весь серебром залит этот витязь, спокойно на юг смотрят голубые глаза, в одной руке богатырь молнию держит, в другой зеленую ветку, покрытую утренней росой. / Все, и стар и млад, поднялось навстречу пришельцу с севера, собрались несметные полчища, дорогу загораживают... и нельзя, сил нет загородить ему путь, сил нет остановить покойный, мирный шаг его лошади. / Падают перед ним рядами люди вооруженные, встают позади безоружные... друг на друга глядят, словно от глубокого сна очнулись. Льется потоками кровь перед всадником, цветами и золотым хлебом позади его эта кровь расстилается. / И дальше, да дальше, все к югу, да к югу едет дивный богатырь, молнией разит вперед, благотворной росой кропит то, что за ним осталось... / – Кто это? кто? / – Не спрашивай! – отвечает голос под шлемом. – Поймешь сам, другим расскажешь, и благо будет тем, кто тебя послушает...» (Каразин 1905: 15/117).

Композиционно рассказ представляет биографию Мат-Нияза – от детства до старости. В один из судьбоносных моментов жизни в сознании героя всплывает картинка

из детства, показанная ему святым Атаром. Следуя именно ее, картинки, сюжету, можно было спасти целый народ. Так и случилось. Сопротивляться русским войскам – голубоглазым воинам с севера – было бесполезно, Мат-Нияз вновь увидел того витязя с зеленой веткой и произнес: «Политые кровью мертвые пески оживут цветущими садами... За тысячи смертей Аллах пошлет десятки тысяч жизней... Сохранишь ты престол и доброе имя. И капля росы с благотворной ветви упадет и на твою венчанную голову» (Каразин 1905: 15/143).

В этой прозрачной аллегории прочитывается, конечно, то благоденствие, которое несут с севера голубоглазые воины, иными словами, русские колонизаторы.

И если для Каразина характерно, судя по всему его творчеству, неоднозначное отношение к колонизации Туркестана, то в этой сказке оно вполне имперское, иллюстрирующее расхожие стереотипы о счастье, принесенном закабаленному Востоку русскими.

В сюжете рассказа «Атлар» мальчик Мат-Нияз, обученный в специальной школе, становится артистом, бачой, внезапно он открывает свои таланты, в частности, певца-импровизатора. Он поет песню о цветке: «Теплый, ароматный ветер Хорасана занес малое зерно в безлюдную дикую пустыню. / Холодный ветер далекого севера занес туда каплю воды и оросил засохшее зернышко. / Жизнь пробудилась в нем, и юный зеленый глазок выглянул на свет из сыпучих песков. / Стройным, ветвистым кустом разросся зародыш — и дивные розы на нем расцвели... / Слава тебе, ветер Хорасана!» (Каразин 1905: 15/120).

Если совершить не очень большой, относительно времени написания прозы Каразина, временной рывок вперед, в колониальный текст XX в., то непременно надо делать остановку на прозе А. Платонова: в его повести «Джан» и рассказе «Такыр» обнаруживается классический колониальный канон советского образца, с присущим для колониального дискурса пафосом. Современный исследователь пишет, что в «работе над “Джаном” Платонов обращался к материалам колони-

альных экспедиций XIX века, в частности к работам А. Берковича-Черкасского²⁵ и Н. Муравьева» (Скаков 2011). Среди колониальных экспедиций того периода фигура Каразина была весьма примечательная. Обращался ли Платонов непосредственно к творчеству Каразина – неизвестно, хотя каразинское творчество было на слуху у всех, кто так или иначе соприкасался с колониальным дискурсом (аргументов более чем достаточно).

В связи с этим историческим экскурсом примечателен рассказ Платонова «Неизвестный цветок», известный сегодня школьникам (входит в программу по литературе). С одной стороны, было бы интересно обнаружить в платоновском повествовании каразинский след. С другой, при любом раскладе (наличии или отсутствии заимствования) рассказ Платонова зовет к интертекстуальности: «засохшее зернышко», занесенное в пустыню ветром, – у Каразина, и упавшее «из ветра одно семечко» (Платонов 1978: 837) – у Платонова.

Помня, что «пространство в целом является ключевой категорией для Платонова» (Скаков 2011), а пустырь в платоновской поэтике рифмуется с пустыней, то те цветы, которые выросли на месте неизвестного цветка, на облагороженной пришлыми пионерами почве, аллегорически прочитываются как благодать, связанная с колонизацией пустынных земель Туркестана. «Даша увидела, что пустырь теперь стал другой, он зарос теперь травами и цветами. И над ним летали птицы и бабочки» (Платонов 1978: 840), не говоря уже о растиражированной поэтике ориентализма, которая присутствует в платоновском тексте стилизованной под детскую речь: «А отчего ты на других непохожий?» (Платонов 1978: 839), «...он ведь был слепой и не видел себя, какой он есть» (Платонов 1978: 838) и проч.

Фраза из платоновского повествования «Может, это цветок скучает там по своей матери, как я» (Платонов 1978: 839) определенно располагает к интертекстуальности в простран-

²⁵ Александр Беркович-Черкасский, участник Хивинского похода XVIII в., умер в 1717 г.

стве постколониального дискурса. Так, в сюжете рассказа современного писателя Сухбата Афлатуни (Евгения Абдуллаева) «Остров Возрождения» многозначна деталь – картина художника К. Редько «Материнство». Автору для чего-то необходимо акцентировать внимание читателя на этой картине. Попробуем дешифровать эту деталь. «Картина “Материнство”. Женщина и ребенок. Она склонилась. Он задумался. Штанишки спущены, струйка шуршит в землю. Она (мать) поддерживает ему его. Направляет. Чтобы не облил штанишки. Стирать-то ей. <...> Мать большая, широкая, как карта мира» (Афлатуни 2009). С одной стороны, эта *карта мира* читается как аллюзия на книгу Петра Вайля «Карта родины», в которой автор пишет: «История не слишком давняя, но реальная. Попавший в эти края новичок едва ли не каждый день слышит расхожий сарказм “Мы русским благодарны. Русские нас научили трем вещам: пить водку, ругаться матом и ссать стоя”» (Вайль 2007: 367), – так, брутально, выражена мифология повседневности бикультурного пространства. С другой стороны, покинутость, сиротство бывшего туркестанского окоема на рубеже последних веков вписывается в метафору «мать – дитя», частотную для всего творчества Сухбата Афлатуни. Итак, мать на картине – это Россия, большая, «как карта мира», рифмуется с платоновским «Может, это цветок скучает там по своей матери...»; а ребенок на картине «Материнство» – с платоновским образом неизвестного цветка. И в том и другом примере соблюден колониальный канон, однако интенции в рассказе Сухбата Афлатуни постколониальные: модель будущего счастья, воссозданная Каразиным в рассказе «Атлар» и Платоновым в ряде произведений, не сложилась. Общее настроение и ландшафт в рассказе «Остров Возрождения» – это пейзаж смерти и забвения.

Еще одна подсказка, предполагающая возможность заимствования у Каразина, – это жанровое определение текста: и у Каразина, и у Платонова в подзаголовочных данных значится «сказка-быль». Читал ли Платонов Каразина? Скорее всего, да.

Обильное цитирование текстов Каразина в данном исследовании связано, во-первых, с тем, что они не были ни оцифрованы, ни тем более перепечатаны в послереволюционной орфографии ни разу (за исключением одного сборника избранной прозы в 1993 г.); во-вторых, мы преследовали цель введения текстов Каразина в научный обиход (материалы художественных и публицистических текстов Н.Н. Каразина входят в научный дискурс впервые за XX – XXI вв.).

КОЛОНИАЛЬНАЯ РУССКАЯ ПРОЗА В КОНТЕКСТЕ ПОЛИТИКИ НАМЕРЕННОГО ЗАБВЕНИЯ

Он не был запрещенным писателем – он не был изруганным писателем – он как бы не существовал²⁶.

Руфь Зернова

Ранжирование писателей прошлого по «рядам» (писатель первого ряда, второго и т. д.) стало общим местом как в науке, так и в повседневности.

В истории литературы случались «переходы» писателей из одного ранга/ряда в другой (например, Н.С. Лесков). Условно писатели второго и третьего рядов объединены в истории русской литературы под термином «беллетристы», который имеет как нейтральную («повествовательная проза»), так и негативную коннотацию («легкое чтение»)²⁷. Для XIX в. было характерно именовать беллетристом автора художественной прозы – без каких-либо дополнительных смыслов.

Однако, рассматривая давний литературный процесс уже как историю, само собой возникает стремление к упорядочиванию: что было характерно для текущей литературы? каковы ее предпочтения? какова поэтика? И.А. Гурвич пишет: «Бросается в глаза зависимость между утверждением реалистических принципов и формированием русской классики, ее стремительным расцветом. Но тем же обстоятельством

²⁶ Зернова 1988: 115; этот пассаж из мемуарной прозы Руфи Зерновой значим для данного сообщения как посыл, ведущий к классификации ряда писателей, хотя личность А. Грина, о котором повествует Р. Зернова, к дальнейшему изложению не имеет отношения.

²⁷ См. подробнее в кн.: *Гурвич И.А.* Беллетристика в русской литературе XIX века (1991).

вызван и подъем беллетристики. Реализм поставил во главу угла критерий жизненности, прямое слово о действительности, постигаемой во всех ее проявлениях, коренных и частных, устойчивых и преходящих, а это не могло не повысить роль текущей литературной работы. Ибо беллетристу как раз по силам рисовать “с натуры”, ибо “обыкновенному таланту”²⁸ в пору оперативно откликаться на злобу дня, обозревать окружающее, живописать многообразие лиц, занятий, укладов. Там, где происходит “открытие мира”, беллетрист зачастую впереди – не по значению, а по счету времени» (Гурвич 1991: 22).

Именно к таким «обыкновенным талантам», думаю, относится Н.Н. Каразин. В пользу этого говорит поэтика его прозы, сложившаяся под влиянием современных писателю литературных запросов, мод, целей.

О целях – Гурвич: «...Беллетристика того времени задавалась нередко... целью: воспроизвести специализацию мышления, психики и ее последствия – в купеческой, буржуазной, клерикальной и иной среде» (Гурвич 1991: 34). Среда каразинской прозы и есть именно специфическая: это русское «ташкентство» разных социальных ниш – военной, чиновничьей, купеческой, крестьянской. «Решая свои задачи, беллетристика в какой-то степени пополняет общий фонд художественного человековедения. Вклад ее, может, и невелик, но считаться с ним мы обязаны» (Гурвич 1991: 36), – продолжает Гурвич. «...В средних... произведениях есть своя, иногда немалая доля общечеловеческого»²⁹.

Для поэтики прозы Каразина (как для поэтики беллетристики вообще) характерны такие черты и приемы: повествователь – путешественник, наблюдатель, обозреватель;

²⁸ По классификации В.Г. Белинского, существует иерархия: *гений, гениальный талант и обыкновенный талант*.

²⁹ *Кормилов С.И.* Предмет современного литературоведения и контекст культуры // Литературные произведения XVIII – XX веков в историческом и культурном контексте. М.: МГУ, 1985. С. 6–7 (цит. по: Гурвич 1991: 29).

сочетание сюжетов авантюрного, социологического, исторического; ситуация частного человека в историческом событии; предпочтение в создании не характера, а типологического персонажа; «изображение “среды обитания” (жилища, утвари, интерьеров и т. п.)» (Гурвич 1991: 52); присутствие детективного мотива; этнографическая составляющая. В итоге – реализуется одна из главных функций беллетристики – ознакомительная.

В чем же причины замалчивания прозы Каразина в XX в.? Они не могут быть связаны с творчеством, с собственно художественными текстами, талантливыми и новаторскими. Их надо искать в другой плоскости: в идеологической, ментальной, или в том антропологическом узоре, который пропагандирует на данном этапе власть.

Литератор Николай Николаевич Каразин (1842–1908) в XXI в. известен мало, больше – как художник. При жизни Каразина о нем много писала критика. Так, параллельно с публикацией его романов и очерков в петербургских журналах «Дело», «Нива» печатаются рецензии, разборы его текстов – порой острые, нелицеприятные, но содержащие однозначную оценку: Каразин – явление самобытное, узнаваемое. К слову, при жизни писателя переведены несколько сборников его прозы: на немецкий – «Ак Токмак. Очерки нравов Центральной Азии», опубликованные в «Deutsche Rundschau» в 1875 г., «Der Zweibeinige Wolf» – «Двуногий волк» (1876); на французский – «Scènes de la vie terrible dans l'Asie centrale» – «Сцены ужасной жизни в Центральной Азии» (1880) и «Le Pays ou l'on se battra: voyages dans l'Asie Centrale» – «Страна, в которой сразимся: поездки в Центральную Азию» (1879), и др.

Редакция журнала «Русская старина» (1907) по случаю юбилея творческой деятельности Каразина предваряет публикацию его очерка такой врезкой:

«В конце (27 ноября) истекшего года исполнилось тридцатипятилетие деятельности Николая Николаевича Каразина, популярного художника-этнографа и писателя, автора печатаемых ниже воспоминаний.

Молодость свою (род. 1842 г.) Н.Н. провел в Туркестане, участвуя во всех почти делах русских войск при среднеазиатских завоеваниях и в ученой экспедиции на Амударью, что дало ему богатый этнографический и художественный материал для будущих работ. Выйдя в 1871 г. в отставку, посвятил себя литературной и художественной деятельности. За 80-е годы имя Н.Н.К., как талантливого иллюстратора и бытописателя среднеазиатской жизни, приобрело широкую известность; его романы и повести “Двуногий волк”, “В пороховом дыму”, “В камышах”, “На далеких окраинах”, открывая дотоле неизвестный мир, пользовались таким же постоянным успехом, как и характерные рисунки азиатской пустыни с караванами верблюдов. В 1877 г. Каразин вместе в Вас. Ив. Немировичем-Данченко, В.В. Верещагиным выдвинулся в качестве талантливого и добросовестного военного корреспондента.

Из позднейших его работ обращают на себя внимание иллюстрации к изданию путешествия Государя императора Николая Александровича в бытность Наследником на Восток.

Каразин известен также и своими акварелями, он один из основателей общества русских аквалеристов, и каждый год на этих выставках появлялись его вещи.

Деятельность Н.Н. весьма плодотворна: им напечатано более двадцати пяти томов романов, повестей и рассказов, иллюстрации же его в течение многих лет появлялись в наиболее распространенных еженедельных журналах, и имя Н. Каразина всегда встречалось читателем как одно из хорошо знакомых и самых симпатичных.

Редакция “Русской Старины”, помещая эту статью уважаемого автора, приветствует талантливого Н.Н. Каразина по случаю исполнившегося юбилея и желает ему продолжения полезной творческой деятельности на долгие годы» (РС 1907: 531–532).

А журнал «Нива» в 1874 г. еще только знакомит своих читателей с личностью и деятельностью Н.Н. Каразина: «Ученая экспедиция по течению Амударьи... занимает в настоящее время умы всей читающей публики. Деятельное участие,

которое принимал в этой экспедиции даровитый сотрудник “Нивы”, Николай Николаевич Каразин, обещая много интересных очерков и рисунков нашему журналу, в то же время придает новый и так сказать общественный интерес его личности. Пользуемся этим случаем, чтобы познакомить наших читателей с жизнью и деятельностью художника, давно уже известного им со стороны его литературного и художественного таланта» (Нива 1874: 36/561).

После приведенных биографических данных Каразина, перечня военных походов, в которых он участвовал, редакционная презентация продолжается хвалебными отзывами о его деятельности: «Начало литературно-художественной деятельности Каразина относится к 1871 году, когда он внезапно выступил во всеоружии двух дарований: как живописец с целым рядом среднеазиатских эскизов и как писатель – с первого произведения своего завладевший вниманием публики. С тех пор он является одним из деятельнейших сотрудников “Нивы”, “Illustrated London News”, “Всемирной иллюстрации”, “Беседы” и “Дела”. <...> Соединяя в себе наблюдательность этнографа с талантами писателя и живописца и будучи ориенталистом благодаря службе в Средней Азии, Каразин не мог не обратить на себя внимания при составлении ученой экспедиции в места его прошлых военных подвигов. Он принял новое назначение с восторгом и горячностью, которую отмечены все его труды...» (Нива 1874: 36/562).

Современники, пишущие о туркестанском проекте, упоминают о Каразине:

«Широкой волной хлынули сюда различных профессий люди и, не зная дороги, местности и условий предпринимаемого путешествия, большинство из них попадалось в сети бродячих шаек. Наш талантливый художник и беллетрист Н.Н. Каразин правдиво и многократно описал в своих романах такие нападения» (Уралов 1897: 93).

Открываем литературные энциклопедии доинтернетной эпохи – имя Н.Н. Каразина отсутствует. Однако в ранний советский период Каразин все же удостоен статьи в Литера-

турной энциклопедии (1931), изданной Комакадемией, под редакцией А.В. Луначарского: составитель статьи, В.Б. (В. Баскаков), ссылается на дореволюционные источники: «Русскую словесность с XI по XIX ст.» А.В. Мезьера (СПб., 1902) и «Источники словаря русских писателей» С.А. Венгерова (СПб., 1910). Собственно эта статья стала вердиктом советских времен, уничтожившим имя Каразина как писателя. Вот фрагмент энциклопедической презентации-приговора:

«К. изображал купцов, предпринимателей, аферистов, к-рые бросились в Среднеазиатские владения в погоне за легкой наживой. Жестокая борьба этих рыцарей первоначального накопления друг с другом на почве конкуренции – обычная тема его произведений. К. менее всего интересуется угнетенными и бесправными “инородцами”. Среди русских писателей прошлого он – один из немногих – является ярким представителем колониального романа. У К. заметно пристрастие к кричащим эффектам и мелодраматической фабуле» (ЛЭ 1931: 5/107–108).

Как видно из цитаты, текст составлен в стилистике вульгарного социологизма, с его классовыми акцентами, взаимосвязью социальной ниши писателя (в статье подчеркнуто дворянское происхождение Каразина) и его творчества. Упомянутые «кричащие эффекты» (вероятно, составители имели в виду этнографизм сюжетов Каразина) – это, пожалуй, самая яркая, делающая его прозу неповторимой черта. Она завораживает современного читателя, а уж тогдашнего, для которого Каразин был Колумбом Средней Азии, думаю, и подавно. Называть любовные сюжеты «мелодраматической фабулой» – этого принижающего «комплимента» может быть удостоен, при желании, любой любовный сюжет. По поводу того, что Каразин «менее всего интересуется угнетенными и бесправными “инородцами”»: при жизни писателя критики, свободные от прессинга советской идеологии, писали совершенно противоположное – в частности, о пристрастии Каразина к изображению местных народов, на которых, как указывал литературный критик П.Н. Ткачев, он и «сосредоточил свое внимание» (Никитин 1874: 11/19).

Таким образом, энциклопедическая статья 1931 г. о Каразине – откровенно тенденциозная, она исключала его из русской литературы. Но причин, объясняющих его дальнейшее забвение, статья не содержит. Как уже было сказано, причины эти, скорее, были в плоскости идеологической.

В 1930-х годах власть грубо вмешивается в колониальный дискурс, в художественную литературу в том числе. Появляется иная риторика – антиколониальная, в основе своей противопоставленная колониальной политике царской России: «Обе революции 1917 года, временный распад империи, кровавая Гражданская война и установление большевистского режима с обещаниями построить новое общество на принципах, отрицающих колониализм, стимулировали в российских интеллектуальных кругах артикуляцию антиколониальных дискурсов» (Тольц 2013: 169).

СССР наследовал от Российской империи, по преимуществу, всю территорию в ее прежних границах – в частности Русскую Среднюю Азию (или Туркестанский край), возникшую под таким именованием в результате военной экспансии. Процессы, происходившие в этом регионе, до 1917 г. позволительно именовать колонизаторскими, но после – это стало называться «добровольным процессом вхождения», хотя захват окраинных территорий Средней Азии продолжался прежним способом и после установления советской власти. То, как это воссоздано в прозе Каразина – очевидца, участника русско-туркестанского проекта, противоречило пропагандистским мифам, которые тиражировались на протяжении всего советского XX в.

Никогда не описывался казус, связанный с упоминанием имени Каразина в романе советской поры – «Гнете» А. Алматинской. Во всех изданиях романа (1957, 1958, 1964, 1969, 1974 гг. – тираж первой книги романа, вкуче составивший примерно 300 тыс. экземпляров) есть фраза: «Очнувшись, Древницкий увидел знакомые стены, окна с тюлевыми гардинами, гравюру *Карамзина* “Находка”. Удивленно повел глазами» (курсив мой. – Э.Ш.). Контекст этого фрагмента: место

– Туркестан, время – эпоха генерал-губернаторства К.П. фон Кауфмана, рубеж 1870–80-х гг., т. е. самое каразинское время, его сюжеты, его персонажи. «Находка» – так называется акварель Н.Н. Каразина, на ней изображен номад верхом на верблюде, вокруг – пустыня, колючки; номад приметил внизу белую форменную фуражку русского военного и пристально ее разглядывает сверху. Именно такая гравюра с работы Каразина могла висеть в интерьере русского офицера, находящегося в Туркестане, – Каразина, не Карамзина. Можно предположить, что в текст вкралась опечатка. Но она повторена во всех(!) изданиях романа, притом что редакторская работа, вкупе с цензурной, в переизданиях романа присутствует, о чем свидетельствует такой пример: почти три страницы из издания 1958 г. отсутствуют в издании 1969 г. – это фрагмент, где беседуют баи и имамы, нелестно высказываясь в отношении русских колонизаторов (Алматинская 1958: 112–116), со слов «Тучный старик Давлятхан...» (Там же: 112) до «Тимофей Лукич сидел...» (Там же: 116). При такой тщательной выверке романа *Карамзина/Каразина* все же упустили. Или не знали?

Так что это не может быть опечаткой (одно из предположений – редакторская правка), то есть имя художника Каразина, а тем более литератора, прославившего новую «далекую окраину», не было известно издателям (редакторам, корректорам), в отличие, конечно, от самой Алматинской, для которой фигура Каразина была известной и славной: «Здесь есть о чем писать. Каразин не только статьи в газеты пишет – романы занятные. А его рисунки на местные темы – экзотика!» (Алматинская 1969: 1/348).

Однако уже в 1970-е годы в повести К. Симонова «Двадцать дней без войны» сполна представлен портрет Николая Каразина. Описывается интерьер одной из квартир в Ташкенте времен войны – эвакуации 1940-х годов, куда попадает командированный из Москвы журналист «Красной звезды». «На стенах комнаты, так же как и в прихожей, висели акварели. Там не разобрать какие, а тут хорошие. Старая Средняя

Азия! Арбы, верблюды, караваны, всадники, лошади. Под двумя акварелями, висевшими пониже, на одной из которых был изображен пригнувшийся к луке седла казак с нагайкой, а на другой – табун лошадей, Лопатин разобрал подпись: “Каразин”, – и вспомнил, как в молодости читал полные занятых подробностей книжки этого превосходного акварелиста, участника туркестанских походов.

Кто-то живший раньше в этой квартире любил Среднюю Азию, собирал эти картинки Каразина, да так и оставил их здесь» (Симонов 1982: 237–238). Судя по этому фрагменту, автор весьма неравнодушен как к художнику, так и писателю Каразину. И когда Лопатин, герой симоновской трилогии, встречает последнего обладателя квартиры с каразинскими акварелями, генерала Ефимова, на поле боя, тот первым делом спрашивает его: «Ну и как там, не набезобразничали товарищи артисты? Картинки мои висят? – Висят» (Симонов 1982: 347).

О влиянии каразинской прозы на К. Симонова свидетельствует не только фамилия военного корреспондента – Лопатин (однофамилец у Каразина – персонаж «Погони за наживой»), но и сам жанр симоновского повествования: «Из записок Лопатина». Многие тексты Каразина сопровождаются подзаголовочными данными: «дневник корреспондента», «из записок линейца». Генетически деятельность симоновского Лопатина вышла из деятельности военного корреспондента каразинского повествователя/рассказчика.

Именно из очерков, рассказов, романов Каразина читатель XIX в. узнавал о быте, нравах, кухне, одежде, жестах, позах, фольклоре среднеазиатских народов, вошедших в Российскую империю. Каразинская проза гораздо раньше вошла в культурный слой России, чем этнографические очерки военных востоковедов. Каразин дал старт многому из того, что впоследствии стало сводом растиражированных стереотипов о Туркестанском Востоке, он первым внес в отечественный дискурс русифицированную лексику – ойкотипы и эндемики, связанные с зарождавшейся на его глазах билингвальной

языковой культурой. Каразина можно считать первопроходцем в создании туркестанского текста в русской культуре.

Много печатавшаяся до 1917 г., проза Каразина известна ныне очень узкому кругу специалистов. Широко освещенный писателем – детально, психологически – колонизаторский проект вызывает читательскую оторопь. Реалистические картины российского силового вторжения на чужую территорию не укладываются в сознание, сформированное советской пропагандой, учебниками и кинолентами. Захват Средней Азии в представлении современников рисуется в виде картинок вестернов, или точнее, «остерна» в духе «Белого солнца пустыни», с которым проза Каразина никак не гармонирует. Ведь русская экспансия в Среднюю Азию несла культуру и цивилизацию – расхожий стереотип, зачатый идеологией еще Российской империи и продолженный советской.

Каразин описывает сопротивление туземцев русским: «Там, в этом ущелье – дерутся. Как орлиное гнездо, на самой круче, повиснув над горою, белеет аул-кишлак. Это ключ в горы. Мимо него нет дороги... Стойко защищают свое, уже дымящееся местами, гнездо. Исстари насижено оно их прадедами, и куда как не хочется отдавать его ненавистным белым рубахам, “Ак-кульмак”» (Каразин 1905: 13/167) (*белые рубахи* – часть обмундирования русских солдат той поры, вместе с красными кожаными штанами, – эту солдатскую униформу можно видеть на среднеазиатских полотнах В.В. Верещагина); и упорство русской силы в завоевании новых земель: «Пройдет годик-другой, мы устроимся: все это, что мы теперь занимаем, с оружием, да с оглядкою, все это будет наше, навеки закрепленное, и настанет мир и тишина. Вот как там, что сзади осталась... Сторона здесь богатая, привольная...» (Каразин 1905: 5/148). Именно эта интенция стало основой советской пропаганды. Вот один из примеров, работавших на детскую аудиторию: в ленинградском журнале «ЕЖ» за 1928 г. опубликовано письмо мальчика из далекой солнечной окраины. Он пишет о том, как трудно октябрятам проводить революцию в Узбекистане. Родители не разрешают есть

ложкой, носить трусики: «...не вздумай носить трусики. Если увижу – убью» (ЕЖ 1928: 4/16–17). Письмо составлено неумело, с точки зрения современных экспертов по Востоку, низко оценивших «документальность» этого письма. Однако подобные ходы продуктивно формировали образ русской и советской миссии, несущей благо «диким», «нецивилизованным» народам. «Пропагандистские кампании с использованием фильмов, музыки, театральных постановок и печатной продукции всегда предшествовали изменениям в политике. Но, в отличие от дореволюционной деятельности джадидов, такие формы просветительской работы щедро финансировались новым государством. А молодежные организации, например Всесоюзная пионерская организация, комсомол и прочие объединения добровольцев, вовлекали людей в сферу нового режима» (Халид 2010: 99).

Так зрел ориентализм советского разлива, инерция которого до сих пор ощутима в профессиональном сообществе филологов: нередко приходится слышать недовольные, возмущенные реплики – реакцию на термины *колониальная / постколониальная русская литература*³⁰.

³⁰ Вот примеры продолжающейся советской инерции – одно из московских академических сообществ дало ответ на проведение семинара по колониальной и постколониальной русской литературе (привожу фрагмент документа-рассылки): «...Мы поняли, что под колониальной понимается советская, а под постколониальной – постсоветская (“колонизированы” были союзные республики) литература. Мы сошлись во мнении, что эта терминология некорректна ни с точки зрения исторической науки, ни с точки зрения истории литературы, крайне тенденциозна, политизирована... более того, оскорбительна как для русского народа, так и для любого народа СССР или России. <...> Если в отдельных странах СНГ эти термины (фигурально, в кавычках) и употребляются, то нам, и по отношению к русской литературе, использовать их по меньшей мере странно». А рецензент дипломной работы того же подразделения, оценивая колониальный дискурс, высказался так: «...Оценки политической и иной ситуации в присоединенной к России Средней Азии... никак не могут... рассматриваться как объективная картина жизни той или

Проза Каразина разрушает благолепный флер этой миссии. После 1917 г. его литературное творчество перестало существовать – советские цензурные организации (Главлит и др.) таким образом вычеркнули его из литературной жизни. Наступило полное забвение – забвение двадцати томов прозы, опубликованной в виде полного собрания сочинений Н.Н. Каразина в 1905 г. (хотя были публикации детских книжек Каразина, не имевших отношения к главной теме и проблематике писателя – колониальному проекту).

Один шаг выхода из забвения сделан, но разовый и уже давний: опубликован сборник избранной прозы Каразина в 1993 г. В предисловии Г. Цветов пишет: «Видимо, с выходом этой книги творения Н.Н. Каразина можно будет отнести к “возвращенной литературе”. <...> ...Идеологически отточенный глаз советских издателей узрел опасные политические просчеты даже у Николая Каразина, из-за которых художник и был предан забвению, казавшемуся оправданным, заслуженным, справедливым. Еще бы! Ведь не кто иной, как Н. Каразин, сподобился запечатлеть “Путешествие Наследника Цесаревича на Восток”, о котором в конце прошлого века (XIX в. – Э.Ш.) писано было, что в нем “талантливой кистью набросаны разные виды и сцены из этого знаменательного путешествия. Рисунки прекрасно гравированы в Лейпциге и в общем не уступают лучшим иностранным изданиям”. <...> Этого оказалось достаточно, чтобы творческое наследие художника серебряной взблескивающей монеткой устремилось на дно Леты. В вечное забвение...» (Цветов 1993: 5).

В историческом срезе рядом с художником и прозаиком Н.Н. Каразиным находится фигура прославленного живописца В.В. Верещагина (они были современниками, знакомцами, коллегами и участниками туркестанской экспансии), чье творчество в большей мере также является колониальным.

иной части (или полностью) Российской империи. <...> ...Мы имеем дело с методологическим просчетом, а в плане содержания остается лишь ненависть к России как к историческому, культурному, религиозному и т. д. уникуму».

Верещагин, как и Каразин, тоже был прозаиком – что известно не столь широко в сравнении с его статусом живописца – думаю, по тем же причинам.

Если о картинах Верещагина можно еще спорить: кто их создатель – пацифист или приверженец империи (Бобриков 2012: 368), то его литературные тексты однозначно свидетельствуют: он был именно приверженцем империи, осуждавшим «восточный деспотизм», «варварство», «разврат», «содомский грех» – все то, что можно и должно искоренить с приходом русской, европейской культуры. (Недавно была очевидцем бытовой сценки в Третьяковской галерее: экскурсовод, возможно учитель, остановившись со школьниками у картин Верещагина, произносит следующее: *Обратите, дети, внимание на эту кучу голов у ног ханов! Видите, какими они были жестокими. Шли войны по завоеванию Средней Азии, а эти ханы сопротивлялись, и как жестоко!*)

Известен факт, что Верещагин в 1876 г. «подал военному министру докладную, где доказывал общность интересов России и Англии в борьбе с варварским мусульманским миром» (Дудаков 2000; цит. по: Бобриков 2012: 368–369). Советские «толмачи» Верещагина не согласились с такой точкой зрения художника – касательно Англии, потому как «счастье» народам Средней Азии светило только из России (Бобриков 2012: 368–369). Ныне, на рубеже XX – XXI вв., Верещагин-литератор возвращается к читателю. Если расставлять «по местам» имена Верещагина и Каразина как колониальных русских писателей в мировом колониальном дискурсе, считанном и проанализированном Эдвардом Саидом в «Ориентализме» (Саид 2006), то места распределятся так: Верещагин – рупор ориентализма, Каразин – и да, и нет, скорее, он его критик.

«Тут, как раз посреди бреши, лежит молодой боец лет семнадцати, мальчик, и не лежит совсем, а вот словно подняться на ноги хочет, да и окоченел в этом последнем движении; недалеко полуголый атлет распластался крестообразно, и в груди под ложечкой две зияющие штыковые раны... Тут седой старик в золотистом халате сидит, упершись спиной

в стену, голова низко на грудь свесилась, около книга лежит большая, тяжелая, в красном кожаном переплете, окостеневшие, похолоделые пальцы правой руки судорожно уцепились за медные застежки святой книги... Убит мулла в самом пылу вдохновенной проповеди.

“Как это книгу такую *они* оставили? Ведь поди ж ты, невесть какая редкость, должно быть, конечно, коран рукописный с заставками, от руки рисованными, с арабесками, с золочеными рамочками... Надо бы слезть с коня, осмотреть, забрать с собою... Да претит как будто... Мертвых обирать своими руками не хочется. Вот если б казачишко какой проехал мимо, приказал бы... а то”» (Каразин 1905: 9/6–7) – таково описание кровавых сцен Туркестанского проекта в художественном тексте – в рассказе Каразина «Рискованный сеанс».

Параллелью к этому фрагменту можно считать отрывок из очерка, которым Каразин сопровождает опубликованные в «Ниве» рисунки: «...Изображен старик с седою, длиною, в полгруды, патриархальною бородою... Судя по этой бороде, ему следовало бы сидеть покойно дома, предоставляя дело войны более соответствующим молодым силам; но не утерпел горец... слышав призывные рожки, тоже взялся за свой мултук и верит еще своему стариковскому взгляду, который не обманет его – и пошлет чугунную пульку туда, куда следует» (Каразин 1873а: 600).

Каразин, в отличие от Верещагина (литератора), показал в своей прозе обоюдную жестокость «цивилизаторов» и «цивилизуемых», т. е. туземного населения:

«Посмотрите! – указал я адъютанту на что-то яркое, лежавшее в густом винограднике. Мой спутник задрожал и побледнел как полотно. Да и было отчего.

Это что-то было женщиной, даже не женщиной, а ребенком лет четырнадцати, судя по формам почти детского тела. Она лежала навзничь, с широко раскинутыми руками и ногами; лиловый халатик и красная длинная рубаха были изорваны в клочья; черные волосы, заплетенные во множество косичек, раскидались вокруг головы, глаза были страшно от-

крыты, судорожно стиснутые зубы прикусили конец языка; под туловищем стояла целая лужа крови.

Даже казаки переглянулись между собою и осторожно отъехали, отвернувшись от этого раздирающего душу зрелища.

А вот и наш поплатился: из какой-то очень небольшой дверки, ведущей в землянку, торчали две ноги, обутые в русские подкованные сапоги. Эти ноги были неподвижны. Казаки ухватились за них и принялись тащить наружу. Вытащили. Смотрим, ничего не разберем: только и осталось человеческого, что одни ноги, все остальное буквально измолочено тяжелыми кетменями» (Каразин 1993: 492–493);

«Страшный вид представляла эта деревня: вся улица засорена всевозможным хламом, всюду гниют небуранные, разбухшие от июльской жары трупы. ...Многим пришлось взглянуть на дело рук своих более трезвым, неподкупным взглядом» (Каразин 1993: 496–497);

«...Всюду корчились и дико стонали заколотые сарты³¹. Солдаты положительно вышли из себя; вид наших израненных стрелков доводил их до бешенства» (Каразин 1874а: 293);

³¹ Во Всероссийской переписи 1897 г. обитателей Средней Азии делили на тюрок и сартов (Кадио 2010: 78). В предыдущей переписи (1870) кочевников «именовали киргизами, горожан – сартами, а крестьян – узбеками» (Кадио 2010: 84). В 1871 г. военный востоковед Л.Ф. Костенко, «неутомимый путешественник и серьезный исследователь» (Басханов 2005: 128), так прокомментировал слово «сарт»: «...Так как все оседлые жители правого берега Сыра (равно как и в Хивинском ханстве) называются *сартами*, то и заключили, что это название есть местное наименование племени таджиков. В действительности не так. Мои наблюдения привели к следующему: слово таджик означает название племени, слово же сарт – название рода жизни, занятий, в переводе оно значит торгош, человек, занимающийся торговлею, горожанин, мещанин. Это название дано кочевниками Средней Азии людям, живущим в городах, какого бы происхождения они ни были (узбеки, татары, персы, все равно). Таким образом, название сарт как бы противопоставляется кочевнику, а также земледельцу (земледелие и оседлость в Туркестане не все равно)» (Костенко 1871: 79).

«...Я увидел страшную картину: целая куча тел, наваленных одно на другое, загородила почти весь проезд; некоторые были еще живы и страшно корчились в предсмертной агонии; ватные халаты дымились и тлели: видно было, что выстрелы по ним сделаны почти в упор. Группа солдат, составив ружья, стояла тут же, делая при этом кое-какие замечания; два офицера крутили папиросы и говорили что-то о разнице между бухарскими и хивинскими коврами» (Каразин 1874b: 295).

Каразин в каждом тексте, будь то очерк, роман, рассказ, отмечает, что местное население в большинстве своем не встречало завоевателей, мягко говоря, дружелюбно: «...Изпод приподнятых кошм... выглядывали мужские и женские лица, провожая русских не совсем ласковыми взглядами... косматые собаки злобно рычали и лаяли на непривычные костюмы...» (Каразин 1905: 2/122) («Погоня за наживой»).

Делать публично доступными и тиражировать тексты Каразина, содержание которых явно противоречило советской парадигме «дружбы народов», Главлит, вероятно, счел невозможным (хотя никаких отдельных циркуляров, связанных с именем Каразина, найти не удалось).

«В области художественной литературы... ликвидировать литературу, направленную против советского строительства... <...> Можно и должно проявлять строгость по отношению к изданиям со вполне оформившимися буржуазными художественными тенденциями литераторов. Необходимо проявлять беспощадность по отношению к таким художественно-литературным группировкам...» (Лебедев-Полянский 2002: 71–72). Так увековечил направление работы Главлита ее начальник – П.И. Лебедев-Полянский, один из редакторов той энциклопедии, где в последний раз упомянут Каразин-литератор.

В итоге колониальный проект на Восток вылился в такую оправдательную парадигму, никак не затрагивающую чувства «патриотов» и тиражируемую даже в постсоветском дискурсе: «Крестьянская реформа дала толчок развитию промышленности и торговли. Империя нуждалась и в новых

рынках сбыта, и в источниках сырья, и в людских ресурсах для освоения присоединяемых территорий. Обширные среднеазиатские территории могли дать и то, и другое, и третье – если, конечно, поторопиться, не позволив чересчур активной в этом регионе Англии опередить себя» (Кудря 2010: 57).

Вернусь к эпиграфу – к его продолжению в воспоминаниях Руфи Зерновой: «В шестидесятые годы Грина издали – полное собрание сочинений. Сделали фильмы. Он стал безопасен – его сочли безопасным» (Зернова 1988: 116).

Есть надежда, что знакомство читателей с Каразиным-литератором не ограничится одной книгой 1993 г. и издатели сочтут его прозу «безопасной».

ТАШКЕНТЦЫ

1869–1872 годы – время опубликования щедринских «Господ ташкентцев». Катоиконим «ташкентцы», вопреки языковой парадигме, после выхода в свет щедринских очерков стал обозначать не жителей города Ташкента, а тех, кто ехал туда на время и возвращался оттуда. Смыслы, вложенные Щедриным в «ташкентцев», были для того времени столь актуальными и животрепещущими, что мгновенно, почти без временной дистанции, слово «ташкентцы» зажило самостоятельной жизнью как на страницах столичных журналов, в художественной литературе, так и в повседневности читающей публики. Смыслы *ташкентцев* «ветвились», метафора трансформировалась: все асоциальное, коррумпированное, опасное для мирной жизни связывалось с *ташкентством*.

Оборотной, или официальной, стороной ташкентства, но синонимичной у Щедрина, было цивилизаторство; ташкентец – цивилизатор, «который придет, старый храм разрушит, нового не возведет и, насоривши, исчезнет, чтоб дать место другому реформатору, который также придет, насорит и уйдет...» (Щедрин 1970: 10/267).

Официально все началось в 1865 г., когда Ташкент был взят штурмом российскими войсками и присоединен к империи. Однако русские имперские интересы к Туркестану складывались задолго до этой рубежной даты. Венгерский востоковед, путешественник, Арминий Вамбери за два года до взятия Ташкента русскими предпринял в обличье дервиша путешествие по Средней Азии. Книга о его путешествии была опубликована в 1864 г., а первый ее русский перевод – в 1865 г. Трудно утверждать, что эта книга каким-то образом повлияла на щедринских «Господ ташкентцев», но и исключать подобное нельзя. Хотя бы одним – но концептуальным для двух авторов – словом сближаются интенции двух текстов – А. Вамбери и Салтыкова-Щедрина. Слово это – *цивилизация* (*цивилизаторство*). Вот как резюмирует записки о своем пу-

тешествии А. Вамбери: «“Русско-английское соперничество в Средней Азии, – сказали мне, когда я вернулся в Англию, – это просто нелепость. Оставьте этот избитый и уже вышедший из моды политический вопрос. Народ Туркестана – дикие, грубые варвары, и мы поздравим себя, если Россия примет тяжкую и достойную обязанность нести *цивилизацию* в эти области. У Англии нет ни малейшей причины следить за политикой России с завистью и ревностью”. <...> В успешном осуществлении русских планов в Средней Азии, таким образом, нечего сомневаться. ...В интересах *цивилизации* мы должны пожелать русскому оружию наилучших успехов, однако все становится более сложным, когда мы думаем о дальнейших последствиях будущих приобретений. Трудно ответить на вопрос, удовлетворится ли Россия Бухарой, сочтет ли Оксус границей своего влияния и своих планов. Не вдаваясь в слишком глубокие рассуждения, мы можем вполне определенно сказать, что петербургский двор постарается получить за свою политику, в течение многих лет проводимую в Великой пустыне ценою утомительных трудов и крупных расходов, более богатое вознаграждение, чем земли туркестанских оазисов» (курсив мой. – Э.Ш.) (Вамбери 2003: 301–303).

Если лексема *цивилизация* у Вамбери использована в прямом, эмоционально не окрашенном значении, то Салтыков-Щедрин использует ее в другом – ироничном, доходящем до сарказма, когда говорит о процессе цивилизаторства и его участниках – цивилизаторах. Салтыков-Щедрин не разделял цивилизаторскую миссию царского правительства – об этом он пишет не только в «Господах ташкентцах», но и в «Благонамеренных речах» (1872–1876) (Щедрин 1970: 11/435–436; 617).

Щедринская интенция была подхвачена его современниками – критиками, журналистами. Так, сотрудник журнала «Дело», публиковавшийся под инициалами П.И., проанализировал одно из направлений в науке, его теоретиков, «имеющих много сходных черт с теми практиками, которых г. Щедрин остроумно охарактеризовал словом “ташкентцы”. Да, это таш-

кентцы – но только ташкентцы, устремляющиеся не к “окраинам” и не в новые суды, а в “науку”» (ПИ 1872: 2), назвав свои филиппики «Ташкентец в науке» (1872). Объект обличения автора – глава этой новой «школы», г. Стронин, который «в качестве “истого ташкентца” страдает манией самовозвеличения. Ему кажется, или лучше сказать, он уверен, что он работает не в интересах ограниченного кружка ташкентцев, а в интересах всего человечества» (ПИ 1872: 2). Господин Стронин, автор трактата «Политика как наука» (1872), встроен критиком П.И. в щедринский ряд цивилизаторов: «Объединить славянство, исторгнуть его из-под гнета разных немцев и басурман – вот великая миссия России». Но г. Стронину и этого мало; как истый ташкентец он “все” хочет захватить в свои руки. “Что мне одни славяне, что мне ваши Греции и Константинополь; много ли в них толку? – нет, мне подавай всю Европу, всю как есть: о меньшем и слышать не хочу!” <...> “Наша завоевательность, – говорит он, – и ее вероятный исход, всемирное владычество наше, имеет характер необходимости исторической”. Мы, т. е. гг. Стронины, Данилевские и К^о, “сосуд, предназначенный для совмещения всей цивилизации старого света и передачи ее будущим векам и новому свету”, “эта завоевательская миссия наша есть наша неволя, а не охота (будто бы?), она есть тяжелый крест, а не развлечение (еще бы!) и прихоть”» (ПИ 1872: 21–22).

«О, наши европейские цивилизаторы...» (ПИ 1872: 25), – обличая г. Стронина как апологета квасного патриотизма, «который формулируется в восклицании: “мы их, басурманов, шапками закидаем”!» (ПИ 1872: 17), автор критического очерка разбирает «по косточкам» псевдонаучный дискурс своего оппонента: «логика истинного ташкентца» (ПИ 1872: 4), «философствующий ташкентец» (ПИ 1872: 9), «ташкентская мудрость» (ПИ 1872: 11), «Мания нашей ташкентской философии истории... принадлежит именно к числу... давно заброшенных мнений, защищаемых с помощью рутин. Эта философия, устами гг. Гильфердингов и Данилевских, признает за каждым народом какую-то особую миссию, верует в необходимость падения (в прошлом) римской империи, в

неизбежность падения (в будущем) романо-германской цивилизации и в пышный расцвет славянской» (ПИ 1872: 18), неоднократно подчеркивая стронинские амбиции цивилизатора всеевропейского масштаба.

В 1874–1875 гг. в журнале «Дело» публикуется цикл статей под названием «Ташкентские рыцари». Автор, П. Никитин³², вспоминает свое школьное прошлое, когда приходилось зазубривать трудно выговариваемые этнонимы по учебнику географии, при этом думая про себя: «И на кой черт нам надо знать каких-то каракалпаков, барантачей...» (Никитин 1875: 1). Однако по прошествии ряда лет, пишет автор, все эти этнонимы стали актуальны. «...Многим из наших товарищей, наших братьев, дядей, отцов пришлось воочию узреть самих барантачей, тюркменов, каракалов и др. Эти дикие племена, “живущие грабежом и разбоем” (как говорилось о них в учебнике по географии Ободовского. – Э.Ш.), оказались не мифом... а действительно существующими людьми, и какими ужасными людьми!» (Никитин 1875: 2), о них «заговорили газеты... о них печатались репортажи, составлялись обстоятельные статьи, их изображали на картинах и выводили в романах» (Никитин 1875: 3). Эти «дикие и ужасные», побежденные в процессе русского туркестанского проекта, «нецивилизованные» люди не уступали по степени «ужасности» цивилизованным, т. е. захватчикам, которых автор называет *ташкентскими рыцарями* (Никитин 1874: 17–20) и выносит им вердикт: «Какой-то таинственный голос шепчет цивилизованному человеку: “иди, просвещай и покоряй языци, разноси по вселенной свет своего разума”. Какая-то невидимая рука толкает его все вперед и вперед, к “далеким окраинам” цивилизованного мира. Мы, русские, приобщившиеся к общечеловеческой цивилизации, мы тоже испытали на себе и заманчивую прелесть этого таинственного голоса, и поощрительные толчки этой невидимой руки. Как люди цивилизованные, мы вполне поняли, что на нас лежит великая задача

³² Литературный критик П.Н. Ткачев печатался в журнале «Дело» под псевдонимом «П. Никитин» и другими.

– просветить “восток”, пропагандировать цивилизацию среди дикарей, уделить этим несчастным “пасынкам природы” частичку из тех благ человеческого прогресса, которыми мы стали пользоваться сами. Проникнувшись важностью исторической миссии, мы, не думая долго, “потекли” в Ташкент в хвосте “победоносного воинства”, – потекли и потащили за собой длинный хвост разнокалиберной, цыганской толпы, таких *цивилизаторов*, которые ничуть не лучше завоеванных нами дикарей» (Никитин 1875: 8–9).

Ташкент очень быстро после 1865 г. стал восприниматься современниками как часть России. Например, в романе Ф.М. Достоевского «Бесы» присутствует одна деталь в виде прокламации – со стихотворным текстом под названием «Светлая личность», которую Достоевский сотворил, спародировав стихотворение Н.П. Огарева «Студент» – оно было опубликовано в Женеве в 1869 г. Главы «Бесов» с этой прокламацией-пародией, которая превращается в «герценовский» текст, были напечатаны уже в 1871 г. Цензура поначалу затеяла дело в связи с проявленной халатностью – пропуском в печать «Светлой личности». Но, так и не начавшись, дело закончилось: роман Достоевского был назван «благонамеренным», а прокламация – «документом, характеризующим образ мыслей и приемы зловердных пропагандистов» (Оксман 1923: 303). Вот два текста – изначальный, Огарева, и второй, пародийный, «Герцена»-Достоевского:

Огарев, «Студент»

Он родился в бедной доле,
Он учился в бедной школе,
Но в живом труде науки,
Юных лет он вынес муки.
В жизни стала год от году
Крепче преданность народу,
Жарче жажда общей воли,
Жажда общей, лучшей доли.

*Достоевский,
«Светлая личность»*

Он незнатной был породы,
Он возрос среди народа,
Но, гонимый местью царской,
Злобной завистью боярской,
Он обрек себя страданию,
Казням, пыткам, истязанию
И пошел вещать народу
Братство, равенство, свободу.

<p>И гонимый мезью царской И боязнию боярской, Он пустился на скитанье, На народное воззванье, Кликнуть клич по всем крестьянам – От Востока до Заката: «Собирайтесь дружным станом. Станьте смело брат за брата – Отстоять всему народу Свою землю и свободу».</p> <p>Жизнь он кончил в этом мире – В снежных каторгах Сибири. Но весь век нелицемерен – Он борьбе остался верен. До последнего дыханья Говорил среди изгнанья: «Отстоять всему народу Свою землю и свободу» (1868) (Огарев 1977: 197).</p>	<p>И, восстанье начиная, Он бежал в чужие край Из царева каземата, От кнута, щипцов и ката. А народ, восстать готовый Из-под участи суровой, От Смоленска до Ташкента С нетерпеньем ждал студента. Ждал его он поголовно, Чтоб идти беспрекословно Порешить вконец боярство, Порешить совсем и царство, Сделать общими именья И предать навеки мщенью Церкви, браки и семейство – Мира старого злодейство! (1971) (Достоевский 1972–1990: 10/273).</p>
--	---

«От Смоленска до Ташкента» – так, посредством топонимов, обозначены пространства Российской империи. Стиль стихотворения намеренно примитивный, псевдонародный, что выражает «как бы» наивную, простодушную точку зрения угнетенного народа, российского, – вплоть до Ташкента.

В мифологии повседневности 60–70-х гг. XIX в. Ташкент становится амбивалентным образом: местом ссылки и новым «эльдорадо», а сам топоним – частотным в художественных произведениях тех лет. Так, в романе Достоевского «Подросток» (1875) речь идет о князе Сокольском, находящемся в затруднительном положении: «Весь бессвязный разговор его, разумеется, вертелся насчет процесса, насчет возможного исхода... <...> о возможности колонизоваться и выслужиться в Ташкенте...» (Достоевский 1972–1990: 13/334). В романе «Братья Карамазовы» (1879–1980) упоминается докторша с двумя малолетними детьми, «сам же доктор вот уже с год за-

ехал куда-то сперва в Оренбург, а потом в Ташкент, и уже с полгода как от него не было ни слуху, ни духу...» (Достоевский 1972–1990: 14/273).

Почти так же «быстро» ташкентский след отыскивается в биографии знатных людей России. Например, Ташкент присутствовал в семье писателя Н.С. Лескова – как в виде реального локуса, так и в виде имени нарицательного. Его младший брат, Василий, от неудач, невезенья, безысходности, которые преследовали его в Киеве и Петербурге, едет в Ташкент в 1872 г. Тогда, после помянутых событий, быстро распространилась мода – устраивать свои дела в Ташкенте. Судя по разбросанным фактам, кто ехал за карьерой, кто за легким, как представлялось, рублем, кто от безнадежности. Но, тем не менее, попасть туда было непросто. У Н.С. Лескова нашлись знакомства-связи, чтобы выхлопотать для брата разрешение у ташкентского генерал-губернатора К.П. фон Кауфмана. Брат доехал до Ташкента, но, не прожив там и года, умер. С тех пор в семье Н.С. Лескова подраставших детей «пугали» отправкой в Ташкент (Лесков 1984: 1/336–343).

В рассказе Н.С. Лескова «Полунощники» (1891) Ташкент упоминается в контексте, распространенном в тогдашней повседневности: если *туда* ехали рвачи и хапуги, то *оттуда* возвращались мошенники и уголовники. Вот фрагменты из «Полунощников»: «Один офицер из Ташкента приехал и оттуда жену привез; так с нею ведь какое невообразимое несчастье сделалось: они по страшной жаре в тарантасе на верблюде ехали, а верблюд идет неплавно, все дергает, а она грудного ребенка кормила, и у нее от колтыханья в грудях из молока кумыс свертелся!.. Ребенок от этого кумыса умер, а она не хотела его в песок закопать и получила через это род помешательства. И они, вот эти-то, желали, чтобы им завтра получить самое первое благословение и побольше денег. То есть, разумеется, не сама сумасшедшая этого добивалась, а ее муж. Этакой, правду сказать, с виду неприятный и с красными глазами, так около всех здешних и юлит, чтобы ему устроили получение, и всех подговаривает: “Старайтесь, – что бог

даст – все пополам”. А его и слушать не хотят. Зачем делить пополам, когда всяк сам себе все рад получить!» (Лесков 1989: 11/75); «Но один лавочник его признал и пояснил: “Никакой он, – говорит, – не петриот, а просто мошенник, и которую он несчастную женщину при себе за жену возит – она ему вовсе не жена, а с постоянного двора дурочка”. И точно, только что мы приехали и стали вылезать, к нему сейчас два городских подошли и повели его в участок, потому что эту женщину родные разыскивают. Повздыхали все: ах, ах, ах! какая низость! какой обман! И подивились, как он ничего этого не прозрел! А потом испугались» (Лесков 1989: 11/78). (Обратим внимание, как Н.С. Лесков верно подметил сигнатуры туркестанского текста: *верблюд, кумыс, пески.*)

У истоков такого толкования Ташкента и ташкентцев (движущихся в обоих направлениях: туда и оттуда) стоит, безусловно, М.Е. Салтыков-Щедрин с его «Господами ташкентцами». Он его сотворил из объективной реальности, продекларировав, что «Нравы создают Ташкент на всяком месте; бывают в жизни обществ минуты, когда Ташкент насильно стучится в каждую дверь и становится на неизбежную очередь для всякого существования» (Щедрин 1970: 10/28).

Совершенно очевидно, что писатели XIX в., говоря о Ташкенте и ташкентцах в одиозном ключе, рассчитывали на понимание современников. Для этого были основания в виде баек, пересудов, сплетен, слухов, к сожалению, не зафиксированных в качестве тогдашнего фольклора, но, тем не менее, находимых сегодня в отдельных репликах, в подтекстах и контекстах литературных произведений. Так, в рассказе Н.С. Лескова «Путешествие с нигилистом» (1882) сконструирована картинка фольклорной действительности: случайная компания попутчиков, едущих в одном вагоне поезда и рассуждающих о дорожных перипетиях, о том, каких проезжающих можно встретить в пути. Складывается некий фольклорный срез – из слухов, молвы, страхов, стереотипов тогдашней повседневности, а в персонажах этой сцены можно видеть фольклорных информантов.

«Дьякон... привел... несколько любопытных историй, которые он знал от своего брата, служащего где-то на таможне.

Через них, – говорил он, – раз проезжал даже не в простых перчатках (речь идет о нигилисте – о персонаже, который был популярен в российской повседневности 1970–80-х гг. – Э.Ш.), а филь-де-пом, а как стали его обыскивать – обозначился шульер. Думали, смиренный – посадили его в подводную тюрьму, а он из-под воды ушел.

Все заинтересовались: как шульер ушел из-под воды? <...>

– Как же он ушел? <...>

– А черт его знает... Только после стали везде по каморке смотреть – ни дыры никакой, ни щелочки – ничего нет... <...>

– А кто же он такой был?

– Нахалкиканец из-за Ташкенту. Генерал Черняев его верхом на битюке послал, чтобы он болгарам от Кокорева пятьсот рублей отвез, а он, по театрам да по балам, все деньги в карты проиграл и убежал. Свечным салом смазался, а с светилем ушел» (Лесков 1989: 7/172).

Известна способность Лескова по «выведению» особой лексики, которую писатель передоверяет рассказчику: это слова, словечки, из якобы народной речи, обиходной, просторечной. Чаще всего это некие гибриды – с одной стороны, род авторского комизма, с другой – проекция простонародной ментальности. Так не говорили (скорее всего), но так вполне могли бы говорить: *плакон*: «плакать» и «флакон»; *нимфозория*: «нимфа» и «инфузория»; *долбица умножения*: «долбить» и «таблица»; *Аболон полведерский*: «Аполлон» – «баллон», «Бельведерский» – «полведерский» и т. д. В этой же парадигме и генезис слова *нахалкиканец*: «нахал»³³ и «ахалтекинец»³⁴. Смысл слова *нахалкиканец* поня-

³³ «Читатель может спросить меня: кто допустил нас таким образом **нахальничать**? чего смотрело начальство?» (выделено мной. – Э.Ш.) (Щедрин 1970: 10/78) – думается, что лесковский «нахал» возник не без помощи Салтыкова-Щедрина.

³⁴ Ахалтекинцы (тюрк.) – ахалтекинская порода; верховая

тен из контекста вышеприведенного отрывка: быстрый, шустрый, хитрый, наглый, ловкач. С одной стороны, нахалкиканец – это тот арестованный, который всех провел, исчезнув каким-то нереальным способом из тюремной камеры, с другой, нахалкиканец – это тот самый реальный субъект, прокутивший государственные деньги, который упомянут лесковским рассказчиком для сравнения; с третьей стороны – мотивация рассказа о нахалкиканце отсылает к завязке лесковского текста. Попутчики рассуждают: «А если, например, нигилист, да в полном своем облачении, со всеми составами и револьвер-барбосом» (Лесков 1989: 7/170). «Нигилист» здесь и далее в лесковском тексте выступает как синоним разбойника, проходимца. Вероятнее всего, что в повседневности второй половины XIX в., в фольклорной действительности, именно такая коннотация была закреплена за словом «нигилист». В очерках М.Е. Салтыкова-Щедрина «Господа ташкентцы» писатель воспроизводит подобный контекст, сложившийся вокруг нигилизма и нигилистов. «... Ольга Сергеевна еще за границей слышала, что в Петербурге народились какие-то нигилисты, род особенного сословия, которого не коснулись краткие начатки нравственности и религии и которое, вследствие того, ничем не занимается, ни науками, ни художествами, а только делает революции» (Щедрин 1970: 10/99); «Люди вообще коварны, а нигилисты – это даже не люди...» (Щедрин 1970: 10/100). Потому пассажиры поезда из лесковского рассказа называют странного, загадочного типа одновременно и нигилистом, и нахалкиканцем из-за Ташкенту.

Но на этом судьба «нахалкиканца из-за Ташкенту» не закончилась. Он входит в виде прецедентного текста в русский дискурс. Популярный журналист Петербурга начала XX в.

порода лошадей, выведенная в древности в ахалтекинском оазисе, который находился в 45 км северо-западнее нынешней туркменской столицы Ашхабада; резвые, выносливые животные с крупным, но изящным телосложением и пластичными движениями (НСИС 2002: 102).

П.М. Пильский³⁵ оставил небольшое эссе-воспоминание³⁶ о Маяковском, назвав поэта «нахалкиканцем из-за Ташкенту».

«Путешествие по Европе Маяковского вдруг мне напомнило острые, прекрасные в своей яркости строки из лесковского “Путешествия с нигилистом”, и про самого Маяковского можно сказать тоже словами Лескова: – Нахалкиканец из-за Ташкенту... <...> “Нахалкиканец!”... Возможно ли изобрести, мыслимо ль найти лучшее определение для путешествующего наглеца?» (Пильский 1999: 286–289).

Каразин, участник Туркестанских походов, художник и писатель, заимствует основную интенцию своего литературного творчества у Салтыкова-Щедрина: в его прозе изображены цивилизаторы, ташкентцы – тогдашние нувориши. Один из своих романов – в унисон щедринскому концепту – писатель называет «Погоня за наживой». Каразин показал обоюдную жестокость «цивилизаторов» и туземного населения. На фоне каразинских «господ ташкентцев» речь русского офицера в собрании коллег (роман «На далеких окраинах») полна саркастического подтекста: «И вот мы видим новое явление, явление отрадное. Европа отплатила Азии прошлое зло, но отплатила как? Послав от себя поток умственных сил – взамен грубых физических... <...> Наука, искусство, торговля... <...> Все явилось к услугам народа дикого, не вышедшего еще из ребяческого состояния... <...> Торговые обороты наши... <...> ...разрослись до невероятных... колоссальных размеров; пределы областей, занятых победоносным оружием, стали тесны...» (Каразин 1905: 1/258–259).

Возможно, именно эти акценты, поставленные писателем на русской миссии в Туркестан, стали основными причинами забвения его творчества в XX в. Однако не все разделяли скептицизм Салтыкова-Щедрина и Каразина. В дискурсе

³⁵ Петр Моисеевич Пильский (1879–1941) – литературный и театральный критик, журналист, прозаик, автор антибольшевистских фельетонов; «противный Пильский», по словам И. Лукьяновой (Лукьянова 2006: 174).

³⁶ Сегодня. 1927. № 116.

конца XIX и начала XX века в основном господствовала благостная точка зрения на Туркестанскую миссию, дарующую счастье, и официально-имперская – о прирастании российского государства.

«Цивилизация, быстро шагая вперед, разбудила дремавшую Русь. Поднялся северный колосс и, движимый мощной силой прогресса, быстро принялся догонять Европу... Скоро ему стало тесно в своих пределах и начал он свое поступательное движение на восток. Повалились чалмоносные головы хивинцев, как мячи, под ударами русских сабель, – и вскоре под державную руку Белого Царя покорены были громаднейшие территории степей; забелелся двуглавый орел над минаретами ханских ставок, а русские двигались себе все дальше и дальше в центральную Азию, сопровождая свой путь такими блестящими предприятиями, как взятие славного в летописях Востока города Самарканда, Хивинский поход, завоевание Ферганы и, наконец, занятие всей Арало-Каспийской котловины. <...> Заблестел русский крест “на далеких окраинах”, и церковный благовест возвестил, что эта вновь покоренная земля принадлежит *нам*» (Уралов 1897: 4–5).

Именно свои окраины Российская империя считала главным достижением на исходе XIX в. Не случайно 1900 год – водораздел веков – озаглавлен на Всемирной выставке в Париже российской экспозицией, представленной через свои окраины: Сибирь, Крайний Север, Кавказ и Туркестан (см.: Шевеленко 2012: 413–414). Войдя через центральный вход, посетители попадали в сени, раскрашенные в русском стиле. Пройдя через них, гости оказывались в выставочном павильоне: первое, что они видели, было огромное панно, изображающее двор мечети в Самарканде, и весь большой первый зал был посвящен Средней Азии. В официальном отчете организаторов русских павильонов утверждалось, что целью экспозиции Отдела окраин было представить «русское культурное движение в Азии, на Кавказе и на дальнем Севере... в его выдающемся значении и в подобающей обстановке» (Шевеленко 2012: 424). Ряд поствыставочных публикаций содержал

недоумение в связи с отсутствием собственно русского антуража в экспозициях. Организаторы же настаивали на своей концепции: русскость сведена до функции обладания окраинами; подвиг русской культуры – освоение необъятных просторов империи. Экспозицию Российской империи называли апофеозом этнографической школы Русского географического общества. Собственно русская культура была представлена в Кустарном отделе. В термах, палатах и светлицах русской деревни (ничего общего не имеющей с собственно деревней, по мнению русских посетителей выставки) были выставлены артефакты народных ремесел: куклы, головные уборы, костюмы, домашняя утварь. Концепции этих экспозиций – «кустарной» и «окраинной» – совпадали: колониальное приращение как вширь, так и внутрь страны было главным достижением империи к рубежу XIX – XX вв., это был ее главный проект. «...Метрополия в целом... оказывалась суммой окраин и описывалась через то, чем она владеет» (Шевеленко 2012: 435).

Именно туда, на окраины, и устремились господа ташкентцы: «Молодым офицерам лучше начинать свою службу на окраинах, в истинно боевом кругу... чем коптеть здесь, в Петербурге...» (Каразин 1905: 5/72), – нравоучает опытный русский офицер молодого. Туда же получает назначение Алексей Вронский из «Анны Карениной», туда же, от личных и служебных невзгод устремляется каразинский Ледоколов (роман «Погоня за наживой»), а также тысячи дельцов разной руки.

По немногочисленным воспоминаниям времен Туркестанского завоевания, отразившим не состояние туземной культуры и быта, а деятельность «новых русских», на месте царило «ташкенство». Так, Н.А. Варенцов, московский предприниматель рубежа XIX – XX вв., по прибытии в Туркестанский край обнаружил всеобщее разгильдяйство, казнокрадство и пьянство ташкентцев (см.: Варенцов 2011: 289, 292, 294, 298, 301, 308). То же находим у Каразина: «Должно быть, теперь сам комендант скоро должен проснуться, вытянуться, зевнуть и выругаться. Пора бы! <...> Вот, наконец, ставень один сам собою от толчка изнутри выскочил, вот другие два

денщик Кочетков торопливо выставил и по пути в трубу самоварную дунул. Вот красивая, полная телом солдатка Анисья из задних дверей шмыгнула и украдкой, по застенками, пошла в слободку. Писарь Ардальонов с подбитым глазом квасу потребовал вполголоса. Словно в недрах старинных стенных часов перед боем, захрипело на разные лады в комендантском горле и послышался знакомый всему форту начальственный бас: – Послать к попадье за ботвиньей!..» (Каразин 1905: 16/172–173); почтальон – чабар Мумын, рискуя жизнью, сохраняет почту, полученную у коменданта русского форта Глухого. В почте, помимо прочего, были «отношения» комендантского управления – одно написано стихами, шляпка, две баночки ваксы, изготовленные писарем Ардальоновым в подарок товарищу, и прочие «государственно важные» отправления (см.: Каразин 1905: 16/173).

К хору критики в адрес «ташкентцев» присоединяется анонимный рецензент из журнала «Дело»: «...Нам предстоит в настоящее время дилемма – или бросить все завоеванное нами, или для обеспечения, для прекращения набегов, грабежей и бунтов, для умиротворения страны, для обеспечения мирных и свободных путей торговли – покорить Хиву, Бухару, Кашгар, туркменов и т. д. Покорим мы их, побьем мы всю эту нехристь (на это силы у нас хватит), – а потом что?» (Дело 1871: 114). Это «потом» продлилось полтора века.

Но век «ташкентцев», этого метафорического *катойконима*, в русском языке был недолог. Нет, суть осталась, будучи неуничтожимой. Ушла щедринская коннотация *ташкентцев* – и не в последнюю очередь идеологическими стараниями новой, начиная с третьего десятилетия XX в., власти. Катойконим «ташкентцы» зажил своей первозданной топонимической жизнью, например, в растяжках, так популярных при советской власти («Дорогие ташкентцы, выполним и перевыполним...»; «Ташкентцы! Родина ждет ...тонн хлопка!» – примерно в таком духе).

В последнее время изредка появляются реминисцирующие заголовки книг, статей: «Мои господа ташкентцы» (Го-

лендер 2007а), «Другие “господа ташкентцы”» (Шафранская 2013) и др., декларативный вызов которых работает для читателей, «обремененных» знанием истории русской литературы, а для массового читателя такие заголовки служат лишь указанием на место проживания неких персонажей. И это при том, что почти все русские фразеологические словари, изданные в XX в., содержат статью «Господа ташкентцы» с опорой на щедринский концепт. Стараниями советской пропаганды сам топоним, легший в основу щедринского катойконима, был превращен в пафосный символ спасительного локуса – не без участия разошедшейся миллионными тиражами повести Александра Неверова³⁷ – особенно в пору Великой Отечественной войны, символ стойкости (землетрясение), восточных ворот страны (проводимый в 1968–1988 гг. Международный кинофестиваль стран Азии, Африки и Латинской Америки) и др.

За время существования Ташкента в русской истории, культуре и литературе с топонимом случился смысловой кульбит: из обозначения места – по-щедрински, манка, куда ехали «жрать»³⁸, насыщаться и богатеть, прежний смысл не исчез, но он превратился в карнавальный перевертыш. Возникшая внутри слова *энантисемия* – внутренняя антонимия – оставила значение культурной лексемы прежним: оно опять сопряжено с «едой». Это был уже «город хлебный», но с коннотацией иного аксиологического ряда. Однако и такой топоним уже в прошлом. Никакого – ни щедринского, ни пафосно-советского – символа Ташкента в русской культуре больше нет, как нет в ней и ташкентцев.

³⁷ Неверов А.В. Ташкент – город хлебный (1923).

³⁸ Глагол *жрать* (и сопутствующие слова) в сюжетном пространстве «Господ ташкентцев» повторен многократно – не один десяток раз (см.: Щедрин 1970: 10/25, 32, 44, 181–182, 229–231 и др.).

КАРАЗИН — ПИСАТЕЛЬ-ЭТНОГРАФ

От военного министерства Российской империи во второй половине XIX в. исходили циркуляры и устные пожелания, поощряющие к занятию этнографией в окраинных землях, в частности, на недавно завоеванных территориях в Азии (см.: Тольц 2013: 15). «Тем, кто занимался изучением Востока вне академической среды, принадлежала важная роль в сборе первичных данных во время путешествий по странам Азии. Например, Бартольд отмечал: “<...> [В сборе материала] на местах главная польза приносится офицерами и чиновниками, а не выпускниками восточного факультета [Санкт-Петербургского университета]”³⁹» (Тольц 2013: 22).

Большинство наиболее ярких наблюдений Каразина-этнографа, воплощенных в его художественных (вошедших в двадцатитомник) и нехудожественных (публиковавшихся в журналах XIX в.) текстах, можно было бы перечислить в одном абзаце, например: Каразин увидел и зафиксировал излюбленную позу среднеазиатов – сидение *на корточках*; отсутствие в их трапезе *ложки*; прижимание *руки к животу* – знак благодарности; мальчиков-бачей, танцоров, выступавших на тамаше (род развлечения, вечеринки, праздника для гостей); *цоканье* как выражение крайних эмоций; предпочтительные гастрономические блюда: плов, шурпа; *малайку* – название социальной роли прислуги; одежду и украшения мужчин и женщин; дома без окон и узкие улочки; сакральное отношение к колодцам; распространившееся с приходом русских потребление алкоголя; бросание камнями в недоброжелателей и другое. На этом можно было бы этнографические открытия Каразина завершить.

³⁹ Бартольд В.В. Две лекции студентам, кончающим курс Восточного факультета Санкт-Петербургского университета, о их задачах в Туркестане и деятельности туркестанских научных обществ (1900) // ПФ АРАН. Ф. 68. Оп. 1. Д. 75. Л. 1, 10. (цит. по: Тольц 2013).

Однако заслуживает внимания то, как писатель вплетает в ткань своих произведений все перечисленные особенности быта чужой культуры, – это во-первых; во-вторых, крайне частотное упоминание Каразиным – на разные лады – всех этих иноэтнокультурных черт жизни имеет, думаю, четкую цель: привлечь внимание читателя, акцентировать его на этих экзотизмах. Возможно, что не всё, прописанное Каразиным, зафиксировано впервые именно им. Но писатель принадлежит к официально первой волне освоения Туркестана, поэтому его вполне можно считать пионером в литературной этнографии края. Туркестанский текст русской литературы не столько инициирован Каразиным (что само по себе, конечно, есть), сколько им самим и создан: бесчисленное повторение одних и тех же деталей быта и культуры, переходящих из произведения в произведение, превращает их в паттерны/сигнатуры, или, иными словами, в прецедентные культурные образы-клише в самих каразинских текстах (вопреки закономерности, когда локальные тексты складываются постфактум).

Из туркестанского десанта вышло много востоковедов, этнографов: М.К. Басханов, составитель словаря «Русские военные востоковеды до 1917 г.», пишет, что становление «военного востоковедения происходило параллельно с расширением территориальных владений Российской империи в Азии» (Басханов 2005: 5), в российской армии даже появилась неизвестная прежде «военная специальность – “офицер-востоковед” (“офицер-ориенталист”), которая была включена в штаты пограничных военных округов...» (Басханов 2005: 5). Подобного культурологического явления, пишет М.К. Басханов, не было ни в одной стране мира. Русские военные, став по совместительству и этнографами, оставили первыми свои наблюдения, в частности, о Туркестанском крае. Среди них – Н.Н. Каразин. Описанные им обычаи, типажи, быт, кухня, этика поведения, нравы, прецедентные тексты местного населения и другое, увиденное и услышанное в Средней Азии, явилось первым богатым урожаем фольклорно-этнографической экспедиции, плодами, собранными во время главных

походов по завоеванию Средней Азии Российской империей. После Каразина его находки стали массово тиражироваться, становясь туркестанским текстом.

Критик журнала «Дело» (1874), разбирая особенность литературного таланта Каразина, пишет: «Он пользуется беллетристической формой не для того, чтобы проводить и доказывать те или другие теоретические положения – как это делает большинство наших современных беллетристов, – а только для того, чтобы разъяснить и комментировать сложившиеся в его уме *картины* местной жизни и нравов. Ни в выборе, ни в концепции, ни в освещении этих картин нет решительно ничего такого, что бы могло дать повод заподозрить их автора в *пристрастном* отношении к наблюдаемым им фактам. Он объективен не потому, чтобы он особенно старался быть объективным, а просто потому, что его таланту совершенно чужда всякая субъективная рефлексия. Картины окружающей действительности поражают его воображение, и он непосредственно переносит их... не на полотно, а на писчую бумагу, не внося в них ничего или почти ничего *своего*, лично ему принадлежащего» (Никитин 1874: 17).

Рассмотрим этнографические находки, сделанные Каразиным, которыми он насытил свои художественно-исторические тексты. Из географически привязанных, регулярно повторяющихся в дискурсе образов, описаний, прецедентных выражений, сюжетов – назовем их *паттернами* – складываются определенные «узоры», или локальные тексты культуры и литературы, в нашем случае туркестанский текст.

Писательский взгляд Н.Н. Каразина, профессионального художника, заточен на детали. Он видит своих персонажей в специфических позах, несвойственных русской и европейской культуре. Так, персонажи писателя «сидят на корточках» в разных бытовых ситуациях, писателю важно акцентировать внимание читателя на этой этнографической детали, потому что он транслирует инокультурную картину мира, в которой важны даже такие мелочи.

КИНЕСИКА

На корточках

Приведем выборку из собрания сочинений Н.Н. Каразина. Так, персонажи его прозы, туземцы, *на корточках* проводят время досуга:

«...Лучше расскажи сказку... Помнишь ту, хорошую, про золотого хана и его вороную лошадь? – оживился мальчик и, запахнув полы своего халатика, бойко и радостно присел у огонька *на корточки*...»⁴⁰ (Каразин 1905: 15/119) («Атлар»);

«...Начинал так быстро вертеться на одной пятке, что нельзя было уследить, где у него что... просто волчок-вертушка перед глазами... останавливался разом и приседал *на корточки*» (Каразин 1905: 15/126) («Атлар»);

«Лошади и верблюды, на которых они приехали на чиназский базар, привязаны у базарных навесов или загнаны во внутренности дворов; а сами владельцы их рядами сидят *на корточках* по самому краю берегового обрыва и не спускают глаз с белой струи пароходного дыма...» (Каразин 1905: 13/26) («В камышах»);

«Мальчик с кальяном остался на пороге, поставил на землю кальян и сел около *на корточки*» (Каразин 1905: 13/137) («В камышах»);

«По этим капорам и по теплым попонам, покрывавшим лошадей, я догадался, что мои похитители – разбойники высшего полета, тюркмены, а не какая-нибудь киргизская сволочь. Да вот и они сами: один стоит ко мне спиной, нагнулся – и, часто перебирая руками, вытягивает на веревке кожаное ведро из ближайшего колодца; другой *на корточках* сидит неподалеку и перетирает между мозолистыми ладонями горстку зеленого табаку для жвачки...» (Каразин 1905: 9/36–37) («Страшное мгновение»);

«Мумын сидел *на корточках* в тени своих собственных лошадей и дремал, пригретый мартовским весенним сол-

⁴⁰ В данной главке курсив в цитатах мой. – Э.Ш.

нышком...» (Каразин 1905: 16/171) («Как чабар Мумын берег вверенную ему казенную почту»);

«Арбы, не останавливаясь, проходят мимо, но арбакеши, почти все наверное, перебивают у Кашкары, посидят *на корточках* на площадке и покурят из общего кальяна, выпуская с хрипом густые клубы дыма из небольшого отверстия в тыквенном водохранилище» (Каразин 1905: 9/166) («Старый Кашкара»).

Во время молитвы:

«Зарыл он ящик в песок, саксаулу накидал поверх, сам вернулся к коню своему, присел *на корточки* и начал творить намаз-молитву...» (Каразин 1905: 16/183) («Как чабар Мумын берег вверенную ему казенную почту»).

На корточках – в горе:

«Посреди кибитки, на войлоке, закрытый с головою куском белой бумажной материи, лежал маленький трупик. Вокруг сидели *на корточках* десятка два женщин, преимущественно пожилых, и причитали что-то, раскачиваясь в такт напева» (Каразин 1905: 6/161) («Тигрица»).

Туземцы сидят на корточках, будучи плененными:

«Несколько человек, полуголых, на израненном теле которых остатки одежды висели грязными, окровавленными тряпками, с какими-то пепельно-бледными, искаженными страхом и ожиданием лицами, сидели *на корточках*, связанные попарно, под конвоем двух или трех казаков, опершихся на свои танеровские винтовки. Это были пленные хивинцы, пойманные нашими разъездами поблизости лагеря...» (Каразин 1905: 9/22) («Страшное мгновение»);

«Те из проводников, которые сдались без сопротивления, сидят в одну линию *на корточках*, связанные по рукам сзади своими же чалмами» (Каразин 1905: 1/140) («На далеких окраинах»).

Во время опасности – опять на корточках:

«Четыре оборванных сарта с большими бубнами в руках сидели *на корточках* под навесом, угрюмо глядя на проходящих солдат; ни один мускул не пошевелился на этих ти-

пичных, резко очерченных лицах, и казалось, что они совершенно равнодушно относились к шуткам и островам гяуров, сыпавшимся на них из шедших мимо рядов» (Каразин 1905: 9/81) («Ургут»);

«...Увидел старика, притаившегося в этом самом углу, съжившегося, присевшего *на корточки* и державшего в своих дрожащих руках какое-то металлическое оружие...» (Каразин 1905: 6/180) («Тигрица»);

«...Не спал только Сафар, который сторожил, сидя *на корточках* и положив около себя оружие» (Каразин 1905: 1/115) («На далеких окраинах»).

На корточках сидят мужчины и женщины:

«Это была женщина, еще не старая, высокого роста и чрезвычайно худощавая. <...> Женщина сидела *на корточках* около огня и дрожала, как в лихорадке. Остатки полосатого халата едва держались на плечах...» (Каразин 1905: 9/95–96) («Ургут»);

«...Старуха в углу, противоположном, присела *на корточки*, оперлась о колени, а кулаками в жирный, двухъярусный подбородок» (Каразин 1905: 6/11) («Тьма непроглядная»);

«Пришла Ак-алма и села *на корточки* перед ханом» (Каразин 1905: 1/101) («На далеких окраинах»);

«Ай! – взвизгнула Ак-Алма (белое яблоко), молодая жена Аллаяра, заметив на своем дворе мужчину, да еще русского. <...> – Шайтан, сам шайтан! – закричала Тиля (золотая), другая жена, быстро отвернулась лицом к стене и присела *на корточки*» (Каразин 1905: 3/337–338) («Погоня за наживой»);

«Пестрая толпа туземцев сидела *на корточках*, в тени глинобитного забора...» (Каразин 1905: 17/11) («Голос крови»).

На корточках – во время переговоров между русским офицером и туземным бизнесменом, содержателем чайханы:

«Миробай все знает... Миробай все должен знать... У Миробая везде глаза и везде уши...

– Знаю!.. – Криницын гадливо отодвинулся от этого остроносого старика, сидевшего перед ним *на корточках*» (Каразин 1905: 17/43) («Голос крови»).

Туземцы слушают уговоры русского геолога, объясняющего им перспективы разработок горной породы:

«Часа два битых говорили они. Джан-Оглы пришел в половине разговора, сел *на корточки* и тоже все поддакивал» (Каразин 1905: 3/328) («Погоня за наживой»).

На корточках – во время приготовления пищи:

«Джигит уселся неподалеку *на корточках* и, вытянув свою черномазую физиономию, внимательно наблюдал за поверхностью начинавшей уже закипать жидкости...» (Каразин 1905: 1/66) («На далеких окраинах»);

«Кибитки установили, котлы поставили на таганы, стряпня началась, и работникам ничего более не оставалось делать, как сесть *на корточки* и спокойно дожидаться вечера, любуясь, как вдали охотятся чуть заметные всадники. Так и сделали» (Каразин 1905: 1/199) («На далеких окраинах»).

На корточках вели свою иносказательную агитацию против иноземных захватчиков дервиши:

«Как раз посредине главного перекрестка, на самом проезде, уселись *на корточки* друг перед другом два человека; между ними было не более пяти шагов расстояния. Один из них был уже совсем старик, с всклокоченною белою бородой, с лицом, обезображенным следами страшной местной болезни “паш-хорда”, с глазами то поблеклыми, безжизненными... <...> Оба они поочередно говорили громко, нараспев, сильно жестикулируя и пронзительно вскрикивая по временам. <...> Здесь оратор вскочил, дико осмотрелся, пронзительно вскрикнул и грохнулся на землю. <...> Наконец припадок отчаяния несколько унялся; оратор успокоился, сел *на корточки* и продолжал...» (Каразин 1905: 9/121–124) («Юнуска-головорез»).

И во всех других бытовых ситуациях:

«Выбрался таджик на берег и уселся *на корточки*» (Каразин 1905: 1/72) («На далеких окраинах»);

«Сторож совсем сполз с бархана и сел *на корточки*, рядом с Батоговым» (Каразин 1905: 1/98) («На далеких окраинах»);

«Два или три старика, худые, как скелеты, в грязных бумажных чалмах выползли из своих сакель и сели *на корточках*...» (Каразин 1905: 1/121) («На далеких окраинах»);

«Маленькая фигурка сидела *на корточках*, как раз у самого порога, и скалила зубы» (Каразин 1905: 1/152) («На далеких окраинах»);

«Батогов нагнулся, насколько позволял дым; он рассмотрел маленького, черного, словно закопченного киргиза, сидевшего *на корточках* и гревшего над огнем свои пальцы» (Каразин 1905: 1/220) («На далеких окраинах»);

«Только черные силуэты наших путешественников да оригинальная фигура ямщика-киргиза, сидевшего *на корточках* в ожидании обещанного чая, отчетливо рисовались на ярко освещенной части стены» (Каразин 1905: 2/68) («Погоня за наживой»);

«Несколько верблюдов, ободранных, усталых, запыленных, стояли немного в стороне; лаучи сидели около них *на корточках*, только один, стоя, сворачивал в пучки волосяные арканы, которыми подвешивались выюки» (Каразин 1905: 3/192) («Погоня за наживой»);

«Караваны у них не пришли, я знаю! – поднялся на ноги и шагнул к выходу Мушан-Али. Ему там было уж очень жарко, и он выбрался наперед, где и сел снова *на корточки*, облокотившись спиною о резную колонку навеса» (Каразин 1905: 3/208–209) («Погоня за наживой»);

«Целый день работали ташогырцы, а остальные сидели *на корточках*, перешептывались, пересмеивались» (Каразин 1905: 3/299) («Погоня за наживой»);

«Тут только Перлович заметил, что около них, на траве сидел *на корточках* туземец, джигит Батогова» (Каразин 1905: 1/31) («На далеких окраинах»);

«Русские, слышно, под Живою стоят! – говорит киргизенок; слез с ишака своего, пустил его к овцам, сам *на корточках* сел и песок ковыряет пальцем» (Каразин 1905: 8/489) («С севера на юг»);

«...Из удаляющейся толпы зрителей выделился один туземец-лауча, совсем почти голый, только в меховом бараньем

малахае на голове и коротких кожаных, истертых донельзя штанах, подошел шага на три к лежащему, сел *на корточках* и, подперши голову руками, принялся его разглядывать...» (Каразин 1905: 17/27) («Голос крови»).

Убив предателя, из своих же, туземец Таук «сидел перед ним *на корточках* и смеялся...» (Каразин 1905: 16/72) («Таук»); он же, желая служить верой и правдой русскому офицеру, доскакал до него, «присел *на корточках* и смотрит просительно...» (Каразин 1905: 16/51) («Таук»);

«Брат-то его сидит *на корточках*, по ветру ухо настораживает. Ветер завывает в степи, гонит шквалами мелкий песок...» (Каразин 1905: 16/129) («Наурус и Джура, братья “кудукчи”»).

На корточках – поза наблюдателя-туземца за «непонятными» русскими:

«Побрели братья кудукчи. Шагов десять отошли, может, и больше немного, а уже совсем пропали в темноте. Ухмыльнулись себе каждый под нос и опять сели *на корточках* смотреть, что станут делать русские...» (Каразин 1905: 16/133) («Наурус и Джура, братья “кудукчи”»);

«Косматая шапка принялась распутывать узлы поддерживающих вьюк веревок, быстро и ловко управилась с этим привычным делом, затем откатилась – именно откатилась – несколько шагов в сторону и присела на песок *на корточках*, держась поодаль, особняком, от нашего бивуака...» (Каразин 1905: 16/152) («Тюркмен Сяркей»); «...тот [Сяркей] молча сидел *на корточках*, и только его черные быстрые глаза ласково и добродушно подсмеивались...» (Каразин 1905: 16/156) («Тюркмен Сяркей»).

Среди русских солдат, да и всех вновь пришедших в Среднюю Азию, по наблюдению Каразина, распространяется «мода» сидения на корточках: «...в стороне, присевши *на корточках* около небольшого огонька, на котором прилажены были маленькие походные котелки, расположилась кучка солдат» (Каразин 1905: 1/251) («На далеких окраинах»);

«...Ряды ружейных козел, опять значки, опять какие-то шатры, навесы, палатки... И между всем этим снующие по

всем направлениям, толпящиеся в кучках, лежащие враспяжку, сидящие *на корточках*, все чем-то занятые, суетливые на бивуаках, спокойные *в деле*, “белые рубахи» (Каразин 1905: 14/21) («Двуногий волк»);

«Наш доктор, который на своей маленькой лошаденке, вооруженный простою маленькой шпажонкой, всегда находился во главе атакующих рот, уже сидел *на корточках* около раненого и забинтовывал ему голову» (Каразин 1905: 9/103) («Ургут») – так условия походной, а также инокультурной жизни способствовали заимствованию и популярности физической позы *на корточках*.

Каразина можно считать пионером в фиксации этой туземной позы, вошедшей в существующий до сих пор набор стереотипов повседневности при изображении представителей Туркестанского края.

У специалистов по физической антропологии по поводу этой позы есть точка зрения: «У многих азиатских народов принято сидеть *на корточках* так, что ступни стоят плоско на земле. Аборигены Австралии делают это иначе, их ступни подобраны под ягодицы. У тех, кто сидит в азиатской позе, в месте соединения голени и таранной кости (ступни) есть хорошо выраженная поверхность, которая, по-видимому, позволяет очень долго удобно сидеть *на корточках* на рисовых полях и базарах (для большинства европеоидов это очень трудное дело). <...> Далее, ни той, ни другой поверхности нет у тех людей, которые привыкли сидеть на стульях. И что самое интересное, все эти структуры уже присутствуют в костях эмбрионов и маленьких детей у тех народов, которые имеют привычку сидеть *на корточках*, но их нет у эмбрионов и маленьких детей в тех популяциях, где люди для сидения используют стулья» (Стил 2002: 171–172).

Подтверждает Н.А. Варенцов, вынужденный соблности этикетную формальность: «Мне впервые пришлось сидеть *на корточках*, и я чувствовал себя скверно, у меня ломило ноги» (Варенцов 2011: 38).

И напротив, среднеазиаты страдают и мучаются, сидя на стуле, вписываясь в церемониал инокультуры. Н.А. Варенцов

описывает свои торговые контакты в Средней Азии, в частности Матвафу Юсупова, который приезжал к нему в имение: «Вспоминаю об обеде у меня в имении, когда ему пришлось сидеть долго на стуле; от непривычки сидеть на стуле у него затекли ноги, и нужно было видеть его радость, когда зашел разговор с детьми, узнавшими, что в Хиве принято сидеть на полу, поджав ноги, что их весьма удивило. Матвафа, желая им показать на примере, вскочил со стула и уселся на ковре в довольным и счастливым лицом и просидел так более, чем следовало бы для примера» (Варенцов 2011: 152).

Кто первым обратил внимание на эту короткую позу – сказать невозможно, да и нет надобности, важно лишь то, что взгляд путешественника в Туркестан этнографа, востоковеда второй половины XIX в. вычленил эту особенность, которая, тиражируясь, превратилась в паттерн туркестанского текста. Для аргументации приведем примеры из туркестановедческой литературы, повествующей о периоде колонизации (авторы: Н.А. Варенцов, П.И. Пашино, Д.Н. Логофет, Г. Гинс, А.В. Квитка, К. Скорина, В.Н. Гартевельд, П.И. Небольсин, Д.Н. Долгоруков, Н. Уралов, а также А. Вамбери и С. Хедин):

«Бухарцы ходили совершать омовение на Сырдарью, и им чрезвычайно хотелось увидеть, как бегают пароходы. Нередко они подолгу стояли на берегу, вглядываясь в устройство неведомой для них силы, но ничего не могли ни сообразить, ни понять; нередко и я подходил к ним и заставлял их, сидевшими *на корточках*, в этом глубочайшем умосозерцании» (Пашино 1868);

«Над кишлаком носится запах гари. Освещая темные стены сакль, кое-где на дворах виднеются огни костров, около которых, сидя *на корточках*, расположились группами таджики» (Логофет 1909: 157);

«Подъезжаем ближе. Перед нами в разных местах плотные круги всадников; посреди круга сидят *на корточках* старики и совещаются. Молодежь ждет решения» (Гинс 1913: 302);

«Крупные купцы-баи заходили в кабинет Николая Павловича, с такой же церемонией здоровались; старшие и по-

четные размещались на стульях, с завистью посматривая на младших, сидящих *на корточках* по стенам кабинета, но, не желая терять своей амбиции, сидели на стульях» (Варенцов 2011: 37–38);

«Хозяин сидел *на корточках* у задней стены...» (Варенцов 2011: 276);

«Вместе с ними были захвачены и женщины, в том числе жена Кизил-Арватского хана, довольно красивая. Они сидели *на корточках* в отведенной им палатке и все время рыдали» (Квитка 1883: 577);

«Приготовления к отъезду были покончены; лошади выведены уж перед наши кибитки, многие сидели уже на конях, как вдруг атаман заметил, что трое гостей сидят, снаружи посланцевой кибитки, *на корточках* и не думают вставать с места. <...> Никакие резоны не помогали. Хивинцы продолжали, сидя *на корточках*, качаться из стороны в сторону» (Небольсин 1854: 233);

«В своем быте он, впрочем, самый настоящий киргиз, так, стулья, например, служат у него только украшением⁴¹, сидит же он сам и его гости *на корточках*, на подостланных небольших тюфяках или ваточных одеялах, что и мне, по просьбе хозяина, пришлось сделать во время ужина и обеда» (Скорино 1894: 1038);

«Лишь только вошел я в мавзолей, как увидел в вестибюле муллу с учениками, которые, сидя *на корточках*, хором, нараспев читали молитвы из Корана. Все сейчас же поднялись мне навстречу, и на мое желание осмотреть могилу ответили любезным предложением проводить меня» (Гартевельд 1914: 132);

⁴¹ Вынужденный долгие месяцы жить по законам чужой жизни и наконец добравшийся до родной европейской цивилизации, вспоминает Арминий Вамбери: «Я между тем вошел в комнату, и как велика была моя радость, когда я в первый раз снова увидел стол и кресла, предметы европейского образа жизни. Я остановился перед ними, как перед священными реликвиями, долго смотрел на них влажными глазами...» (Вамбери 2003: 209).

«Наши хивинцы забрались на свои сиденья совсем с ногами и заняли на них позицию, уткнувшись кто *на корточках*, а кто с запросто поджатыми ногами» (Небольсин 1854: 216);

«При этом все три джигита, а с ними и местный таможенный начальник, седой старик с весьма бойкими манерами, уселись *на корточках* пред нами и принялись услаждать нашу усталость крайне любезным разговором...» (Долгоруков 1871: 250);

«Что, тамыр, не спишь, аль днем выспался? – подошел он ко мне, усаживаясь *на корточки*» (Уралов 1897: 73);

«Иногда некоторые останавливались у моих дверей и просили немного хаки шифа (целительной земли⁴²) или нефес (святого дыхания), жалуясь на свои действительные или воображаемые недуги. Я не мог отказать этим бедным созданиям... они садились перед моей дверью *на корточки*, и я ощупывал, шевеля губами, как бы молясь, болезненное место на теле и трижды сильно дул на него...» (Вамбери 2003: 99–100);

Шведский исследователь Свен Хедин в 1893–1897 гг. проехал сквозь «сердце Азии» – через Туркестан в направлении Китая (большая часть его путешествия связана с тюркской культурой; см.: Хедин 2010: 408), потому интересными представляются его записи как участника туркестанского текста (не как участника русского Туркестанского проекта), свидетельствующие о широте (практически глобальной) реконструируемого здесь феномена.

«...Я провел весь день за черчением и писаньем, согреваясь время от времени стаканом чаю; люди же, укутавшись в тулупы, сидели *на корточках*, в защите от ветра, около ближайшей гнейсовой глыбы и слушали Молу Ислама, читавшего вслух из старой книжки со сказками» (Хедин 2010: 126); «...Бек с тремя охотниками... сидели *на корточках* вокруг каких-то сундуков» (Хедин 2010: 389).

«Перед глазами нашими открылась интересная картина, достойная кисти Верещагина или Каразина: в шагах ста

⁴² Ее приносят с собой паломники из Медины, из дома, где, как утверждают, жил пророк; она используется правоверными как лекарство против всех болезней (Вамбери 2003: 99).

от дома вокруг большого костра разместились *на корточках* джигиты бека, кучера, повар и малайка» (Варенцов 2011: 272) (про *малайку* см. ниже) – эти слова Н.А. Варенцова, с одной стороны, подтверждают сделанное наблюдение на материале прозы Каразина, с другой – справедливое свидетельство широкой известности Каразина (Варенцов, будучи социально активным на рубеже веков, пишет свои воспоминания уже в советское время, в 1930-е годы).

Тиражирует этот кинесический паттерн туркестанского текста уже в советском романе А.В. Алматинская: «Часовой, шагавший у ворот, то и дело поглядывал на дехкан, присевших *на корточки* возле арыка. Их было человек десять...» (Алматинская 1958: 304).

Все приведенные выше фрагменты – рецепция иной, новой для восприятия культуры, собственно, выражение ориентализма. Однако изнутри культуры, из ее почвы, также присутствует взгляд как бы внешнего наблюдателя. Так, узбекский писатель Абдулла Кадыри фиксирует ту же характерную позу: «Неподалеку, у очага, сидит *на корточках* грубоватая на вид женщина лет сорока пяти и кипятит воду для чая» (Кадыри 2009: 31); «Дойдя до берега, она перепрыгнула через арык и присела в известном нам месте *на корточки*, зачерпнула рукой воду и брызнула себе в лицо...» (Кадыри 2009: 56); «Он присел *на корточки* у арыка, чтобы зачерпнуть воды...» (Кадыри 2009: 70); «Сердце все еще бешено колотилось у него в груди, он готов был к отпору. Но, услышав, как тетушка Джаннат сказала: “Калитка заперта”, успокоился и опять присел *на корточки* под окном» (Кадыри 2009: 264).

Без ложки

«Мать поставила передо мной чашку с пловом и сказала: – Ешь. <...> Я посмотрел на чашку и не стал есть. – Чего же ты ждешь? – спросила мать. – Ложку, – сказал я. Тут поднялся со своего места отец, схватил меня за плечи и тряхнул изо всех сил. – А пальцы у тебя на что, – закричал он. – Это у вас коммунисты на детской площадке все выдумывают раз-

ные ложки. Ешь руками!» (ЕЖ 1928: 17). Это отрывок из упомянутого ранее письма, написанного узбекским мальчиком в 1928 г. и присланного в ленинградский журнал для детей. Это рассказ о том, как непросто тамошним октябрятам дается вступление в новую жизнь – мальчик жалуется на своих родителей. Вектор этого пропагандистского текста – в сторону русской цивилизаторской миссии на Восток: именно русские принесли туда культуру, в том числе и ложку. Восточная особенность отправлять плов и другие яства в рот руками – не новость. Но ведь когда-то это было откровением для человека европейской культуры, в частности для Каразина. В его прозе широко растиражирована среднеазиатская трапеза «без ложки»:

«Ешь, чего смотришь! – толкнул Бабаджанов соседа, прапорщика Столбушина.

– Да ложки нет! – отозвался тот.

– А ты вот как!

И киргиз бесцеремонно запустил пять пальцев в дымящееся блюдо с пловом» (Каразин 1905: 5/120) («Наль»);

«Плов поспел. Стали его раскладывать в большие плоские чашки, разостлали попоны, коврики, что нашлось подходящего, поставили эти дымящиеся чашки перед гостями, и потянулись к ним десятки рук, зарываясь в этом облитом жиром, горячем вареве» (Каразин 1905: 14/120–121) («Двуногий волк»);

«...Досщак... сел к котлу, снял крышку, запустил туда руку, не горячо ли, – вынул оттуда и начисто облизал свои пальцы. <...> И остальные придвинулись поближе к котлу и запустили туда руки. Они только и ждали прихода Досщака, чтоб начать есть свою болтушку из муки, солоноватой воды и пригоршни солдатских сухарей, захваченных Узенем из казенного верблюжьего выюка» (Каразин 1905: 14/42) («Двуногий волк»);

«Большими деревянными черпаками (кашик) плов разложили на блюда и в большие плоские чашки и начали ставить их перед гостями. Все принялись засучивать рукава и

расправлять свои пальцы. Нам, русским, предложены были ложки, взятые для этого случая из сервиза начальника отдела, и мы принялись ужинать» (Каразин 1905: 9/148) («Рахмед-Инак, бек Заадинский»);

«На дворе шли бесчисленные пирования. Всякий, кто хотел, мог смело заходить в растворенные настезь узорчатые ворота и садиться на разостланные ковры перед горячими блюдами жирного плова и смело запускать туда свои руки» (Каразин 1993: 425–426) («Байга»);

«...Маленькими кусочками изрезанная баранина аппетитно поджумянилась, нанизанная на шомпол, и издавала приятный, раздражающий аппетит запах. На Кавказе это блюдо называется шашлык, здесь же оно носит более характеричное название беш-бармак, что значит пять пальцев. Впрочем, киргизы могли бы все свои кушанья назвать беш-бармаком, потому что они вовсе незнакомы с употреблением вилок, да и ложки встречаются у них далеко не за всяким обедом» (Каразин 1872а: 77–78) (очерк «Из Центральной Азии»);

«...Общество, собравшееся к обеду, было довольно многочисленное, то оказалось, что нельзя ограничиться одной общей мискою, и для удобства кушанья раздавались в нескольких плоских чашках меньших размеров, и к этим дымящимся, наполненным жирным ароматическим мясом сосудам тянулось не более трех пар мускулистых рук с пальцами, почерневшими от постоянного держания просаленных ремненных поводов».

Мне пришлось есть с самим хозяином, который несколько не смутился, увидав, что я вооружился ложкою и складным ножом с вилкою; он уже видал эти виды и даже старался не запускать своих пальцев в ту часть миски, которая находилась в моем распоряжении» (Каразин 1872а: 87) (очерк «Из Центральной Азии»);

«Принесли горячую шурпу... для Ольги Николаевны особливо, в китайской чашке, ей даже ложку положили... <...> Эстер свернула себе из куска тонкой лепешки нечто вроде черпалки,

выгребала им из похлебки кусочки курицы и складывала их на ладонь, а оттуда брала в рот... Сара-Кошма и Хатыча чуть не по локоть погружали свои руки в грудку плова и так набивали рот...» (Каразин 1905: 6/49) («Тьма непроглядная»), – за столом встретились разные цивилизации.

Русский переселенец мимикрировал под туземца, «посуду всю завел киргизскую, ел, однако, ложкою, по-нашему, а только ежели где случалось в гостях, у бия какого-нибудь степного, то не хуже косоглазых всею пятернею работал, – научился и этому...» (Каразин 1905: 7/232) («С севера на юг»).

Вослед Каразину об этой же особенности среднеазиатов пишут путешественники и мемуаристы: «Котел сняли с тагана и хозяин велел подать большой медный таз и кумган, а также длинное холщовое полотенце, и началось обмывание рук. Без этого обряда номады за пищу не принимают, что очень понятно: у них нет ложек и всякую пищу они едят пальцами, а жидкую пьют из больших деревянных чашек прямо через край. <...> Началось дружное истребление мяса; ели прямо пальцами, облизывая их по временам. <...> По окончании еды опять явились на сцену таз, кумган с горячею водою, и снова началось обмывание рук» (Уралов 1897: 141–142);

«Обед начался... Мне и моему компаньону Капустину были поданы тарелки, ножи, вилки и ложки, остальные гости, хозяева ели без этих атрибутов еды, подсовывая свои пальцы под рис в общем блюде, с ловкостью поддевали двумя пальцами рис, а третьим, большим пальцем сталкивали его в рот, не роняя ни единого зернышка» (Варенцов 2011: 277);

«...Ели перстами, как они обучали нас, глядя, как они это делали и после опускания в рот с удовольствием облизывали свои пальцы для взятия новой порции из общего блюда» (Варенцов 2011: 278).

Завершить трапезу звуковым сопровождением – азиатский бонтон, подробно описанный Каразиным:

«Мирза Юсуп и все гости успели рыгнуть по второму разу. Рыгание выражает то, что гость удовлетворен угощением хозяина и наелся до последней степени. Позабыть рыгнуть

– значит показать себя человеком, совершенно не знающим приличий. Рыгать слишком часто – это тоже могут принять за слишком уже усиленную лесть, и потому тут должна быть своего рода сноровка, которую и изучают вместе с остальными правилами азиатского этикета. Итак, гости рыгнули уже по второму разу» (Каразин 1905: 1/180–181) («На далеких окраинах»);

«Принесли кунган с теплою водою, поддонник для омовения рук и шелковое красное полотенце. Сары-Кошма громко рыгнула, в знак полной сытости и довольства угощением; рыгнула, еще громче, Хатыча, хотела было и Эстер, но у нее это приветствие не вышло» (Каразин 1905: 6/50) («Тьма непроглядная»);

«Богатый купец Шарип-бай выпил уже очень много чашек чая, так много, что уже отрыгнул три раза и беспрестанно вытирал пот на лбу и шее полою своего нижнего халата...» (Каразин 1905: 3/208) («Погоня за наживой»).

Вслед за Каразиным на эту этикетную деталь обращают внимание другие путешественники-востоковеды:

«Вежливый Левашов, в совершенстве знавший все этикету, уже несколько раз рыгнул, что выражало полное довольство и благодарность хозяину. Мулла ликовал. По-видимому, душа его была переполнена счастьем» (Уралов 1897: 151).

Незадолго до Каразина своими наблюдениями поделился А. Вамбери: «...Рассаживались кружками приглашенные, по пять-шесть человек в кружок; каждой группе подавалась большая деревянная миска, наполненная в соответствии с числом и возрастом едоков, в нее погружали широко раскрытую ладонь и опорожняли дочиста, не пользуясь никакими иными орудиями для еды» (Вамбери 2003: 54);

«...Появилась вереница слуг с мисками, полными дымящегося плова. Рассказывают чудеса о том, какая полезная, вкусная и благословенная еда у Его Высочества, но прогорклый жир и испорченный рис убедили меня в обратном. Я, правда, порылся пятерней в миске, как и мои соседи, но остерегся от еды...» (Вамбери 2003: 211).

Эта этнографическая особенность становится паттерном не только туркестанского, но вообще восточного текста – так, писатель XX в., воссоздавая восточные реалии начала XIX в., пишет: «Когда дежурный унтер-офицер приходит убрать плов и приносит конфеты в меду, ханы вытирают жирные пальцы о полы халатов и тихо рыгают, из вежливости, показывая этим, что они сыты. Генерал-губернатор, действительно, кормит их превосходно. <...> Потом они подробно вспоминают особо удачные ласки жен, пальцы их двигаются, рты полураскрыты. Они тихо рыгают» (Тынянов 2006: 208–209), – не без ориенталистской брезгливости описывает Ю.Н. Тынянов пленных персидских ханов.

Если глазами представителей чужой культуры эта особенность выглядит как экзотика, с ощутимыми или скрытыми негативными коннотациями, то изнутри, со слов представителя туземной культуры, – как превосходная степень оценки: «Я счастлив буду отведать из вашей благословенной руки.

Ахмад-хан захватил побольше плова в горсть и поднес ко рту курбаши, лицо которого выразило блаженство, казалось, он готов проглотить не только плов, но и руку Ахмад-хана» (Кадыри 2009: 78).

«Они до сих пор едят без ножей и вилок, так как считают грехом колоть и резать дары божьи. <...> В Средней Азии, где едят пятерней, салфеткою служит рукав или пола кафтана...» (Дело 1877: 100), – так по-разному отзывались в устах европейцев этнографические особенности Туркестанского края: с интересом и пониманием или с брезливостью и превосходством.

«Рука к желудку»

Каразина удивила церемониальная особенность азиатов во время просьб, обращений, благодарности прикладывать руку (руки) к животу (к желудку), о чем он многократно повторяет в своих сюжетах:

«Давлет подобоострастно раскланялся, прижимая *руки к желудку*, и, согнувшись, вошел в палатку»⁴³ (Каразин 1905: 5/99) («Наль»);

⁴³ В данной главке курсив в цитатах мой. – Э.Ш.

«Сам хозяин, красивый, не старый еще брюнет, в ярко-желтом шелковом халате и шалевом тюрбане, двинулся к прибывшим, сложил *руки на животе*, согнулся и, сладко улыбаясь, стал поочередно пожимать между двумя ладонями протянутые ему руки гостей» (Каразин 1905: 5/34) («Наль»);

«Старый Нурмед-перевозчик встретил гостей низкими поклонами и беспрестанными прикладываниями рук ко лбу, губам, сердцу и *животу*» (Каразин 1905: 13/78) («В камышах»);

«Саид-Азим окинул любопытным взглядом обеих дам и приложил *руки к желудку*, в знак самого глубокого уважения» (Каразин 1905: 1/225) («На далеких окраинах»);

«Сарт Саид-Азим и другой туземец, жирный Шарофей, только что появившиеся из сада, одновременно произнесли “хоп” и взялись за *желудки*» (Каразин 1905: 1/256) («На далеких окраинах»);

«Киргизы шли, не торопясь, спокойною, степенною походкою и, подойдя шагов на десять к желомейке, поклонились, положив *руки на желудок*, произнесли короткое приветствие и сели» (Каразин 1905: 2/144) («Погоня за наживой»).

Не хотел купец из туземцев объясняться с русским коллегой о причинах несостоявшейся сделки, перепоручил своему муфтию, на язык которого уже, должно быть, «навернулись подходящие фразы, потому что мулла решительно крякнул, оправился, сложил *руки на желудке* и смело переступил порог комнаты» (Каразин 1905: 3/229) («Погоня за наживой»).

Ненавистный сборщик податей получил халат в знак ритуального уважения: «Носи на здоровье! – приложил *руки к желудку* и потом поднес их ко лбу и губам Аллаяра, а сам подумал: чтобы тебе провалиться сквозь землю со всею твоею шайкою, чтобы на тебя Шайтан-каик обвалился, когда ты погонишь мимо всю нашу скотину, чтобы... <...> Джан-Оглы провожает: так и не разгибает спины, все за *живот держится* и напутственные пожелания произносит» (Каразин 1905: 3/341–342) («Погоня за наживой»);

«Взглянул хозяин – Дмитрий-ходжа идет, веселый такой, улыбается, рот свой беззубый показывает, издали еще *руки*

к *желудку* поджимает в знак почтения, на ходу кланяется» (Каразин 1905: 8/451) («С севера на юг»);

«...Народ теснее сдвинулся к крыльцу; посторонние наклонились, почтительно скрестив *руки на своих животах...*» (Каразин 1905: 9/180) («Джигитская честь»);

«Встречные на пути конные киргизы и сарты почтительно сворачивали с дороги (при виде русских офицеров. – Э.Ш.), торопливо соскакивали с лошадей и низко кланялись, сложив *руки на животе...*» (Каразин 1905: 17/14) («Голос крови»).

Старому почтальону из туземцев доверяют почту: «Хоп! – кланялся Мумын, прижав *руки пониже желудка*. – Хоп, тюра, хоп! Все цела будыт... казонной бумага знаю...» (Каразин 1905: 16/174) («Как чабар Мумын берег вверенную ему казенную почту»).

Каразину вторят последователи: «Тюра-Якуб-бай подъехал, остановился и поздоровался по всем правилам степного этикета, т. е. сложив *руки на животе*, отвесил кулдук, проговорив неизбежные в таких случаях фразы: “здравствуйте, мол, добрые люди, откуда и куда держите путь” и прочее в этом роде, честь честью, как следует» (Уралов 1897: 102).

Востоковед В.П. Наливкин писал в начале XX в. о том, что «почтительное складывание рук на животе» в комплексе со смиренным видом, опусканием глаз долу и деланной мягкостью является правилом мусульманской вежливости, прививаемым с юного возраста (Наливкин 2012: 33).

Колониальное прошлое причудливо отозвалось в постколониальной культуре: набор жестов, поз, слов, ментефактов и др., вывезенный когда-то «ташкентцами» (в щедринском значении) из Туркестана, органически врос в блатную культуру XX века – что закономерно, так как интенция «ташкентства» по сути маргинальная: в современном дискурсе сидение *на корточках* часто сопровождает описание уличных городских, дворовых посиделок, пространство уголовников, есть даже фотографии с каменных надгробий, вывешенных в Интернете, где уголовный авторитет изображен сидящим на корточках; а жест, аналогичный русскому «бить по рукам»,

но с поднятыми вверх и встречающимися в хлопке ладонями, тоже характерный для маргинальной культуры, вывезен был оттуда же, из Средней Азии: «Я не стал торговаться... И сразу надбавил цену почти в полтора раза, после чего приятель мой немедленно согласился и в виде вящего удостоверения в своей благонадежности, сильно шлепнул ладонью своей руки обою, что, кстати сказать, составляет необходимейший у киргизов, сартов и других туземных обитателей акт при всяких куплях-продажах и иных подобных сделках, заменяя нотариальное условие» (Уралов 1897: 13–14);

«Бросил десять золотых монет, остановился и хлопнул рукою. Хотел по руке песенника, да тот отдернул. Рассердился старик, прикинул еще две монеты, опять хотел по руке хлопнуть, а песенник не дается... Еще прибавил золотую монету и полез за другим мешком, где у него серебро хранилось. Долго они все спорили, наконец, рассердился тот, загреб все деньги и назад хотел уйти. <...>», – так происходила продажа мальчика-бачи в повести «Атлар», – «...так точно у них в ауле дед Гайнула покупал верблюдицу... Тоже подкидывали деньги на платок, тоже спорили и по рукам друг друга хлопали...» (Каразин 1905: 15/124–125).

«Смотрю я и вижу, что и Бакшей Отучев и Чепкун Емгурчев оба будто стихали и у тех своих татар-мировщиков вырываются и оба друг к другу бросились, подбежали и по рукам бьют.

– Сгодá! – дескать, поладили.

И тот то же самое отвечает:

– Сгодá: поладили!» (Лесков 1989: 2/252).

Этнические жесты, намеренно акцентированные Каразинным путем многократных повторов, зажили впоследствии в виде слагаемых туркестанского текста. Например: «Стали подходить батраки – узбеки и казахи, стоявшие отдельной толпой в глубине сада. Они прижимали *руки к животам*, низко кланялись, бормоча поздравления» (Алматинская 1969: 1/87); «Едва Маша показалась на крыльце, киргиз, соскочив с лошади, долго кланялся, прижимая *руки к животу*» (Алматинская 1969: 1/171) (курсив мой. – Э.Ш.).

Ц-ц

Еще одну особенность среднеазиатских народов – в речевой коммуникации – подметил Каразин (к слову, эта деталь в виде эндемической разошлась впоследствии по анекдотам с инокультурной тематикой⁴⁴):

«Два сарта говорили о наших дамах, которые сидели на самых видных местах, как раз напротив нас.

– *Це-це!* Эх! Хороши, – говорил один.

– Хороши! – отвечал другой и сплюнул на сторону: это значит, что у него потекли слюнки при виде такой прелести»⁴⁵ (Каразин 1905: 9/146) («Рахмед-Инак, бек Заадинский»);

«...Он обтер мне лицо рукавом своего халата. Я крепко сжал его руку...

– *Ц... ц...* – зачмокал он. – Спасибо Аллаху, что не ты на его месте... Ой-ой, беда!» (Каразин 1905: 16/93) («Таук»);

«Киргиз Аман-бай, нацедив из турсака воды в чайники, егозил и заискивал у косматой шапки: он, видимо, хотел смягчить свой вчерашний отказ в чае и, разводя огонек, десятый раз повторил:

– Чаю много пей... сколько душа хочет, пей... ничего... чай хороший... с сахаром пить будешь... *Ц...ц...* ох, хороший человек...» (Каразин 1905: 16/156) («Тюркмен Сяркей»), – так, посредством междометия «це-це», среднеазиат выражает свои эмоции – от сочувствия до восторга.

Эту же эмоционально-речевую особенность тиражирует Н.Н. Уралов в своих «Воспоминаниях из жизни в Средней Азии» – рассказчик пытается нанять верблюдов у аборигенов, которые водят его за нос: «Ни знай! – лаконически ответил седобородый таджик, а хитрые глаза совсем сощурились: хорошо знал, бестия, что конкурентов ему не очень много, – что хотел, то и просил.

– Вот те на! если ты не знаешь, так кто же знать-то будет, свинья, что ли? – озлобился я.

– *Цы, цы!*.. зачем скверна слова скажишь...» (Уралов 1897: 12).

⁴⁴ См.: Шафранская 2010: 155.

⁴⁵ В главке курсив в цитатах мой. – Э.Ш.

И эхом – в романе XX века: «Возле каждой железнодорожной станции возникают базарчики, охотно посещаемые кочевниками.

– Вот-вот... Какие у них настроения?

– Самые миролюбивые. Они привозят свои кустарные изделия, продают пассажирам, разглядывают паровоз, вагоны, качают головами и *цокают*.

– Да, да, у них есть эта забавная привычка. Ха-ха-ха!»
(Алматинская 1969: 1/421).

ГАСТРОНОМИЯ

Для написания книги «Ташкентский текст в русской культуре» (Шафранская 2010) был проведен опрос: перечислить паттерны – слова/понятия/артефакты и проч., с которыми ассоциируется топоним «Ташкент», чтобы, собственно, проверить, существует ли в русском дискурсе ташкентский текст. Участниками опроса были люди, никогда не жившие в Ташкенте (это было важно). В ряду ответов были в немалом количестве названы гастрономические блюда, а именно *плов*.

И начат этот путь тиражирования «плова» (а значит, складывания туркестанского текста) в произведениях Каразина⁴⁶:

«...Там варили неизбежный *плов*⁴⁷ для приезжих, для чего с вечера еще были зарезаны целых пять баранов» (Каразин 1905: 9/143) («Рахмед-Инак, бек Заадинский»);

«Принесли блюда с горячим *пловом* из цыплят, с почками и печеночками, очень вкусно приготовленным, а так как мы уже нагуляли легкий аппетит, то и принялись за угощение; хотя и трудновато было с непривычки управляться без ложек, но так как я лично давно уже приспособился в этом направлении, то и не обращал особенного внимания на затруднительность положения моих товарищей по оружию.

– Горячо как, однако, – заметил полковник, обтирая пальцы о края шелковой скатерти» (Каразин 1905: 15/82) («Докторша»).

Во всех фрагментах прозы Каразина, описывающих угощение, плов неизменен.

Называются и другие блюда:

«У стен под навесами были расположены кухни, вероятно, самого бека: громадные медные тазы, вмазанные в глиняные очаги, стояли рядами; некоторые были до половины наполнены остатками *шурпы* и *плова*» (Каразин 1905: 9/105) («Ургут»). К *шурпе* и *плову* дается сноска – авторский ком-

⁴⁶ См. также главу «Без ложки».

⁴⁷ В данной главке курсив в цитатах мой. – Э.Ш.

ментарий: «Национальные блюда азиатов»; таким образом впервые атрибутированы эти артефакты – рассказ был напечатан в 1874 г. в журнале «Дело».

«Подали ужин; он состоял из *шурпы* (род рыбной похлебки)⁴⁸ и неизбежного плова» (Каразин 1905: 6/138) («Ак-Томак»);

«Поешь, голубка, покормись! Вот я тебе *шурпы* принесла... хорошую сегодня варили, из рыбы!» (Каразин 1905: 6/11) («Тьма непроглядная»).

«...Приготовлялись пельмени на паровых решетках⁴⁹; а под двумя тополями, в сторонке, виднелись ульеобразные глиняные печи, в которых пеклись плоские лепешки и маленькие, твердые как камень, хлебцы на бараньем сале» (Каразин 1905: 9/137–138) («Рахмед-Инак, бек Заадинский»).

С. Хедин также не преминул зафиксировать гастрономические особенности среднеазиатской кухни: «При значительном стечении пилигримов “аш” и “*палау*” (рисовая каша) варится зараз для всех в самом большом из котлов» (Хедин 2010: 187); «Из другой палатки доносился веселый говор, достигший своего апогея, когда подали дымящийся *пилав*» (Хедин 2010: 403);

«Прежде всего являлся Ислам-бай и провозглашал: “Аш-таяр, тюря!” (“*Пилав* готов, господин!”), накрывал скатертью местечко около меня на помосте и подавал кушанья. Они состояли из *пилава*, т. е. риса с луком и бараниной, *шурпы*, т. е. супа с зеленью и мозгом...» (Хедин 2010: 393).

Экзотический продукт среднеазиатской кухни – *курт*, форма которого и отсутствие какого-либо эквивалентного аналога в других культурах породили немало анекдотов и комических нарративов⁵⁰. Курт – небольшой, с грецкий орех, скатанный из сырно-творожной массы белый шарик. Пока

⁴⁸ Шурпа – это не «род рыбной похлебки», а аналог супа, в среднеазиатской кухне более распространена шурпа с бараниной.

⁴⁹ Впоследствии в русский язык это блюдо вошло под названием «манты».

⁵⁰ См.: Шафранская 2010: 112, 152.

курт «обкатался» до собственно *курта*, был он поначалу для русского уха *крут* (процесс *метатезы*), что и отражено в прозе Каразина:

«Один из тюркменов порылся в коржумах (переметных сумках), достал оттуда кусок сухого, твердого, как камень, овечьего сыра, называемого по-киргизски: *крут*; потом отделил от него часть и распустил в воде на дне кожаного ведра. – На, лакай! – сунул он мне ведро к самому лицу. <...> Слабыми дрожащими руками подтянул я к себе ведро, чуть не опрокинул его... Захватил зубами за его край и всосал в себя кислотоватую, сильно пахнувшую потом сырную гущу... Я почувствовал себя много свежее...» (Каразин 1905: 9/37–38) («Страшное мгновение»);

«Меня страшно мучил голод: кроме *крута*, выпитого с водою еще на прошедшем ночлеге, я положительно ничего не имел во рту» (Каразин 1905: 9/41) («Страшное мгновение»).

В переизданном впервые после 1905 г. сборнике избранных произведений Н.Н. Каразина (1993) публикаторы поправили писателя, написав *курт*, и напрасно, так как *крут* вместо *курта* встречается не у одного Каразина – такова была одна из форм огласовки слова в конце XIX в.:

«...У киргизов готовится еще “*крут*” – род сыра из овечьего или другого молока» (Уралов 1897: 42);

«Башкирец на постоянном местопребывании ест ужасно много; но в дороге, на походе, не знаешь, куда девается его аппетит. Одна часть *курта*, разведенного в воде, достаточна для того, чтобы напитать досыта четырех взрослых башкирцев; при нужде одному человеку довольно только небольшого катышка этого сыра: он будет сыт им целые двое суток и не проголодается. <...> Разносолов мало; обыкновенное блюдо – кашлица из полбенной крупы с растертым в ней *куртом* (говорят: и “*курт*”, и “*крут*”))» (Небольсин 1854: 229)⁵¹.

⁵¹ Во время обсуждения в пространстве блогосферы предпочтительной формы: *крут* или *курт* – автор Живого журнала *rus-turk* привел исчерпывающие примеры, за что я выражаю ему благодарность:

В XX в. на территории Карлага существовал Акмолинский лагерь жен изменников родины, или АЛЖИР. Однажды умирающих от голода женщин вдруг стали забрасывать камнями – через забор, со стороны местных жителей, казахов, – к иезуитской радости ВОХРы: якобы как же вас все ненавидят. Поначалу женщины уворачивались от небольших камней, затем принялись – пахло от них молоком. Эти «камни» оказались куртот, спасительными камушками от местных жителей (Токаева 2011).

«Когда в советское время в казахские степи приезжали ссыльные, думаю, никто с голода не помер. Например, рассказывали, что в приезжавших сюда “врагов народа” местные мальчишки кидали камни. А потом выяснилось, что это был куртот. Куртот – это когда в молоко добавляют соль, выжимают, высушивают и используют как энергетический продукт, который никогда не испортится. Оказывается, бабушки давали детям куртот кинуть заключенным, а охранники просто не знали, что это такое», – рассказывает Толеубекот и широко улыбается»⁵².

«Из овечьего молока кочующие народы готовят сухой, жесткий, кисловатый сыр, известный под названием *крута*, или *курута*; растирая его с водою, получается питательный, прохлаждающий напиток; почти только при пособии этого сыра и можно употреблять негодную степную воду» (*Эверсман Э.А.* Естественная история Оренбургского края. Ч. II. 1850 / Пер. В.И. Даля. URL: <http://rus-turk.livejournal.com/166803.html>); «Молоко в сыром виде редко употребляется, так как и они следуют предписанию Корана, вследствие чего оно кипятится и заквашивается для получения катыка. Из сливок или сметаны добывается масло; простокваша идет на приготовление крута, или курта, т.е. сыра» (*Кушелевский В.И.* Материалы для медицинской географии и санитарного описания Ферганской области. Т. II. 1891. URL: <http://rus-turk.livejournal.com/244969.html>); из словаря В.И. Даля: **КРУТ** м. иногда *курт*, у башкир, калмыков, киргизов, ногайцев и казаков: круто соленый, сухой сыр, б.ч. овечий, в стопочках; его скребут в похлебки. **Крутовый**, ко круту относящ., из него приготовленный (пишет rus-turk).

52 Азар И. Усть-Каменогорская народная республика: Ждут ли русские в Казахстане «вежливых людей». URL: <https://meduza.io/news/2014/10/20/ust-kamenogorskaya-narodnaya-respublika> (Дата обращения: 20.10.2014.)

Кунжутное масло

Одним из базовых продуктов в кухне любого народа является масло, на котором готовят пищу. По тому, насколько частотна эта деталь в нарративе Каразина, можно делать вывод об удивлении писателя, или его этнографической находке. Если в XX в., в пору советского быта, основополагающим продуктом среднеазиатской кухни было хлопковое масло, то, к удивлению многих читателей и опрошенных информантов, а также азиатских экскурсоводов, считающих хлопковое масло национальным «вечным» продуктом, в XIX в. хлопкового масла просто не существовало. Об этом пишет современный исследователь: «Среди местного населения в годы советской власти укоренилось твердое убеждение, что хлопковое масло исстари употреблялось их предками для приготовления плова и других блюд национальной кухни. Однако исторические документы убедительно свидетельствуют о том, что жители Средней Азии издавна и практически до конца XIX века пользовались либо кунжутным (кунжут мой), либо льняным (зигир мой) маслами. Извлекаемое же вручную из семян хлопчатника незначительное количество масла шло исключительно на технические нужды и вовсе не употреблялось в пищу. По существу, использование его как пищевого продукта началось в Туркестанском крае лишь на рубеже XIX и XX столетий. <...> В 1905 году туркестанские власти пригласили в Среднюю Азию талантливого инженера-технолога В.Г. Гофмейстера и поручили ему изучить постановку хлопково-маслобойного дела в крае» (Назарьян 2010: 48–49). Однако эта запись – постколониальная рецепция. В XIX в. развитие хлопководства выглядело только как начинание, об этом пишет, в частности, Г.П. Федоров, человек того времени: «Внимательно изучая экономическое положение вновь покоренного края, Кауфман с прозорливостью истинно государственного человека понял, какая огромная будущность предстоит Туркестану при условии развития там культуры хлопка.

Туземцы уже давно занимались разведением хлопчатника, но произраставшие в Средней Азии сорта хлопка были

плохого качества, а обработка хлопка стояла на самой низкой степени. Довольно сказать, что хлопок вынимался из своих коробок и очищался от семян руками туземных женщин. Волокно у этого хлопка было толстое и короткое, и, конечно, он не мог конкурировать с американским хлопком, поставляемым в миллионах пудов на наши отечественные мануфактуры.

Прежде чем приступить к каким бы то ни было мероприятиям по развитию и улучшению местного хлопководства, Кауфман командировал в Америку (в Техас) на два года двух образованных чиновников Бродовского и Самолевского, которые щедро были снабжены денежными средствами. Возвратясь в Ташкент, Бродовский представил обстоятельный отчет о своей поездке и подробные соображения о постановке в Туркестане хлопкового дела. Одобрив эти предположения, Кауфман немедленно дал средства на устройство в Ташкенте хлопковой фермы с опытным полем. На ферме этой были установлены самые современные по тому времени джины для очистки хлопка и пресс для его укупорки. На опытном поле стали производить посевы различных сортов американского и египетского хлопчатника. Туземцы очень заинтересовались этим и толпами приходили смотреть на быструю и аккуратную очистку хлопка в джинах. По приказанию Кауфмана ферма выдавала всем желающим даром семена американского хлопка и принимала для очистки и укупорки туземный хлопок за самую минимальную цену. Результаты получились самые утешительные: туземцы стали выписывать джины и прессы, а главным образом американские семена. Хлопковое дело стало развиваться в поразительных размерах, и в настоящее время Туркестан снабжает наши мануфактуры более чем третью всего необходимого для них хлопчатника. Только в самых глухих уголках Бухары и Хивы продолжает засеиваться туземный, т. е. местный хлопок, но и там он, постепенно, скоро будет заменен американским. В крае в настоящее время работают сотни хлопкоочистительных заводов, сотни тысяч десятин земли заняты под посевами хлопчатника, миллио-

ны русских денег вместо Америки направляются ежегодно в Ташкент, и всему этому положил начало Кауфман» (Федоров 1913: 39–40).

Абдулла Кадыри в 1920-е гг. пишет исторический роман «Минувшие дни» – о туркестанских событиях середины XIX в., там есть интересующий нас фрагмент: «...слабый ветер, подгоняемый плавным шествием облаков, слегка обдавал лица осенним холодком, и этот холодок хоть и не доставлял особого беспокойства, но все же доносившийся откуда-то запах перекаливаемого льняного масла был противен до тошноты» (Кадыри 2009: 241), таким образом, и льняное масло использовалось в приготовлении пищи, наряду с кунжутным, но отнюдь не хлопковое – это важно для разрушения стереотипа о хлопковом масле как сигнатуры среднеазиатской культуры.

Писатель-этнограф XIX в., Каразин был, если судить по широте фрагментов с упоминанием в его прозе детали «масло», немало удивлен экзотическому продукту, констатируя, что кунжутное масло – «космогония» среднеазиатской кухни:

«От мясных лавок несло падалью, из-под навесов, где поместились туземные повара, приготавливающие на продажу пельмени и жареную рыбу, несло *кунжутным маслом* и подгорелым салом»⁵³ (Каразин 1905: 13/75) («В камышах»).

Рассказ Каразина «Ургут» посвящен сражению за небольшое поселение под Самаркандом, в котором туземцы на смерть защищали землю своих предков, а русские солдаты, в основном привыкшие к легкой победе на равнинных землях, где местное население просто разбегалось от страха, здесь, в горном селении, неожиданно встретив открытое противостояние, ожесточились не на шутку. Ургут был взят, солдаты начали мародерствовать: «...Нашли чан с *кунжутным маслом*, туда лезут с ногами, чтобы несколько размякли заскорузлые от солнца и пыли сапоги» (Каразин 1905: 9/108) («Ургут»); такая же картина – результат захвата туземного поселения – нарисована Каразиным в «Зарабулакских высотах»: «Весь

⁵³ В данной главке курсив в цитатах мой. – Э.Ш.

дворик мельницы был в ужаснейшем беспорядке: дверки в сакле были выбиты, разная домашняя утварь разбросана по всему двору, на самой середине лежал на боку разбитый кувшин с *кунжутным маслом*, ведра в четыре вместительности; темно-зеленая лужа масла распространяла свой характерный запах...» (Каразин 1905: 9/66–67);

«...Здесь сгруппировались несколько лавочек со сбруею, зеленым чаем, *кунжутным маслом*, тертым табаком, дешевым красным товаром и прочими потребностями скромной туземной жизни...» (Каразин 1905: 17/40) («Голос крови»);

«Оттуда, несмотря даже на плотно притворенные двери, тянуло чадным запахом пригорелого сала и *кунжутного масла*» (Каразин 1905: 6/4) («Тьма непроглядная»);

«Из-за какого-то угла тянуло шибяющим в нос запахом горелого *кунжутного масла*» (Каразин 1905: 6/133) («Ак-Томак»);

«Темный четырехугольник растворенных настееж ворот осветился пожарным, красным светом; два всадника-туземца, пригнувшись к шеям лошадей, проскочили во двор со смоляными факелами в руках. Длинные палки, обмотанные тряпками, пропитанными смолою и *кунжутным маслом*, трещали, страшно чадили и разбрасывали вокруг себя яркий, мигающий свет» (Каразин 1905: 1/69) («На далеких окраинах»);

«Сотни разноцветных фонарей развешаны были по стенам и колоннам, а вокруг бассейна из них сделана была сплошная огненная кайма; кроме того, на крышах поставлены были высокие треноги и на них котлы с паклею, пропитанною *кунжутным маслом*» (Каразин 1905: 15/130) («Атлар»);

«Острый запах горелого *кунжутного масла* обличал поблизости присутствие харчевни» (Каразин 1905: 5/21) («Наль»);

«Соорудили невдалеке две колоссальные треноги из сухих жердей, на них укрепили котлы с *кунжутным маслом* и напитанными в нем ватными оческами...» (Каразин 1905: 5/35–36) («Наль»);

«Притащили котел с *кунжутным маслом* и паклею, поставили на треногу – и запылало еще более яркое пламя» (Каразин 1905: 5/166) («Наль»);

«Под соседним навесом другой такой же повар жарил в *кунжутном масле* распластанные ломти сомовины и другой рыбы» (Каразин 1905: 9/137) («Рахмед-Инак, бек Заадинский»);

«Одна беда только – комаров видимо-невидимо... <...> ... Жалят так, что сплошь пузырями покрывается тело непривычное, лихорадка трепать начинает. Только и спасения от них, что весь, с ног до головы, *кунжутным маслом* с камфорой вымажешься...» (Каразин 1905: 8/417–418) («С севера на юг»);

«...*Кунжут*, из семян которого выжимают масло, идущее на самое разнообразное употребление, а также и в пищу» (Каразин 1874: 467), – пишет Каразин в этнографическом очерке «Земледелие Заравшанской долины», не вошедшем в его полное собрание сочинений.

В романе «Гнет» (1950-е гг.) А. Алматинская формулирует «откровение» по поводу масла, точнее, преподносит это открытие как поступательный историко-культурный процесс:

«Уж куда как хорошо масло-то, – проговорила она, ставя бутылку на стол.

– Чисто мед, – похвалил Силин, – откудова? <...>

– Здешнее. Из хлопка давленное...

– Из хлопка? Здесь больше *кунжутное* народ потребляет. Так то черное, с зеленью, да и вонючее.

– Это наш капитан все опыты ставит, – объяснил Хмель.

– Неужто из хлопка? – Силин понюхал масло. – Чудеса. Как же он его гонит?

– А Евсеев – башковитый хозяин. Надумал – поставил заводик, гонит масло, а шелуху, жмых – скотине» (Алматинская 1969: 1/289).

Детали художественных текстов находят подтверждение в среднеазиатских травелогах и мемуарной литературе. Так, Н.А. Варенцов вспоминает о 1890-х гг.: «...К.М. Соловьев, как

ловкий и смекалистый человек, выстроил хлопкобойный завод и стал гнать масло их хлопковых орешков...» (Варенцов 2011: 290);

«В окнах жилищ виднелись кое-где огоньки, но это были не елочные свечки, а светильники с *кунжутным маслом*...» (Хедин 2010: 171); «Ислам-баю я поручил съездить в Яркенд закупить разных нужных предметов... затем *кунжутного* масла и *кунжутных* отжимок» (Хедин 2010: 184); «С этих пор животным предстояло довольствоваться *кунжутным* маслом и отжимками» (Хедин 2010: 215); «Все сидели молчаливые, печальные и ели старый хлеб, облитый остатками *кунжутного* масла, взятого для верблюдов» (Хедин 2010: 235).

Путие

Для темы данной главки необходимо еще раз упомянуть прецедентный текст (см. с. 27), записанный на излете XX в. Петром Вайлем во время его путешествия по бывшим советским территориям. От коренных жителей Средней Азии не раз приходилось слышать, – пишет Вайль, – такой пассаж: «Мы русским благодарны. Русские нас научили трем вещам: пить водку, ругаться матом...» (Вайль 2007: 367).

О запрете алкоголя Кораном знают не только мусульмане; он транслируется и в немусульманской повседневности. «Все, что пьянит (и травит) ум, азартные затеи <...> Все это – мерзость, что измыслил Сатана. / Так воздержитесь же от этих искушений, / Чтоб обрести вам (счастье) и успех. / И хочет Сатана азартом и вином / Вражду и ненависть средь вас посеять / И уклонить от поминания Аллаха и молитвы, / Ужель вы не сумеете сдержаться?» (Сура 5:90–91) (Коран 2004: 152).

Однако процесс колонизации – любой территории – несет как благо, так и разрушение исконных традиций. Вот впечатления русского востоковеда рубежа XIX – XX вв., написанные в виде отчета и озаглавленные «Туземцы раньше и теперь»; автор, В.П. Наливкин, беспристрастно обнажает и фиксирует «блага», как прежние, уходящие, так и привнесенные русской экспансией: «...Оказались упраздненными Ка-

зи-раисы, побиеание камнями, отсечение рук, плети, все то, на чем при ханском правительстве держалось здание показной нравственности и показного благочестия, чем сдерживались порывы так называемых общественных темпераментов, что заставляло любителей женщин, вина и азартных игр тщателью скрывать свои похождения в укромных уголках... <...> Мужчины толпами шли в открывавшиеся нами питейные заведения» (Наливкин 2012: 86–87);

«Пьянство среди туземного населения стало доходить до невероятных размеров. В праздничные дни нельзя было выйти на улицу, не наталкиваясь почти ежеминутно на пьяных и подгулявших туземцев, носившихся по русским и туземным городам, развываясь в извозчичьих экипажах, с громкими и не всегда пристойными песнями, очевидно, в подражание русским пьяным мастерам и солдатам. Те же пьяные валялись на скамейках городских бульваров» (Наливкин 2012: 125).

Как происходило внедрение колониального алкогольного продукта в среднеазиатскую повседневность, можно проследить по отдельным фрагментам каразинской прозы, которая фиксирует антропологические процессы, происходящие в Средней Азии с начала прихода туда русских:

«Раз... наткнулись нежданно на совсем незнакомого духа, этот их целую ночь гонял с бархана на бархан, врозь разогнал, и очнулись они только на другой день, утром, не сразу даже нашли друг друга, а в головах у них весь день точно мыши в норе скреблись. Это было тогда, когда они закон нарушили, соблазнились араком у русского купца на том же “Таджи-козган”. Пил купец, и они тут подошли. Дал им по чашке купец, они и выпили. Ожгло их сразу, и не прошло часу даже, как натолкнулись они на этого злого, незнакомого духа, чуть было не заблудившего обоих братьев...» (Каразин 1905: 16/138) («Наурус и Джура, братья “кудукчи”»);

«Я к тебе сегодня приду в гости... там и говорить будем. Я к полудню приду к тебе, а ты мне вашего вина приготовь... я ведь теперь пью. Что же, это можно!

– Вот как!

– Да, знаешь, казы старый третьего дня тихо приезжал сюда. Ну, я стерег, чтобы кто не увидал. Ведь сам казы!.. Так вот он сам пил; я тихонько подошел и видел: выпил чашку, другую попросил, а перед тем все отнекивался, ха, ха!.. Ну, думаю, коли казы сам пьет ваше вино, так нам и подавно греха пить нет. Мне теперь не страшно его пить, а прежде все боялся, – ух, как боялся! Не то что кого другого, а греха боялся» (Каразин 1905: 6/140) («Ак-Томак»);

«Мусульманин тоже называется, а сам... Я ведь знаю, что он с русскими вино пьет. Все, что они жрут, и он с ними... А у русских все со свиной, не разберешь ведь... Вот наелся свиной, и в душе все по-свински стало» (Каразин 1905: 6/54) («Тьма непроглядная»);

«...Спирт и две бутылки рому, тщательно зашитые в кошму, я взял к себе на седло, не решившись доверить слуге такую драгоценность. Действительно, натура моего спутника была такова, что он совершенно покойно прошел бы мимо целой кучи разбросанного золота, но не пропустил бы случая воспользоваться плохо стоящей бутылкой» (Каразин 1905: 12/24) («Кочевья по Иссык-Кулю»).

Вернулся один из туземцев, нанятый в геологическую партию русским, «Смотрят все на него – человек как человек: не скорчило его, не покрыло его никакою болезнью; говорит, что жить хорошо, кормят всякий день мясом; хотел сказать, что араку дают каждый день тоже по два стакана, да промолчал – увидел в толпе муллу Аллаяра и побоялся» (Каразин 1993: 304) («Погоня за наживой»).

Пьют мусульмане, глядя на своих новых «хозяев», русских: «У меня в роте половина людей перепилась, – говорил за стеной густой бас, – я уже велел, чтобы их в арыке отмачивали...» (Каразин 1905: 9/47) («Зарабулакские высоты»).

Вспоминает Н.А. Варенцов: «Мне пришлось быть в Бухаре через несколько лет после моего первого приезда (первый приезд в 1891 г. – Э.Ш.) туда, а потом еще несколько раз с более или менее продолжительными промежутками, и каждый раз замечал, что обычаи бухарцев сильно меняются и нравы

их с каждым разом ухудшаются. Народ, несомненно, богател, торговля на базарах увеличивалась и расширялась, чайханы были переполнены народом, и количество их значительно увеличилось. В чайханах много спрашивали чай, а больше пиво, плов, пироги и тому подобное, а в последний мой приезд в 1925 году уже преимущественно спрашивали коньяк и вино. На базарах много встречалось пьяных бухарцев, даже валяющихся на земле» (Варенцов 2011: 281).

И опять Петр Вайль: «Как гласит заключение Совета туркестанского губернатора в 1911 году, “русские переселенцы страдают особым пристрастием к вину. С этим недостатком они не могут быть успешными колонизаторами края”. Какими могли, такими и были. Большинство переселенцев происходило из Воронежской, Самарской, Саратовской губерний, а там и теперь из всех вин больше уважают хлебное» (Вайль 2007: 370).

Воссоздавая бытовой контекст середины XIX в. в Туркестане, Абдулла Кадыри пишет в историческом романе: «Во многих домах бродили в корчагах вино и буза⁵⁴, и нельзя сказать, чтобы не было людей, которые открыто занимались продажей этого пойла. В Ташкенте, в районе Чукур-кишлака, процветало немало бузахан-кабаков⁵⁵, открытых казахами, в которых всегда было полным-полно всякого умного, мудрого и видного люда» (Кадыри 2009: 236).

Русская водка пришла в Среднюю Азию несколько раньше официального прихода русских в 1865 году (по причине отдельных локальных захватов земель, а также торговых сношений). Арминий Вамбери отметил прижившиеся русские традиции еще в 1863 г.: «...Наш Хидр, который раньше был

⁵⁴ Буза – алкогольный напиток, изготавливаемый из проса, мелкого риса и т. п. (*коммент. изд-ля*).

⁵⁵ Конец процветанию упомянутых кабаков был положен пору повелителя Ташкента Малляхана в 1273 г. хиджры (примеч. автора. – А.К.), т. е. по Григорианскому календарю примерно в 1895 г. (+622), хотя эта дата не совсем соответствует фактическому правлению Малляхана.

благочестивым мусульманином, уже давно свел знакомство с прославленной русской водкой и теперь был пьян днем и ночью...» (Вамбери 2003: 42).

Красноречиво об этом колониальном «следе» пишет современный казанский писатель Адель Хаиров в поэме «Казань – Курочки» (2009), ерофеевском ремейке. Так, почти все постколониальные мотивы, связанные с казанским топосом, пропущены через *питие*, привнесенное колониальной культурой. В поэме в комическом двуязычном ключе выстроен генезис казанских топонимов: название улицы «пламенного революционера Сергея Кострикова, непонятно почему взявшего себе в псевдонимы имя персидского царя Кира, сына царицы Манданы», объясняется через brutальный питейный глагол: «На улице Кирова что же еще делать? Ну конечно кирать!» (Хаиров 2009: 68); название станции Аракчино – через тюркское именование алкогольного напитка: «...он стал горячо доказывать, что корень слова, давшего название станции “Аракчино”, уходит далеко в полынные тюркские степи к монголам, пьющим в юрте древний напиток – араке. Эх, араке!» (Хаиров 2009: 73). Тем не менее в теме безмерного питья и алкогольного миража у персонажей Хаирова четко обозначена колониальная интенция, историческое наследие культуры колонизатора.

Петр Вайль, совершая путешествие по постколониальным просторам бывшего СССР, не раз делает акцент на этом наследии: «Цивилизаторская миссия России без этой части (речь о водке. – Э.Ш.) была бы невозможна. На Кавказе водка натолкнулась на местное вино, но Средняя и особенно Северная Азия были покорены безусловно. По сути бутылка оказалась единственной точкой схода ни в чем не схожих укладов» (Вайль 2007: 171). Говоря о Казани, историк Роберт Джераси пишет, что она «играла очень важную роль в идеологии и “технологии” культурной интеграции огромной части империи» (Джераси 2013: 5), именно здесь отрабатывались те приемы и средства, которые будут задействованы в колонизации последующих территорий.

Портрет хаировского рассказчика, повествующего о путешествии вдоль Казани к Курочкам, нарисован в палитре именно колониального замеса: «С последним глотком я приоткрываю щелки монгольских глаз, чтобы наконец увидеть дно своего стакана. Когда-то это был бездонный колодец, вырытый семью поколениями берберов, которые день и ночь сменяли друг друга, с вечно летящей каплей серебра, но вот, я слышу, ей всего-то осталось пролететь расстояние, равное одному стакану вина...» (Хаиров 2009: 92) – так пунктиром прочерчена история от предков-мусульман к современным жителям Казани. «Пойми, все лучшее, что есть в нас, неведомо как вошло, то ли с молоком матери, то ли с водкой отца?!» (Хаиров 2009: 92) – еще одна метафора гибридной колониальной связи. «...Захлопнул своего Дюма, и открыл “777”, и пригубил его совсем как бургундское» (Хаиров 2009: 71), – произносит альтер эго рассказчика. А его дед Сопьян – «красивое татарское имя» и одновременно по-русски «говорящее» – прагматично философствует о нюансах ислама, распивая и угощая соседей крепленным пивом: «Между прочим, в Коране ничего про водку не сказано, там запрещено пить “хямэр”, то есть вино. В девяностом аяте написано: “Эй вы, верующие в Аллаха! Вино, поклонение языческим богам, колдовство – все это гнусные проделки шайтана. Сторонитесь, избегайте всего этого – и, кто знает, может, вы достигнете счастья”. “Ну, Сопьян-бай, – заохали татары, – ты нам прямо веки поднял, как Брежневу в фильме режиссера Гоголя! Ну спасибо тебе, теперь будем пить, пить, пить...”» (Хаиров 2009: 87). Культурные аберрации, ведущие к фильму «Вий», который был поставлен в брежневские времена, когда любое пышнобровое лицо ассоциировалось в фольклорной действительности с именем Генерального секретаря, объяснимы, с одной стороны, алкогольными парами, с другой – ерофеевской карнавально-гоголевской традицией.

Современник Каразина, на основе ориенталистских изысканий Вамбери, выносит «ориенталам» категоричный вердикт, который вряд ли объективен, скорее, объясним

жесткой позицией по отношению к Востоку как дикому краю: «Но если ориенталы небольшие гастрономы, то они, во всяком случае, более жестокие пьяницы, чем европейцы, и магометанское запрещение вина давным-давно уже превратилось в пустую формальность. <...> Вообще средние и высшие классы Востока пьют ужасно, и множество султанов, шахов, министров кончают свою жизнь в белой горячке» (Дело 1877: 100), – анонимный нелюбитель Востока страсть к питию «ориенталов», как видим, никак не увязывает с русской экспансией, а считает ее их органической чертой.

Опий, ганаша⁵⁶

Курительный наркотик, по наблюдениям Каразина, был обыденным в жизни туземцев. Каразинский рассказчик откровенно признается об экспериментах над собой: «...Это было в Ходженте, в одной из тамошних опиумных лавочек. Путешествуя по центральной Азии, изучая местные нравы, я, между прочим, делал над собою опыты отравления гашишем...» (Каразин 1905: 6/144) («Тигрица»).

Особенно подробно и неоднократно Каразин описывает наркотическое средство как допинг храбрости, обязательный для туземных воинов: «Бессознательно выпучив помертвевшие глаза, с искаженными чертами лица, с открытыми ртами, бухарцы как-то странно, почти машинально махали своими дрянными ружьями; они, по-видимому, не сознавали, где они и что делают. Тупой ужас овладел ими; этот ужас не был похож на обыкновенный панический страх, под влиянием которого бегут, не решаясь даже оглядываться. <...> Они находились под влиянием паров опиума, усиленных палящими лучами, почти вертикально над головою стоящего солнца, – до размеров кровавого кошмара. Это их с утра угостили так, по приказанию эмира, для возбуждения храбрости. Теперь понятен был тот, озадачивший нас всех сначала, прилив необычайной отваги, с которою бухарцы встретили нашу атаку, а

⁵⁶ О фольклорном дискурсе посттуркестанского текста вокруг паттерна «анаша» см.: Шафранская 2010: 143–144.

не бежали, как всегда, при первом ее начале» (Каразин 1905: 9/57) («Зарабулакские высоты»).

Каразин, описывая повстанцев-туземцев – против новой русской власти, непременно отмечает, что те находились в наркотическом опьянении – иными причинами, по мнению Каразина, объяснить их бесстрашие и оппозиционность нельзя: народ собрался для возмущения, пишет каразинский рассказчик. «Много таких было, что побывали у “кукнарчи”⁵⁷, духу набрались, – словно очумелые, готовы лезть на русских. Насилу мулла Годдай сдерживает! – Погодите хоть до ночи!» (Каразин 1905: 5/50) («Наль»).

В романе Каразина «Наль» есть фрагмент, когда русские офицеры оказались в ловушке, придя на тамашу к местному баю. Неожиданно надо было спастись от повстанцев, суливших неминуемую гибель, но старший офицер Шолобов не позволил бежать своим подчиненным, надо было спасать друга – офицера Наля, а это грозило гибелью для всех. Несговорчивый Шолобов попросил Ибрагим-бая, бывшего на стороне русских, подать ему кальян. «Услышав слово “кальян”, Ибрагим-бай словно встрепенулся и сам лично бросился исполнять требование Шолобова» (Каразин 1905: 5/57). Сделавший несколько затяжек кальяна Шолобов был обезволен. Его погрузили на телегу, и группа русских офицеров была таким образом спасена. «Доктор, посвященный в тайну обморока Шолобова, дрожал, как в лихорадке, и жалел, что он сам не накурился, как следует» (Каразин 1905: 5/66).

Обыденным был наркотик и в других жизненных ситуациях, например, в чайхане, мужском клубе, часто вился дымок от раскуривания анаши, или гашиша.

Из сказки: «...Вели опять всем сюда собраться, да вели резать тысячу баранов, тысячу жеребят, тысячу верблюдов,

⁵⁷ Кукнарчи – торговец опиумом (*комментарий Каразина*). Кукнарчи – от «кукнар» (кўкнор): перемолотые маковые головки, из которых уже сделана опийная вытяжка; из этой перемолотой массы заваривают напиток, имеющий наркотическое действие (кўкнори – наркоман).

чтобы если не наелись – и пировали бы великую ханскую радость. Я им всем покажу такое диво, что, сколько бы они ни ели ганаша (вроде опиума), ни в каком сне им этого не приснится» (Каразин 1905: 1/99–100) («На далеких окраинах»);

«Султан-Берды достал из кармана кожаный мешочек, вышитый шелком и серебряною проволокою; он взял оттуда щепотку чего-то зеленоватого и всыпал в сетку кальяна. Дым вместо синеватого повалил молочный... <...> Машинально принял Касаткин кальян из рук колдуна, поднес камышовую трубку к своим ссохшимся, растрескавшимся от горячечного жара губам и усиленно затянулся. <...> – Это они ему ганаша (род опиума) дали, – шепнул Бабаджан Трубаченко.

– Эх, как бы не уморили они его совсем! – вздохнул поручик. <...> Вдруг Касаткин как-то странно пошатнулся, сперва сильно качнулся вперед, потом откинулся назад, голова его запрокинулась, словно шейные мускулы потеряли всякую силу, руки вытянулись, глаза закрылись» (Каразин 1905: 13/138–139) («В камышах»).

Безобидным допингом в Средней Азии слывет насвай⁵⁸: «Выбрался таджик на берег и присел на корточках. – “Дай, думает, отдохну здесь немного”. Достал он из-за пазухи маленькую тыкву-горлянку, ототкнул пробочку, насыпал себе на ладонь изрядную горстку темно-зеленого тертого табаку, понюхал, потом все в рот насыпал, поправил языком и задумался» (Каразин 1905: 1/72) («На далеких окраинах»);

«...Другой... перетирает между мозолистыми ладонями горстку зеленого табаку для жвачки (насвай. – Э.Ш.)» (Каразин 1905: 9/72) («Страшное мгновение»).

В романе «На далеких окраинах» развязка детективной истории разрешается при помощи опиума: предприниматель Перлович прибежал к разным способам избавиться от своего напарника по преступлению, Батогова, в итоге он угощает его специально на этот случай заготовленной сигарой: «Батогов затянулся раза два и потянул носом дым... – Что это? <...> – Что-то пахнет маком...» (Каразин 1905: 1/263) («На далеких

⁵⁸ О насвае см.: Шафранская 2010: 155–156.

окраинах») – Батогов уснул, на утро Перлович нашел его мертвым.

Один из участников туркестанского текста в рецензии на книгу Вамбери, со ссылкой на венгерского путешественника, но, в отличие от последнего, куда более жестко и брезгливо в отношении к людям Востока, называя их «ориенталами», пишет: «В Средней Азии табаку предпочитают опий и гашиш, потребители которых обыкновенно доходят до идиотизма» (Дело 1877: 101).

Фатика

«“Что за дьявол?” – думают они. А те опять: – “Амансыз?” (здоровы ли вы? значит). Да ладно, говорят, ничего, слава те, Господи! Откедова? – Те опять за свое: “Джаны-гыз-аман-ба?” (скот и душа здоровы ли ваши?)» (Каразин 1905: 7/256) («С севера на юг»);

«...Саид-Азим... с видом человека, которому положительно спешить некуда, спросил Лопатина о состоянии его здоровья и здоровья его домашних...» (Каразин 1905: 3/227) («Погоня за наживой»);

«Ну, бай, как семья твоя здорова? – спрашивал мимоходом будто Дмитрий-ходжа одного из присутствующих, незнакомого даже ему, так, кто на глаза попался.

– О, таксыр! Червяк счастлив, когда его солнце лучом своим осветит... И, таксыр, семья моя здорова и молится за благоденствие твое, за тебя, ходжа, – торопится ответить ошчастливленный посетитель лавки Назар-Шаха.

– Он тебя знает разве, ты знаком с ним? – спрашивают его шепотом другие.

– Давно знакомы, мы приятели!.. – врет, бахвалится тот, только тоже шепотом, чтобы Дмитрий-ходжа не услышал да не изблещил его, срамом бы не покрыл его голову» (Каразин 1905: 8/441–442) («С севера на юг»).

Общим местом стала констатация гостеприимства как черты ментальности народов Средней Азии. Однако не всё однозначно: для представителей инокультуры, в частности

пришедших русских, стало очевидно, что чаще это лишь формальность, церемониальный этикет, когда тебя спрашивают о здоровье, твоей семье и близких, но с равнодушными глазами, и ответ звучать совсем не должен, это лишь форма приветствия, как и русское пожелание здоровья – «здравствуй-те», которым обмениваются порой совсем безразличные друг к другу люди.

Эту характерную для этикета Средней Азии особенность фиксирует современный автор: «Синяя женщина вскочила обниматься... закужила ее в приветственном танце объятий... под ритмичное *яхши-мы-сиз, тузук-мы-сиз* (как-поживаете-как-ваше-здоровье), *тра-та-та-та-та-та-мы-сиз...*» (Афлатуни 2005: 16).

«Практически всем живущим в Узбекистане русским хорошо известна местная традиция говорить при встрече ни о чем, просто ради поддержания ритуального контакта, когда собеседники произносят одновременно, не дожидаясь ответной реакции, положенные для такого случая формулы приветствия, спрашивают о здоровье близких и т. д., не входя при этом в реальный диалог, содержащий обоюдно значимую информацию, здесь каждая следующая реплика не зависит от изначальных намерений говорящего или от только что прозвучавшей реплики собеседника» (Подпоренко 2001: 178–179).

Непримиримый ненавистник «ориенталов» пишет: «Чтобы составить себе понятие о восточной вежливости, нужно присутствовать, напр., при встрече двух крестьян персидских. Долгое время стоят они друг перед другом безмолвно и неподвижно, пока не решат, кому из них первому поклониться и заговорить. Когда это решено, один из них предлагает другому целый ряд вопросов о его здоровье и благосостоянии: *жирно ли твое небо? влажно ли оно? упаси Бог, нет ли болезни в твоём доме? хорошо ли твоё здоровье* и т. д., и т. д. Таких вопросов предлагается до 15, и комичнее всего то, что первый разговаривающий, окончив свой допрос, спокойно выслушивает от второго те же самые вопросы. И такая веж-

ливость в полном ходу не только в Персии, но даже у грязных, оборванных дикарей Средней Азии; в высших же классах восточного общества она доведена до степени утонченнейшего искусства» (Дело 1877: 104), – так анонимный рецензент анонсирует в 1877 г. новую книгу Вамбери «Очерки жизни и нравов Востока».

Бачи⁵⁹

В XIX веке, в пору освоения среднеазиатского Востока русскими колонизаторами, пришельцев удивило одно зрелище – искусство *бачи́*, так называли мальчиков-подростков, гибких и красивых, выступавших в чайхане, своеобразном мужском туземном клубе. У бачи был учитель – часто хозяин чайханы. Институт бачи объясним отсутствием *открытой* жизни женщин на Востоке (в Самарканде, Бухаре, Хиве и др. местах): их лиц в повседневности просто не существовало, они были скрыты густой сеткой – чачваном, с накинутой на голову паранджой.

Обученные бачи исполняли на сцене роль травести: под тюбетейку, повязанную косынку им прикрепляли длинные косички – тем самым они приобретали вид гурий. Юный танцор, ежедневно видя восхищение своей персоной, искренне верил в свою неотразимость и соответственно вел себя – как принц, принимая за должное многочисленные подарки и знаки внимания.

Этот род восточной культуры – красивые танцы красивых юношей, их экстаические движения, возмутил и испугал русских: они увидели в выступлениях танцоров гомозротический подтекст. Это был именно тот случай, о котором М.Е. Салтыков-Щедрин с иронией и сарказмом писал, что придет «ташкентец» и цивилизует страну неверных. Механизм мифологии повседневности был запущен, уничтожив впоследствии институт бачей, коренную культуру Востока. Авторитетами

⁵⁹ О восприятии и осмыслении института бачи русскими востоковедами конца XIX и начала XX в., а также советской властью подробнее см.: Шафранская 2010: 248–253; Шафранская 2014: 45–72.

по низвержению этого действия были военные той поры, среди них художник В.В. Верещагин (см.: Верещагин 1883: 53–56). Европейцы объясняли танцы бачей, оперируя категориями своей культуры. А тем временем танцы красивых мальчиков присутствуют в Коране при описании рая – Джанны, которые «порождены экстатическими образами, характерными для жителей пустыни. Богословы часто толкуют их как символы духовных и интеллектуальных наслаждений» (Пиотровский 1991: 185). Востоковед, генерал Н.С. Лыкошин, сформулировал предписания для русских, приезжающих в Туркестан, предупреждая их о возможности встретиться с пороком (имея в виду танцы бачей)⁶⁰. «Долой бачей», – назвал Лыкошин один из своих этнографических очерков (Лыкошин 1916: 358–359).

Не прошел мимо такого яркого действия и Каразин, а возможно, одним из первых русских описал его:

⁶⁰ См.: Лыкошин 2005: 40–46. Однако напрасно Н.С. Лыкошин беспокоился, пришедшие на Восток русские были весьма информированы и без восточных изысков. Сцена из романа Н.Н. Каразина «Наль», разговор двух офицеров: «Как у вас тут хорошо! Словно в будуаре... никак духами пахнет?.. Ходят тут за вами, как за барышнею какою-нибудь... Что же, говорят, на безрыбье...» (Каразин 1905: 5/107). А также в туркестанском романе советского периода: «Не понимаю, какое удовольствие генералу играть с этим бараном? Ведь он по-русски ни бэ, ни мэ...

– Очевидно, Рустам неплохо играет, – отвечала молодая женщина, сама встревоженная поведением генерала.

– Среди нас, его приближенных, есть шахматисты не хуже того бритоголового. Тут что-то другое...

– Константин Петрович любит Рустама за его преданность.

– И красоту, добавьте. Восток действует...

По надменному лицу барона проползла циничная улыбка. Глаза за стеклами пенсне сузились, стали масляные. Каблукова внимательно посмотрела на него.

– Вы злитесь и говорите гадости» (Алматинская 1969: 1/174). Гомоэротический навет на генерал-губернатора фон Кауфмана обоснован социально-классовыми интенциями советской идеологии, в контексте которой написан роман А.В. Алматинской «Гнет».

«Богатые туземцы устраивали нашим офицерам вечера, тамашу с местной музыкою, дастарханом, фокусниками и плясками батчей⁶¹» (Каразин 1905: 15/75) («Докторша»);

«Вокруг тесно уселось многочисленное общество. <...> Там стоит ребенок... Ребенок ли это? Большие черные глаза смотрят слишком выразительно; в них видно что-то далеко не детское: нахальство и заискивание, чуть не царская гордость и собачье унижение скользят и сменяются в этом пристальном взгляде. Это глаза тигренка, но в то же время и публичной женщины. Красиво очерченный рот улыбается, показывая яркие белые зубы. На этом ребенке одна только, доходящая до земли, красная рубашка; ноги и руки до локтей обнажены. Он стоит совершенно неподвижно, опустив руки вдоль корпуса; из-под вышитой золотом красной шапочки спускаются почти до колен длинные черные косы, скрашенные золотыми погремушками и граненым стеклом. <...> Этот ребенок – *батча*. Имя ему – *Суффи*. Это имя известно за несколько сот верст в окружности. <...> Музыканты грянули в свои инструменты. Суффи встретился и медленно, как будто скользя, пошел по кругу. <...> Сначала танец заключался в плавном движении рук и головы: босые стройные ноги едва ступали по мягким коврам; потом движения стали все быстрее и быстрее, круг уменьшался спирально, и, наконец, Суффи снова очутился в центре. Музыка затихла. Суффи, не сдвигая с места ног, сделал всем корпусом полный оборот и вдруг перегнулся назад, почти касаясь земли своею головою. Все тело изогнулось дугою; черные косы рассыпались по коврам; все изгибы груди, живота и бедер резко обозначились сквозь тонкую ткань рубашки.

Вся толпа оглушительно заревела. Музыканты грянули дикую ерунду. Суффи медленно приподнялся и, слегка покачиваясь, отирая пот рукавом, медленно вышел из круга. Ког-

⁶¹ Батча – старая форма написания; современная форма – бача, в переводе с таджикского – мальчик. Интересное совпадение (с вариативной огласовкой) обнаружено в переводной грузинской литературе – обращение к мальчику-подростку: *бичо* (см.: Г. Леонидзе. В тени родных деревьев).

да он проходил сквозь толпу, на него со всех сторон сыпались комплименты; десятки рук хватались за него, его руки ловили на ходу и целовали их; целовали даже полы его рубашки.

В стороне лежал небольшой коврик, на который и сел отдыхать торжествующий батча, едва переводя дух и сняв свои накладные косы» (Каразин 1905: 1/143–145) («На далеких окраинах»);

«За стенами высокой сакли незримо захлопали, в такт плясунам, должно быть, несколько десятков мозолистых рук... люди Ибрагим-бая, разметая метлами значительное пространство перед ставкою, стали расстилать особенные ковры для пляски батчей и других представителей в честь “дорогих гостей”... <...> Там мигали огоньки фонарей, и копошилось несколько фигур, шелестя шелковыми тканями своих костюмов; оттуда сильно пахло мускусом и другими пряными ароматами Востока. Это была устроена уборная для батчей и труппы актеров. <...> Показалась высокая фигура с вымазанным сажею лицом; эта фигура держала на руках, словно куклу, мальчика лет двенадцати, одетого по-дамски, с массою мелких косичек, украшенных бусами и побрякушками, выбивающимися пестрою бахромою из-под ярко вышитой золотом, островерхой шапочки.

При появлении батчи музыканты грянули оглушительную дробь... Машкарабаз⁶² три раза поднял мальчика высоко над головою и торжественно опустил его как раз на середину ковра... батча, ленивым движением рук, оправил складки своей одежды, перегнулся тонким, худым корпусом назад, выпрямился снова и медленно, едва передвигая босые ноги, стал описывать по ковру первый круг своей пляски» (Каразин 1905: 5/35–37) («Наль»);

«Когда я занял более или менее удобное местечко, на ковре находились два плясуна. Это были мальчики-батчи, лет по четырнадцать отроду; оба они были одеты в длинные красные рубахи, оба были с обнаженными ногами. Они плавно двигались по ковру, почти не переставляя ног, раскачиваясь

⁶² Артист.

всем корпусом, выгибаясь змеею направо и налево и бросая на всех выразительные, лукавые взгляды своих больших черных глаз. При каждой улыбке сверкали белые, ровные зубы, на тонких шеях гремели и шелестели нитки разноцветных бус. <...> Батча сделал одно невероятное движение, заканчивающее всю пляску: он вдруг запрокинулся назад и до такой степени выгнул спину, что головою почти достал до пяток; весь его тонкий стан изображал собою сплошной обруч. Нестово заревела толпа, выражая свое одобрение...» (Каразин 1905: 9/146–148) («Рахмед-Инак, бек Заадинский»).

Помимо этнографической рецепции института бачей, в прозе Каразина встречаются фрагменты внутреннего, самих туземцев, отношения к танцующим мальчикам (что важно отметить, это редкий случай: Каразин выпадает из общего хора хулителей бачей). Так, старая женщина рассуждает по поводу заболевшего малыша, оказавшегося на грани жизни и смерти: «Вот Бог наметил к себе твоего Шарипку, – кто знает, зачем он ему понадобился? Может быть, в батчи к самому Магомету, великому пророку... Какая слава, какая честь мальчику предназначалась!.. А вот пришли неверные люди, заколодали и отбили у Бога... <...> Да не плачь, глупая... я завтра сама схожу к мулле, – я скажу ему, чтобы он попросил Бога не трогать твоего мальчика, чтобы Аллах выбрал себе другого... Вот, пускай у соседа Дауда взял бы ребеночка. У Даудки ведь семь человек мальчиков, куда ему столько!..» (Каразин 1905: 6/37–38) («Тьма непроглядная»).

Русские, находясь на чужой территории, разнообразят жизнь местными видами досуга: «...бубны каждый вечер у нас во дворе гремели, голова даже от такой музыки у меня болеть начала, а Агреали (туркменской девушке. – Э.ИИ.) это удовольствие доставляло, потому я и не препятствовал. Батчи приходили плясать, сказочники легенды да прибаутки свои рассказывали, песни пели. <...> – Здесь весело, – отвечала мне Агреаль уклончиво. – Сегодня новый батча придет плясать, – Михаил-бай говорил (это она Михаил-баем Трезвонова называла) – хороший батча, – такого, говорят, у самого

хана Сеид-Рахима не было... <...> – Посмотрю! – холодно ответила моя тюркменка и стала одеваться, нового батчу смотреть» (Каразин 1905: 6/226–227) («Тигрица»).

И те из местных власть имущих, которым было выгодно мирное сосуществование с русскими, тоже потчевали непрошенных гостей традиционным развлечением – тамашой: «Пирыв устраивались почетным путешественникам на славу, “тамашы” с пением и танцами батчей, игры машкарабазов, скачки конные, халаты подносили дорогие...» (Каразин 1905: 9/191) («Джигитская честь»).

«Зашел тюркмен один в лавку, увидел ходжу, трепанул его легонько по плечу. – Старая лисица, здорово! Чего сюда забрался? А, и батча, сынишка твой, здесь! Ишь, какой красивый, точно девка! Ты бы ему косы велел носить! – заговорил тюркмен и Балту-ниязу за щеку ущипнул» (Каразин 1905: 8/442) («С севера на юг»), – если бы в сознании туземцев роль бачи была порочной, вряд ли позволил бы сосед соседу сказать подобное о его ребенке.

Бача – неперемный атрибут мечты о жизни сибарита восточного разлива: «К ночи отведут тебя в саклю ковровую, духами накуренную, кальян подадут; батчи придут плясать и петь песни, ханым чудная с черными глазами, как котенок, подсядет, начнет ластиться...» (Каразин 1905: 16/19) («Дауд – караван-баш»).

«...Стоял знаменитый в то время ханский караван-сарай... В этом караван-сарая могли найти приют более сотни путешественников... Гостям прислуживали самые красивые батчи в женских костюмах, пели песни-импровизации, били в бубны, играли на сазах...» (Каразин 1905: 16/21–22) («Дауд – караван-баш»), – вполне очевидна роль красивых мальчишек на праздниках и приемах гостей. «Подали кальян, постлали перед новым гостем семь подносов с дастарханом... Батча-Селим подсел поближе, отпил чаю из зеленой чашки и протянул эту чашку Дауду... – Эх!.. Хорошо быть богатым купцом!! <...> Хорошо, покойно и сладко спать на мягких коврах под тихую музыку и песню батчей...» (Каразин 1905: 16/32) («Дауд – караван-баш»).

Однако взгляд человека иной культуры толкует роль бачи в обществе иначе, недвусмысленно: «В толпе невольно обратили мое внимание прогуливающиеся красивые мальчики, набеленные и подрумяненные, разряженные в парчовые халаты, с большим количеством перстней на пальцах, в сопровождении старичков, смотревших на них с полуоткрытыми ртами страстными и влюбленными глазами. Бурнашев, ухмыляясь, сказал мне: “Бачи – жены старичков”» (Варенцов 2011: 275).

Известного московского предпринимателя, не раз посещавшего Среднюю Азию, Николая Александровича Варенцова (1862–1947) тоже «угостили» выступлением танцующих мальчиков, вот его воспоминания об этом вечере (тамаше): «Сарт Бадааль Дадамухаметбаев пригласил всех нас на свою тамашу на один из следующих дней. <...> Уже в конце обеда, когда публика повеселела от выпитого шампанского... покрасневший от волнения хозяин из внутренних покоев привел двух бачей, одетых по-женски, нарумяненных, с украшениями на шеях, на волосах, ушах, ногах и на пальцах рук. Началась пляска, сначала в одиночку, потом вместе.

На Дадамухаметбаева и его мусульманских гостей пляска бачей произвела полное очарование, они сидели красные, с разгоревшимися глазами и под влиянием страсти и мысленных наслаждений закрывали их, жмурясь, как делают коты, когда их глядят по месту, одолеваемому блохами.

Чтобы не обидеть хозяина, пришлось покривить душой, высказывая свое восхищение от этого зрелища. Все сарты были счастливы и горды, что они бачами доставили нам удовольствие, довольно редкое для русских того времени» (Варенцов 2011: 305–306), – таково восприятие чужой культуры.

По-разному складывалась судьба повзрослевших бачей, в частности, многие становились обслугой в чайхане:

«Алибей, босоногий, в одной только длинной, красной рубахе, подпоясанный золотым шнурком, грациозно стал перед Криницыным на одно колено, предлагая дымящийся кальян» (Каразин 1905: 17/42) («Голос крови»);

«...Здесь же самое видное место занимал чай-хане (постоялый двор с продажей чая распивочно) купца Миробая, лица, очень влиятельного во всей окружной местности, человека со средствами, владельца четырех жен и двух красивых батчей, мальчиков-прислужников при наливании и разноске чая» (Каразин 1905: 17/40) («Голос крови»);

«...Чайные лавочки, где кипели наши родные, российские самовары тульского изделия. Красивые мальчики возились около них, приготавливая кальяны для отдыхающих на коврах и войлоках посетителей» (Каразин 1905: 9/138) («Рахмед-Инак, бек Заадинский»);

«Эй, вы, батча, подавай живее! Гляди, там, в углу, бай чаю спрашивает!» (Каразин 1905: 3/218) («Погоня за наживой»);

«Уселись. Перлович сел тоже, по туземному образцу, на ковер. Два мальчика-батчи принесли кальян и подносы с дастарханом» (Каразин 1905: 3/222) («Погоня за наживой»).

Почти за полвека до Каразина свой вклад в восточный дискурс внес А.С. Грибоедов, нарисовав красивого юношу, прислужника в кальянной, – кальянчи:

В каком раю ты, стройный, насажден?
Какую влагу пил? Какой весной обвеян?
Эйзедом ли ты светлым порожден,
Питомец пери, или джиннием взлелеян?
Когда заботам вверенный твоим
Приносишь ты сосуд водовмещальный
И сквозь него проводишь легкий дым, –
Воздушной пеною темнеет ток кристальный
И ропотом манит к забвенью, как ручья
Гремучего поток в зеленой чаше!
Чинара трость творит жасминной длань твоя
И сахарная трости слаще,
Когда палимого ширазского листа
Глодают чрез нее мглу алые уста,
Густеет воздух, напоенный
Алоэ запахом и амброй драгоценной!

Когда ж чарующей наружностью своей
Собрание ты осветишь людей –
Во всех любовь!.. Дервиш отбросил четки,
Примрачный вид на радость обменял:
Не ты ли в нем возжег огонь потухших сил?
Не от твоей ли то походки
Его распрявлены морщины на лице
И заиграла жизнь на бывшем мертвече?
Властитель твой – он стал лишь самозванцем,
Он уловлен стыдливости румянцем,
И кудрей кольцами, по высоте рамен
Влекущихся, связавших душу в плен,
И груди нежной белизною,
И жилоч, шелком свитых, бирюзою,
Твоими взглядами, под свесом темных вежд,
Движеньем уст твоих невинным, миловидным,
Твоей, нескрытою покровами одежд,
Джейрана легкостью и станом пальмовидным
(Грибоедов 1771: 20–21)⁶³.

Иные юноши оставались украшением свиты богатых и властных людей: «Попарно, сидя на красивых, хотя донельзя тощих лошадях, в ярко-красных халатах и таких же красных чалмах, ехали красивые, черномазые мальчики – пажи Рахмеда...» (Каразин 1905: 9/141) («Рахмед-Инак, бек Заадинский»); «Ехал сам Бек-Кунградский, а за ним, богатою свитою, цветисто одетые сановники... Впереди попарно мальчики, в красных халатах, расшитых золотом, и грозно держали блестящие ружья-самопалы...» (Каразин 1905: 15/124) («Атлар»).

Все вышеприведенные фрагменты о бачах из произведений Каразина играют роль этнографических деталей в описании быта чужой культуры (как и в воспоминаниях других мемуаристов и востоковедов). С одной стороны, бачи, будучи яркими фигурами в культуре Туркестана, привлекли внимание писателя, который упоминает о них почти в каждом своем тексте; с другой стороны, Каразин по крупицам собирал среди

⁶³ Фрагмент из «Кальянчи» (отрывок из поэмы).

местного населения детали, свидетельствующие о внутренней, туземной, рецепции этого явления. Вероятно, писатель не разделял того категоричного суждения представителей русской администрации, которое было сведено в публикации Н.С. Лыкошина к призыву – «Долой бачей» (Лыкошин 1916: 358–359).

В приведенных фрагментах представлены обертона в восприятии бачей. Вероятно, необъективное, противоречащее местным традициям мнение о бачах подвигло Каразина к написанию повести «Атлар», замысел которой стоит в оппозиции к лыкошинскому «Долой бачей». В основе сюжета каразинской повести – судьба бачи, с раннего детства до глубокой старости. Захваченный из Персии ребенком⁶⁴, Мат-Нияз стал пастушком в окрестностях Хивы.

⁶⁴ Кража людей, и особенно с территории Персии, была обыденным делом. Так, Арминий Вамбери неоднократно приводит примеры: «...разбойник один, пеший, не только взял в плен трех персов, но и гнал их впереди себя в неволю восемь миль, тоже совершенно один. Он отдал нам предписываемую религией десятую часть добычи, что составило для каждого из нас кругленькую сумму в два крана, и как же он был счастлив, когда мы хором, благословляя его, провозгласили фатиху!» (Вамбери 2003: 54). «...Четыре города Хорасана, вызывающие страх: Аббасабад, Мияндешт, Меямей и Шахруд. Эти четыре персидских города имеют ужасную репутацию. Кто не слышал о них? С ними связано так много опасностей и разнообразных приключений, это – Сцилла и Харибда иранского народа; кто хочет рассказать о большой смелости, пусть не забудет занести эти четыре названия в дневник своих приключений. “Но почему?” – спростите вы. Ответ очень прост. Эти станции находятся на краю той большой равнины, которая переходит на севере в туркменскую пустыню. Здесь нет ни гор, ни рек, которые бы отделяли ее от Персии, и так как разбойничающие сыны пустыни мало обращают внимания на государственные границы, их набеги очень часты, и именно эти четыре города стали, можно сказать, ареной их действий. Их добыча редко бывает скудной, потому что здесь проходит главная дорога в Хорасан, по которой часто движутся многочисленные, богато нагруженные караваны и бредут любящие странствия, хорошо снаряженные паломники» (Вамбери 2003: 218).

Красивый мальчик приглянулся бродячим мошенникам, колдунам-гастролерам, был выкраден и продан хозяину школы бачей. Обученный петь и танцевать, декламировать и представлять, играть на музыкальных инструментах, Мат-Нияз стал жемчужиной артистической программы. Приглашенный на одно из выступлений хивинский бек был очарован юным талантом и выкупил его у хозяина, привез в Хиву и поселил во дворце, где подросток жил на равных с сыном бека, став его ближайшим другом. До старости бывший бача играл роль мудрого советчика при дворе, правда, бесконечно страдая от наветов завистников. Финал повести должен был решить жизнь «самозванца», каким его считали завистники. Мат-Нияз вспомнил свои детские впечатления, когда забирался на крышу мазара святого Атлара. Однажды во сне Атлар показал ему всю его предстоящую жизнь: настанет момент, говорил он, когда придут чужие с севера, обступят Хиву – сопротивляться им не имеет смысла, напрасно прольется кровь, надо будет пойти на мировую. Атлар показывает во сне Мат-Ниязу «картинки», на одной – витязь с голубыми глазами, идущий с севера, – у Каразина это символическая фигура русских войск. Повесть «Атлар» стилизована под «быль», что отмечено автором в подзаголовочных данных (быль именуется в фольклористике историческим меморатом, фольклорным текстом с установкой на достоверность). Сложное своей противоречивостью отношение Каразина к Туркестанскому проекту сполна отражено в этой «были»: с одной стороны, Каразин старается придать объективность изображаемому (именно в этом главная причина забвения его творчества, не совпадающего с пропагандистскими установками советской идеологии), с другой – Каразин, особенно в этой сказке-были «Атлар», демонстрирует идеологию имперского ориенталиста, пришедшего на Восток, будучи незванным и непрошеным, дать людям счастье – «зеленая ветка, покрытая утренней росой» в руках витязя символизирует новую жизнь, «цветы и золотой хлеб», которые несут на эту землю русские войска.

Именно этот сон вспомнил Мат-Нияз, когда Хива была в опасности. Ему, как предателю, грозило остаться без головы, но мудрец стоял на своем. «И вдруг чудится Мат-Ниязу, что из недр тумана выдвигается гора не гора, сияющая холодным светом, а серебряный шлем богатырский... Вот и лицо его покойно-грозное, вот и плеча, словно льдом покрытые латами, вот и рука правая, вооруженная молниями, вот и зеленая ветвь росистая в левой рук колыхнется...

И вспомнил старик свое детство, вспомнил высокий купол Атлара, вспомнил, что ему, ребенку, давно уснувший праведник показывал в вещем сне...» (Каразин 1905: 15/140). Так Мат-Нияз спас от гибели своих сородичей.

Биография юного танцора-бачи, благодаря красоте и таланту дослужившегося до должности наставника во дворце Хивы, напоминает судьбу праведника – во всяком случае, именно святой Атлар был его главным наставником на жизненном пути, полном перипетий (Мат-Нияза можно назвать «очарованным странником» по-среднеазиатски). Таким образом, сюжет «Атлара» – это каразинское слово в защиту бачей, это его оппонирование той мифологии, сопряженной с пороком, которая сложилась в повседневности и живет до наших дней.

Стоит остановиться на обертонах, присутствующих в туземной литературе, в отношении к институту бачей. Они сводимы не к пороку, смыслы которого стали тиражироваться в повседневности с приходом в край русских, а к виду артистической деятельности, выбивающейся из регламента мусульманской жизни. Так, в романе Абдуллы Кадыри выписан целый спектр оценок бачей. Один из персонажей романа, Хамид, хулит правителя Ташкента Азизбека: «Да какой это бек! Скажите лучше Азиз-бача... Совсем еще недавно на празднествах хромого Мусульманкула этот самый Азиз-бача потешал гостей» (Кадыри 2009: 15–16).

Еще один нарратив, касающийся того же правителя: «Позвольте, приведу вам один пример, имевший место совсем недавно: на одной из частных пятничных пирушек один

человек начал восхвалять Азизбека, на что другой возразил: “И чего это ты расхваливаешь его? Азизбек всего лишь бача”. Эти слова были немедленно донесены до ушей Азизбека находившимся неподалеку тайным доносчиком. На следующий день Азизбек вызвал к себе этих двоих, восхвалявшему была дарована высокая должность, второй же приговорен к казни...» (Кадыри 2009: 16–17).

«Азизбек, ныне уже независимый правитель Ташкента Азизбек! После победы над кипчаками он вне себя от счастья. <...> Сегодня он желает достойных его могущества и славы трона, венца! Естественно, надо сменить и прежнего своего фаворита на нового – такого, чтобы был под стать ему всеми струнками души, красив лицом, умел петь, плясать, и чтобы этим ненаглядным своим “махрамом” (доверенный слуга, фаворит. – *коммент. изд-ля*) прославиться на весь мир, на Туркестан и Бухару!» (Кадыри 2009: 117). Таким образом, бача и бек – социальные полюса в эндемической иерархии. А среди простых людей, среди социальных низов бача воспринимался как непрменная роль в чайхане: «Хотя лавки уже закрылись, но в чайханах людно. В центре разжигались костры, посетители развлекались, вознося бачей чайханщика то в ханы, то предлагая им изобразить ханскую дочь. Среди “избирателей” хана (то бишь, игра в “Выборы хана”) были и молодые люди, и муллы с большими чалмами на головах, и семидесятилетние старики... Зимние вечера осенью долгие, и поэтому в чайханах всегда многолюдно; народ смакует приготовленный бачами чай, разглядывая их красоту, возносит хвалу Аллаху» (Кадыри 2009: 42–43);

«Пожалуйста, дивана (юродивый. – *коммент. изд-ля*), пожалуйста!

– А что, бездельники, пиала чая найдется для меня?

– Найдется, о святой! Спляшите-ка, как бача, и чай вместе с пиалой ваш!

<...>

– Кто бача? Я вам не бача! Матушка меня не для того на свет породила!.. Чаю давай, чаю!» (Кадыри 2009: 166–167).

Уместно для контраста с Каразиным упомянуть описание института бачей, сделанное А. Вамбери: не сказав ни о танцорах, ни о юношах, а назвав их «существами» и «жертвами», Вамбери пристрастно и иносказательно описал табуированную для него тему, став в один ряд, или хор, с теми хулителями местной культуры, которые были упомянуты выше и в ссылках. «Хотя Регистан находится почти что перед глазами у эмира, все же нет во всей Бухаре и, может быть, даже во всем Туркестане места, где бы совершалось столько мерзких греховных преступлений, как здесь. Известен отвратительный порок жителей восточных стран, который рождается на берегах Босфора и чем дальше на восток, тем заметнее, достигает здесь наивысшей точки. Над вещами, которые крайне возмутили бы наши европейские чувства, здесь смеются как над невинной шуткой. Даже религия, которая наказывает смертью малейшие ошибки в омовении или в других предписаниях, смотрит на это сквозь пальцы. Часто я видел в чахарбаге Абдулла-хана, который лежит вне города, мужчин разных сословий и возрастов, которые бились головой о стену, валялись в пыли, рвали на себе одежды, чтобы показать степень своего преклонения перед существом, сидевшим вдали под деревом и, казалось, занятым чтением. Я считал это место потаенным и не удивлялся. Каково же было мое изумление, когда и на Регистане я в каждой чайной лавке видел подобную жертву, которую посадил здесь дух наживы, чтобы служить магнитом для проходящих. Я всегда избегал этих ужасных сцен...» (Вамбери 2003: 144).

Малайка

Каразин зафиксировал слово из обиходной лексики русских Средней Азии – *малай*, *малайка*. «Кличка всякого работника-туземца» – из примечаний Каразина (Каразин 1905: 7/47) («С севера на юг»). Частотность приводимых примеров из текстов Каразина (здесь и выше) – свидетельство неслучайности вовлеченных в этнографический контекст явлений и слов, а также иллюстрация к существованию в русской культуре и литературе туркестанского текста. Любой локальный

текст (здесь: туркестанский) является фольклорно-мифологическим срезом, состоящим из образов, особенностей ландшафта, культовых мест, характерных артефактов, афоризмов и прочих прецедентных языковых клише, тиражируемых, помимо устной речи, литературными текстами (художественными и публицистическими). В эту совокупность слагаемых локального текста входит и слово *малайка*. Как показывают примеры употребления этого слова, оно в какой-то мере, ситуативной, синонимично слову «бача», ведь бача – это просто мальчик; мальчик на побегушках.

«В неделю все для похода было слажено. “*Малайки*” к вьючным лошадям были договорены и явились на место...»⁶⁵ (Каразин 1905: 9/186) («Джигитская честь»); (Каразин пишет слово то в кавычках, то со строчной, то с прописной буквы – в любом случае акцентирует на нем внимание читателя);

«Разглядеть я сама не успела: *Малайка* только крикнул мне, будто русская женщина!» (Каразин 1905: 6/17) («Тьма непроглядная»);

«*Малайка*, пойдём со мною, – сказала она конюху-киргизу» (Каразин 1905: 1/36) («На далеких окраинах»);

«Там два тюра был: красный и черный; у красного голова завязана, черный – *Малайку* по морде бил... Сартенюк взялся за щеку и начал жалобно хныкать. – Акча давай, *Малайка* спать пойдет, – ревел он все громче и громче» (Каразин 1905: 1/152) («На далеких окраинах»);

«У дверей заведения Илья Маркыча киргиз-работник седетки чистит, такие здоровенные, полуаршинные; взглянуть только, так во рту солоно становится. Кромсает он их большим ножом на куски; куски эти на доску в аккурат укладывает. Торопится “*малайка*”; потому хозяйский голос слышит: сам Илья Маркыч – “живее, леший!” – покрикивает» (Каразин 1905: 7/47) («С севера на юг»);

«Эй, *Малайка*, сбегай к Салтыку в аул, скажи, чтобы ко мне сватов загнал, да подарков поболе, я, значит, согласна!» (Каразин 1905: 7/258) («С севера на юг»);

⁶⁵ В главке курсив мой. – Э.Ш.

«Голубчики мои! Наши-то как поперли!.. – заорал с телеги солдат с подвязанной рукою.

– *Малайка*, ура! Валяй за мной! – И писарь завопил, сложив руки трубою у рта» (Каразин 1905: 9/59) («Зарабулакские высоты»).

Н.А. Варенцов в своих воспоминаниях описал Среднюю Азию, где он бывал не раз по предпринимательской надобности, – его мемуары изобилуют упоминанием разного рода малаек, что звучит в унисон с художественными текстами Каразина:

«Мы ехали в двух экипажах: в одном сидел я с Любарским... и в другом В.А. Капустин с поваром и *малайкой*, взятыми для изготовления нам обеда» (Варенцов 2011: 271);

«Как только усаживались, *малайка* подавал кальян, и сейчас же ставился поднос с дастарханом...» (Варенцов 2011: 276);

«...Хозяин и все его *малайки* бросились убирать со стола... четверо сартов внесли на большом деревянном блюде... на блюде лежал большой жареный баран, и поставили на стол. Хозяин, его гости, *малайки* с лукавой улыбкой смотрят на меня: какой эффект все это произвело на нас» (Варенцов 2011: 287);

«Предполагали, что нам на обед *малайка*... приготовит шурпу... <...> *Малайка* принес великолепный куриный суп, который молодая дама разливала в тарелки, а *малайка* разносил блюдо со слоеными пирожками... <...> “Где вы нашли такого замечательного повара?” – “Повар я сам, – ответил он, – только *малайка* смотрел, чтобы кушанья... не переварились...”» (Варенцов 2011: 289);

«Уже в конце обеда, когда публика повеселела от выпитого шампанского, *малайки* спешно расстелили ковер перед музыкантами...» (Варенцов 2011: 305).

Н.А. Варенцов рассказывает о конкурентной борьбе торговых компаний конца XIX в.: о сманивании маклеров по продаже каракуля; раз один маклер обратился к нему за советом, стоит ли переходить в преуспевающую на тот момент

компанию, на что Варенцов ответил: «У Шагазиева ты будешь простым *малайкой*, а в Товариществе ты можешь выдвинуться и сделаться большим человеком...» (Варенцов 2011: 148).

Причастная к туркестанскому тексту, о малайке упоминает А.В. Алматинская, описывая первые десятилетия русского присутствия в Туркестане и пытаясь задать «малайке» этимологический вектор: «Во дворе под окном прошуршали легкие шаги босых ног. Видать, Тазейка пошел отпустить зерно для коней и птицы. Хоть и нехристь он, а старательный, хозяйственный паренё. Десять лет уже живет. Взяли мальчика, бога для, от голода спасли, вот и живет. Раньше на побегушках был. Бывало спросят:

– Кто ты, мальчик?

Гордо закинет голову и старательно выговаривает:

– Купца Канишина *малайка* я.

А «*малайка*» потому, что по первым временам звали его не по имени, а по купеческому обычаю:

– Эй, малый! Сбегай-ка за квасом!» (Алматинская 1958: 95–96);

«– Здравствуй, ученик! Как поживает няня Максуда? Здорова?

– Мать здорова. Толстая стала. Две служанки, один *малайка* всю работу делает. Матушка совсем ленивый стала» (Алматинская 1958: 238).

Слово *малайка* / *малай* из лексики русских, причастных к культуре Средней Азии, а также проживающих там, дожило (как следует из опроса информантов) до 1970-х гг. На просьбу что-то сделать, выполнить, часто можно было слышать в ответ: «*Малаи* были при Николае». Ныне, как показал опрос, слово ушло из речи.

Камнем

В журнале «Нива» за 1872 г. Каразин поместил этнографический очерк «Мальчики-пращники», содержащий наблюдение за тем, как туземцы охраняют сады-огороды от птиц-вредителей. «Вот птицы спускаются все ниже и ниже:

они почти задевают растения своими крылышками. Еще минута и... со свистом рассекает горячий воздух метко пущенный камень, с глухим шумом взлетает испуганная стая, преследуемая новыми и новыми камешками; высоко улепетнули бандиты и черными крестиками замелькали на голубом небе. Над массою зелени звонко хохочет смуглая черноглазая головка, белая рубашка вьется по ветру; на головке ярко-красная шапочка; детские ручонки раскачивают меткую пращу, приготовляясь пустить новый снаряд. Вон, невдалеке, мелькнул еще такой же неутомный сторож... Еще и еще... по всему полю, словно яркие цветки мака, краснеются шапочки... и вдруг, как по волшебному жезлу, все скрылось и ничего не видно, кроме волнующейся зелени, до нового нападения успокоившихся грабителей.

Всюду на полях, на расстоянии полета камня один от другого, стоят невысокие, глиняные столбики. На верхней площадке этих наблюдательных постов удобно может поместиться мальчик; даже другой может к нему присоединиться, если им захочется потесниться, – и отсюда дети наблюдают за вверенным им участком, пуская в дело свою пращу при каждом удобном случае. От постоянной практики они до того ловко владеют своим оружием, что мне случалось видеть стрелков – без промаха бьющих маленьких птичек даже на их полете. Праща эта состоит из нетолстой веревки, на конце которой приделана кожаная петля, в которую кладется камень; другая тоненькая; часто волосяная веревочка прихватывает камень и освобождается из руки в тот момент, когда снаряд должен лететь в пространство. Я думаю, я даже уверен в том, что камень, пробивший голову Голиафа, вылетел из пращи совершенно подобного же устройства.

С самого раннего утра, едва только загорится на востоке золотая лента и проснутся хоры пернатых, мальчики с пращами уже на своих местах и уходят домой только с вечерней прохладой, когда денные птицы усаживаются группами на покой. А против новых ночных воров опытный человек принимает и новые испытанные меры» (Каразин 1872: 124).

Об этом этнографическом наблюдении говорится и в художественном тексте: «Старый полуголый таджик давал инструкцию двум мальчуганам, взлезшим на глиняные столбики со своими пращами и подолами рубашек, наполненными маленькими комочками глины. Мальчишки собирались стеречь посев джугары (китайского проса) от целых стай крылатых воришек, шумными обществами перелетающих от одного поля на другое» (Каразин 1905: 6/143) («Ак-Томак»).

Праща и камень вошли в образный арсенал туземной словесности: «Вдруг все его усилия похожи на пращу, которую он раскрутил уже после того, как птица улетела?» (Кадыри 2009: 125), – используемые также для художественной аутентичности при описании по-восточному иносказательного диалога между азиатами: «Эй, палван, ты пел как ширазский соловей, сердце замирало. Только прошу, в следующий раз, когда захочешь петь, то раньше из пращи своего вдохновения выкинь меня подальше» (Алматинская 1969: 1/ 400).

Эта местная особенность – камнем по птицам – успешно работала и в отношении любых нежелательных пришельцев, непрошенных гостей (в частности, колонизаторов, – каковыми в Туркестане воспринимались русские):

«Шолобов задержал коня и бросил нищему серебряную монету. Тот не заметил подаяния. Какой-то мальчишка, шмыгнув, как ящерица, между ногами лошадей, поднял деньги и сунул монету в руку старика, сказав что-то по-своему... Тот ощупал поданное, на его лице появилось выражение какого-то озлобленного ужаса. Он вскрикнул, швырнул монету далеко от себя, с таким движением, каким стряхивают ядовитое насекомое, и торопливо начал вытирать эту руку о землю. <...> – Фа-а-анатик! – протянул толстяк, перегибаясь с седла назад, чтоб еще раз взглянуть на скрывающуюся в пыли фигуру нищего. – Сумасшедший! – пожал плечами капитан. – Этих нам не переучить, не переделать.... Такие доживут свое и вымрут, мало-помалу, нашими врагами. А вот те... что *каменем*⁶⁶ в нас сейчас швырнули...

⁶⁶ В главке курсив мой. – Э.Ш.

Иван Алексеевич показал в сторону, где из-за гребня плоской крыши выглядывало несколько милостивых детских головок. – Те, – продолжал он, – уже будут совсем иного взгляда: попривыкнут к нам, обрусееют, – увидишь. То есть мы-то с тобою, может быть, и не дождемся! – Разве так долго?» (Каразин 1905: 5/20–21) («Наль»);

«Едва он проскакал шагов триста, как услышал громкие крики: несколько конных выскакали из ближайших садов и приближались к нему, стараясь охватить его со всех сторон. Мимо самых ушей его просвистал пущенный из пращи камень. <...> С каким страшным, фанатическим озлоблением относились жители к бедному Нурмеду (служившему русским. – Э.Ш.)... Особенно женщины отличались на этом поприще; они, как разъяренные кошки, кидались на конвой, пытаясь пробиться к Нурмеду; приподняв свои покрывала, они плевали ему в лицо, швыряли кусками грязи и даже камнями...» (Каразин 1905: 9/88–89) («Ургут»);

«Вереницы закутанных сартянок, спешивших куда-то с узелочками в руках, стремительно кидались в сторону и при приближении чуждого всадника прижимались лицом к стенкам. Откуда-то из чащи со свистом вылетел маленький камешек, щелкнулся о дорогу перед самыми ногами чалого и поскакал дальше, рикошетируя по пыльной дороге. Перлович погнал шибче. – Экие скоты, – подумал он, – вот этот попадись к ним в руки: живой не выскочишь» (Каразин 1905: 1/17–18) («На далеких окраинах»);

«...Я ...чуть не вылетел из седла, так неожиданно шарханулся мой Орлик. Большой камень, видимо, направленный в меня, с глухим стуком ударился об стену, отскочил и покатился вниз, под гору, разбрасывая жидкую грязь по дороге» (Каразин 1905: 6/100) («Ак-Томак»);

«Ты, Тюра-Никола, слушай! – говорил мне Байтак. – Надо скорее ехать... Вот скоро спустимся, там просторнее будет, рысью погоним... Не попадем до солнца, уже после нельзя будет...

– Это отчего нельзя?.. Ночи-то ведь невесть какие темные, доберемся!

– Старый Наурус не пустит, он *камями бросаться* будет. Видишь, вон какие камни с гор скатились? Это все он накидал!» (Каразин 1905: 12/207) («Наурусова яма»).

А вот примеры уже XX в., подтверждающие, что наблюдение Каразина можно вполне включить в ряд паттернов туркестанского текста. Вспоминает археолог М.Е. Массон о 1920-х годах – о работе с падающим минаретом в самаркандском комплексе Регистан: «Стоял один из морозных декабрьских дней, когда люди, закутавшись поплотнее в шубы или ватные халаты, стремились забиться от холода в более теплые места, и на Регистане было почти безлюдно. Мы с Брукманом торопились закончить обмер одного из крупных раскопов и находились как раз на дне “колодца” до 11 метров глубины, когда услышали и даже скорее интуитивно ощутили что-то неладное на краю шурфа. Вскинув головы, мы увидели, как сверху на нас летела *глыба из спянных алебастровым раствором нескольких жженных кирпичей*. Мы прижались друг против друга к стенке узкого “колодца” и подняли вверх руки, прикрывая ими голову. Из-за быстро пронесившихся в мозгу мыслей казалось, что глыба опускается очень медленно, почти как пушистое перо, и прямо на мою голову. На некоторой высоте она ударилась о выступавшую в стенке колодца древнюю кладку и чуть отклонилась от линии своего падения. Осыпав меня мелкими комьями земли и кусками кирпичей и сорвав до костей с кисти левой руки клочок кожи с мясом, глыба всей тяжестью рухнула на носок грубого австрийского ботинка Брукмана, раздробив пару фаланг двух пальцев на его правой ноге. Рванувшись тотчас к лестнице, мы оказались через минуту на поверхности земли и успели разглядеть спину убежавшего неизвестного молодого чалмоносца в синеватом халате, скрывшегося за углом медресе Тилля-Кари. Других людей поблизости не было.

Брукман целую неделю не выходил после этого на работу. По Самкомстарису⁶⁷, во избежание возможности повторения

⁶⁷ Самкомстарис – Самаркандская комиссия по охране па-

такого случая, было сделано строгое распоряжение, чтобы на время обмеров шурфов наверху неотлучно присутствовал бы рабочий, в обязанности которого входило не подпускать к краям ям посторонних людей. А через некоторое время выяснилось, что глыба кирпичей упала не случайно, ее сбросил в шурф молодой мулла, учащийся медресе, по наущению реакционно настроенных лиц из мусульманского духовенства в порядке мести за закрытие революционной властью его alma mater. Покушение не удалось» (Массон 1968: 38–39).

Вспоминает о 1920-х годах художник Виктор Уфимцев, прибывший в Самарканд с культуртрегерской миссией: «Как-то сидели мы все пятнадцать и пили чай. Степановы рассказывали неправдоподобные истории о каком-то шайтане. – Вот вы сами убедитесь! – наперебой кричали три дочки и сынишка. – Ни молитвы муллы, ни засады милиции не действуют на шайтана. Вот вы сами убедитесь, как только ночи станут темней. Луна шла на ущерб. Мы ждали темных ночей. Мы ждали встречи с шайтаном. Нам стало понятно гостеприимство Степанова. Присутствие двух молодых парней здесь, в глуши садов, не будет лишним.

В одну из первых темных ночей крик Степанова разбудил нас, шайтан действовал. Из темноты *вылетел камень* и шлепнулся у наших ног. Другой метко попал в горящую лампу. Тьма поглотила предметы. Мы, лежа на крыше, всматривались в притаившуюся дорогу. Прислушивались к черным карагачам. Ничего! Лишь где-то визжат шакалы и поют, поют лягушки. *Камни продолжали лететь*. Они путались в косматой зелени деревьев, шлепались в воду хауза или возле нас.

Так стало продолжаться каждую ночь. Каждую ночь в определенное время шайтан вносил беспокойство и страх.

мятников старины и искусства, созданная в мае 1920 г. по инициативе делегации Главархива РСФСР и Турккомиссии ВЦИК и СНК РСФСР под руководством В.В. Куйбышева и М.В. Фрунзе. Состояла из трех секций: технико-строительной, художественной и археологической; главой археологической секции был назначен М.Е. Массон.

Мы спали поблизости наших благодетелей на ковре, накрываясь тем же ковром» (Уфимцев 1973: 50).

Вероятнее всего, побитие камнями – естественная реакция на действия и личности, которые не вписывались в аксиологию картины мира среднеазиатских народов, о чем неоднократно упоминает В.П. Наливкин: «Несколько лет назад в Бухаре, по постановлению казиев, был казнен через *побиение камнями* туземец, уличенный в оскорблении словом мусульманской религии» (Наливкин 2012: 35); всевозможные нарушения правил общежития, предписанных шариатом, карались в том числе и «*побиением камнями*» (Наливкин 2012: 45), что даже нашло отражение в фольклоре: так, «в одной местной народной песне... туземец, жалуясь на свою судьбу, говорит, что ночью он отправился к своей возлюбленной; он застал ее спящей и потихоньку, без шума, разбудил ее осторожным прикосновением руки; проснувшись и испугавшись возможных последствий, красавица стала просить пощадить ее и скорее уйти, ибо иначе их могут услышать или увидеть, и тогда завтра же она будет *побита камнями*; с тоской в душе он должен был уйти, успев получить только один поцелуй» (Наливкин 2012: 46).

Такие же наблюдения сделал А. Вамбери: «Достаточно было бросить взгляд на женщину под покрывалом, чтобы человека казнили по обряду «реджм», как велит религия. Мужчину вешают, женщину закапывают вблизи виселицы в землю по грудь и *побивают камнями*, а так как в Хиве нет камней, то бросают кесек (твердые комья глины)...» (Вамбери 2003: 107).

* * *

Помимо приведенных слагаемых Туркестанского текста, или *паттернов*, зафиксированных Н.Н. Каразиным, а впоследствии растиражированных в травелогах и устной повседневности, можно упомянуть и другие: жилище, колодцы (сакральное отношение к ним), виды одежды и проч. – вот эти сигнатуры, или «минимальный набор признаков», которые «тиражировались в бесчисленных словесных и несловесных, художественных и нехудожественных текстах» (Цивьян 2001:

41), – более всего «на слуху». Но упомянуть о них и проиллюстрировать каразинскими фрагментами для констатации локального (туркестанского) текста и этнографической составляющей творчества Н.Н. Каразина необходимо.

Дома и улицы

Архитектурно и ландшафтно оформленное пространство – в иноэтнокультурном тексте всегда ракурс для рассмотрения ментальности народа, его «национального характера». Общеизвестен образ архаического жилья народов Средней Азии: внешне закрытое от посторонних глаз строение, окна которого выходят во внутренний двор – он и является эпицентром жилья. Дома расположены так близко друг к другу, что так называемая улица способна пропустить только арбу. Вот одни из первых зарисовок домов и улиц, сделанных в русской литературе Каразиным:

«Сперва дорога шла длинною узкою улицею. Низенькие серые стены сакель разнообразились только запертыми воротами и калитками; окон не было ни одного, потому что вообще у азиатских жилищ не имеется окон, а если и есть что-нибудь заменяющее их, так оно расположено на внутренних фасадах, а на улицу выходят сплошные однообразные стены надворных построек – конюшен и тому подобного» (Каразин 1905: 9/134) («Рахмед-Инак, бек Заадинский»);

«На эти узкие улицы без окон, на высокие купола мечетей...» (Каразин 1905: 15/124) («Атлар»);

«Те же узкие улицы, те же приземистые сакли с плоскими крышами, та же грязь по колена в дождливое время, а в сухое – мелкая, серая пыль, полуаршинным слоем лежащая на дороге. Ни одного окна, ни одной двери не ведет прямо на улицу; все это смотрит вовнутрь, сосредоточивая замкнутую жизнь в своих “хане” (дворах), скрытых от глаз постороннего наблюдателя» (Каразин 1905: 3/219) («Погоня за наживой»);

«...Углы плоскокрыших домов-саклей, по одной из очень узких и кривых улиц азиатского Ташкента пробирались четыре арбы...» (Каразин 1905: 3/205) («Погоня за наживой»);

«Вся группа, выбравшись в город, втянулась в узкую дорожку, с обеих сторон которой теснились глиняные стены садов и сакель, скучные стены, не глядящие на улицу ни одним окошечком...» (Каразин 1905: 5/17) («Наль»);

«Улицы были так узки и так неровно вымощены крупным камнем, притом повороты были до такой степени круты и неожиданны, что нельзя было и думать провезти в цитадель наши орудия» (Каразин 1905: 9/107) («Ургут»).

Жилище украшалось *дверьми*:

«В противоположной стене виднелась низенькая дверь на две створки, из цельного красивого ореха, вся сплошь резная, с такими хитрыми и замысловатыми узорами, что и не разберешь, что такое вырезано...» (Каразин 1905: 9/10) («Тьма непроглядная»);

«...Решительно взялась за медное кольцо резной ореховой двери, проделанной в высокой глинобитной стене...» (Каразин 1905: 9/52) («Тьма непроглядная»);

«У самого порога купцы сняли верхнюю обувь, остались только в одних мягких кожаных сапогах, в виде чулок, мусса, и друг за другом, пригнув головы, хотя дверь была настолько высока, что самый высокий человек не мог бы достать до притолоки верхушкой своей шапки, взошли в прохладную приемную...» (Каразин 1905: 3/222) («Погоня за наживой»).

Зарисовка из травелога Н.А. Варенцова: «Старая Бухара был город больших размеров, раскинутый на большой площади земли. Застроен был одноэтажными глинобитными домами с плоскими крышами, причем ни одного окна не выходило на улицу; они выходили вовнутрь двора. Однообразная постройка вызывала уныние и скуку: ничего не было радостного для взора. Вперемежку с домами были пустыри, хорошо обработанные, по границам владения обсаженные тузовыми деревьями и пирамидальными тополями, около которых были арыки с водой»⁶⁸ (Варенцов 2011: 273).

⁶⁸ Подробнее о художественном осмыслении восточного жилья см. в кн.: Шафранская 2005.

Непременным атрибутом двора являлся *хауз* (рукотворный пруд), который также присутствует почти во всех описаниях Каразиным среднеазиатских жилищ. «...Двери выходили в открытый дворик... с квадратным прудом-хаузом, полузатянутым пленкою грязного льда, с примерзшими к нему обрезками дынных корок и пальми листьями, а вокруг этого пруда шла крытая галерея, на точеных столбах, ведущая в другие помещения женской половины. В боковой стене, кроме той подозрительной, занавешенной двери, виднелась еще дверь пониже, в которую, не согнувшись, не пройти, особенно взрослому человеку; дверь эта вела, тоже через другой такой же дворик, на общую мужскую половину, а дальше на въездной двор с конюшнями, и еще дальше в сакли под крытыми воротами, для гостей неважных и прочих посторонних, кому дело есть до хозяина, а уже за этими саклями прямо к выходу на узкую кривую улицу» (Каразин 1905: 6/4) («Тьма непроглядная»).

Хауз впечатлил и русского художника К.С. Петрова-Водкина, четыре месяца проведенного в Самарканде и оставившего путевые заметки о взволновавшем его городе – «Самаркандию». Он пишет: «Утро начиналось купаньем из кауза⁶⁹ или, пересекая узенькие проулучки, спускался я к Серебряному роднику – лечебному роднику сартов⁷⁰, свежесть которого на добрую половину дня делала меня бодрым» (Петров-Водкин 1923: 11).

Колодцы

Колодцы как туркестанский топос, топос пустыни, претендуют на отдельное большое исследование. Цитировать фрагменты каразинской прозы, посвященные колодцам, вряд ли уместно, так как эта пространственная ниша присутствует почти в каждом сюжете: в виде цели, спасения, интриги, мечты и проч.; в виде фольклорных нарративов, суеверий,

⁶⁹ Кауз – так у Петрова-Водкина, правильно – хауз.

⁷⁰ Сарты – так называли туземцев Туркестана русские колонисты.

легенд. Однако необходимо констатировать: колодцы – часть туркестанского текста русской культуры, потому неслучайна песня, вошедшая в русский дискурс, о которой знают практически все носители русского языка, даже те, которые не представляют, что такое пустыня и каковы в ней роль и значение колодцев. «Горячее солнце. Горячий песок. / Горячие губы – воды бы глоток. / В горячей пустыне не видно следа. / Скажи, караванщик: “Когда же вода?” / Учкудук, три колодца, / Защити, защити нас от солнца. / Ты в пустыне – спасательный круг, / Учкудук»⁷¹.

Этот всем известный ныне топос упомянут и Каразиным: «Это была маленькая партия бродячих “яу”, вот уже несколько дней бивакирующая в балке “Уч-кудук” (Три колодца), названной так потому, что поблизости ее находились, да и теперь еще находятся три полузасыпанные песком ямы, в которых периодически скопляется небольшое количество мутной, солоноватой воды, достаточное для удовлетворения десятка-другого жаждущих желудков. <...> Недоброю славою пользуется это неприветливое, мертвое урочище...» (Каразин 1905: 14/10) («Двуногий волк»).

Тем не менее вот несколько описаний колодцев и отношения к ним туземцев из каразинской прозы:

«Стали подходить к одиннадцатым колодцам, а про колодцы те всегда исстари еще дурная слава ходила. Когда святой Хазрет на своем белом ишаке проехал всю степь, благословляя колодцы, – он миновал именно эти одиннадцатые... и лишил тем их своего благословения... Как место испытания для правоверных – оставил он их во власти шайтана, и кто из путников подходит к ним с молитвою, без нечистых мыслей, тех злой дух тронуть не смеет; кто же забудет в пути слова молитвы, легкомысленно отнесется к месту этого ночлега, того ждет беда неминуемая... “Кара-Кудук” называются эти колодцы, а слово кара значит черные» (Каразин 1905: 16/15–16)

⁷¹ Песня на стихи Ю. Энтина. (О популярности песни говорят разного рода ее переделки, цитаты-каламбуры: «Учкудук, уколоться», «Учкудук, приколоться».)

(«Дауд – караван-баш»); колодцы, «к которым обыкновенно всякий номад питает некоторого рода уважение» (Каразин 1905: 9/39) («Страшное мгновение»); «...Слышны ржание лошадей, крики и ругань: конные тюркмены раньше успели к колодцам; им надо и себе утолить жажду, и напоить своих коней, а в колодцах воды немного: они вырыты как раз по размеру суточных потребностей кочевников; только через сутки опять они наполнятся водою, а как же ждать сутки, – когда час ожидания может окончиться смертью. Но, может быть, счастливы не всю воду выпьют, может быть, достанется и на долю оставшихся пеших... Крики вокруг колодцев усиливаются, слышны выстрелы: из пыли вырываются кони без всадников с разметанными седлами и несутся в степь. Начинается ожесточенная схватка... Нет надежды! Это дерутся за последние капли.

Реже и реже становится толпа вокруг колодцев... <...> ...Ближе подходят разоренные массы пеших... <...> На дне колодцев ничего, кроме клейкой, зеленовато-черной густой грязи. <...> Чем попало вычерпывают эту грязь, глотают ее, давятся и падают, задыхаясь в конвульсиях. <...> С наступающими сумерками все более и более сбегается волков из степи, занимая соседние рытвины, выжидая, когда уйдут живые и оставят им на съедение своих мертвых собратьев. <...> Колодцы эти носят теперь название “Кара-Кудук”, что значит черные колодцы» (Каразин 1905: 9/75–77) («Зарабулакские высоты»).

Ни один из путешественников, ни один из авторов травелогов по Средней Азии не обошел темы колодцев: Арминий Вамбери, Свен Хедин и др. Вот впечатления русского путешественника, из которых следует, что все смыслы, значения и загадки колодцев для русского человека были вновь в конце XIX века, поэтому в описании и этого паттерна туркестанского текста Каразин стоит в ряду пионеров.

«...Туркестанский край (недавно представлявший *terra incognita*) стал в наши дни таким Эльдorado, к которому стремятся тысячи предприимчивых людей. В 70-х годах, однако,

мы не слышали ни о каких таких штуках, называемых “артезианскими колодцами”, а отправляясь в путь, попросту брали с собой в запас воды в количестве, достаточном для переезда от одного вырытого колодца к другому. Правда, подобные расчеты не всегда оправдывались: иногда от жары вода испарялась, иногда нечаянно турсуки отвязывались и разрывались в лоскутья, а иногда, придя к вырытому каким-то неведомым благодетелем колодцу, путешественники заставляли одну зияющую дыру, откуда несло разлагающимися трупами, если не всегда человеческими, то звериными.

Не всякому были известны эти степные дыры, носящие громкое название *колодцев*. Если такой опытный проводник, как Кебеков, заблуждался, то люди, менее его знающие характер и свойства степи, зачастую делались жертвой своей предприимчивости» (Уралов 1897: 111).

В комментариях к опубликованным рисункам в журнале «Нива» за 1887 г. Каразин пишет: «Во всей средней Азии, особенно в безводных степях бассейна Амударьи, издревле распространен был благочестивый мусульманский обычай, следы которого изображены на прилагаемом рисунке. Могущественные ханы и зажиточные частные люди сооружали в безводных местах колодцы, обносимые особою постройкой с куполом в ограждение от наносных песков, а нередко и с караван-сараяем вокруг главного здания, как видно в центре рисунка. Желая увековечить добрую о себе память, они приказывали погребать себя в самом здании, а вокруг его большею частью располагались могилы и потомков основателя. На нашем рисунке видны также (слева) два такие отдельные мавзолея, несколько глинобитных плит и других надгробных памятников.

Что касается караван-сараяев вокруг главного здания, то они, не будучи ничьею собственностью, доступны бесплатно каждому проходящему и приезжающему. В отдельных помещениях нередко прикованы на цепях бронзовые ковши и ведра, иногда очень ценные, и вмазаны котлы, в которых всякий может варить пищу. Топливо растет тут же, в окрестностях. Никогда никто, даже кочующие здесь разбойники, не

похищали этих котлов и ведер, ценя их как святыню и веря в предание, что одна попытка воспользоваться ими повлечет за собою несчастье» (Каразин 1887: 961, 964).

Базар

Базар – излюбленный локус в описаниях ориенталистов всех времен, растиражированный в травелогах и воспоминаниях. Однако туркестанские базары – прерогатива каразинской прозы. Базар – социальная ниша, институт, локус времяпрепровождения восточного человека; на базаре завязываются все интриги восточного повествования, а также повествований о Востоке.

«И пошел старик по базарам, городам и селениям отыскивать себе приют и работу. Он все искал встречи с коварною, неблагодарной красавицей...» (Каразин 1905: 6/126) («Ак-Томак»);

«...На базаре не задерживалась. Миновала красные ряды с ситцами, канаусом и разными русскими материями, прошла всю скобяную лавку, прошмыгнула потом большой Наурусовый чай-хане, где шумно, испуская густые клубы белого пара, кипели десятиведерные самовары и сидели русские солдаты в своих серых шинелях, пили чай и над юродивыми нищими в рваных отрепьях потешались. Теперь пошли все шорные лавки с выставленными напоказ нарядными седлами и цветно-расшитыми чапраками. За шорными потянулись все сапожники, за сапожниками – мясники» (Каразин 1905: 6/51) («Тьма непроглядная»);

«...Базар был уже в полном разгаре; народ густыми толпами занимал перекрестки, толпился у входов в чай-хане и разных подзакусочных, а по узким улицам, крытым, грязным, никогда не просыхающим, просто было ни пройти, ни проехать. Базарный шум, “галда”, носился неумолчно под смрадными сводами; злобно ржали оседланные кони, тесно привязанные к столбам навесов, хрипло ревели тяжело навьюченные верблюды, задевая друг друга своими выюками, – того и гляди, насмерть придавят зазевавшегося прохожего... Порешила Уль-

кун-Курсак взять в обход, поправее, через красные ряды, – туда с крупною скотиною не суются и потому там все-таки почище; от тех рядов в сторону ведут тесные переулочки, где работают кустары: гравировщики по меди и олову, шивальщики разбитого фарфора, филигранщики и ювелиры, но самое интересное, это “уста” (мастера), – рисовальщики всевозможных узоров для вышивок. Эти художники сидят у порогов своих крохотных лавочек, перед ними обрубки дерева, плотно обтянутые кожей, и вокруг маленькие горшочки с густо растворенною краскою. Бойкою и смелою рукою рисунок наводится соответствующим цветом будущей вышивки, материю заказчики приносят свою. Перед лавочками таких рисовальщиков всегда видны группы сидящих на корточках женщин, терпеливо ожидающих своей очереди, жадно следящих за бойкою рукою узорщика. Этот переулочек служит женским клубом всего города и его окрестностей, – здесь сообщаются все домашние новости, главным образом семейные сплетни. Несмотря на закрытые сетками лица, здесь как-то большинство узнает друг друга, да оно особенно и незачем закрываться, – мужчины сюда заходят редко, а узорщики свои люди и не осудят» (Каразин 1905: 6/63–64) («Тьма непроглядная»);

«Середину города занимает большая четырехугольная базарная площадь. <...> Вся площадь народом занята. Шум и гам стоят в тучах густой пыли. И говор киргизский, и русская речь, и верблюжий рев, и ржание коней, блеяние овец, сдавленное коровье мычанье, дребезг железа, звон стекла, российская гармоника и татарская балалайка, – все слышится в этих тучах, только не видно за пылью путем, что делается, а приглядишься хорошенько, увидишь, особенно если сам там же толчешься» (Каразин 1905: 7/109) («С севера на юг»);

«И со всех-то сторон, во все концы базара многолюдного, в дыму из-под котлов и самоваров, носится в спертом, вонючем воздухе гортанная, хрипая, разноязычная брань перекрестная» (Каразин 1905: 8/438–439) («С севера на юг»);

«Не было тогда по здешним местам ни дорог железных, ни столбов с натянутою проволокою, по которым слова бе-

гают, почты даже никакой не было, а ходил только “слух” и каким путем, как ходил – никто и не знает. Случится что здесь, в Келифе что ли, поговорят о случае на местном базаре, а базар – толчея, со всех сторон туда сходятся и съезжаются разные люди и расходятся во все стороны, а с людьми и речи. Идут, останавливаются отдохнуть, поговорят, обменяются новостями, дальше идут, а с того места опять во все стороны слова поползли... С ночлега на ночлег, с базара на базар... К одним вестям другие прилетаются... Встретятся где, опять перекинутся и все с надбавкою... Случится что небольшое, пустяк, с рисовое зерно величиною, а станет расходиться молвою, что снежный ком, вырастет, и не узнаешь сразу, с чего началось, где правда: а правда там, в середине этого кома, надо только докопаться до этой середины. <...> Хочешь знать, что где творится, ступай на базар, сиди покойно, чай зеленый прихлебывай, уши насторожи и жди... Потому что базары эти и есть самое для вестей складочное место» (Каразин 1905: 9/189–190) («Джигитская честь»);

«Был базарный день. <...> Полупьяный солдат, шатаясь и спотыкаясь, продавал с рук пару казенных шаровар и шинель, выслужившую срок и ставшую уже его неотъемлемой собственностью... Одним словом, все ходило, бегало суетилось, толкало, спорило, бранилось, мирилось, продавало, покупало, меняло... Одним словом, базарная жизнь находилась в полном разгаре. <...> Все чиназские барыни, сопровождаемые денщиками, навьюченные не хуже верблюда, бродили по линиям яток и навесов, любезно улыбались и раскланивались при встрече друг с другом, – ссорились иногда, когда вкусы их относительно какой-нибудь жирной и дешевой утки или же вязки фазанов сходились – теребили товар друг у друга и даже устраивали нечто вроде аукциона...» (Каразин 1905: 13/156–157) («В камышах»);

Кричали базарное «хошь»: «Хошь (раздавайся, посторонись)! – поднял нагайку Шолобов.

– Хошь! Хошь! – надрывался доктор, приподнимаясь на стременах.

– Хошь! – повторяли казаки, протискиваясь вперед офицеров» (Каразин 1905: 5/21) («Наль»).

Иная огласовка этой прескрипции (хошь/пошта) отражена в воспоминаниях русских художников, впервые попавших в Туркестан в 1920-е годы: «Навстречу им ехали верхом на ослах загорелые люди, покрикивавшие “Пошта! Пошта!”, но это не было извещением, что едет почта, как им поначалу показалось, это означало рядовое предостережение: посторопись, дай дорогу – от всей этой экзотики кружилась голова, надо было искать ночлег» (Шафранская 2014: 33).

Все функции базара и его рецепция европейским взглядом, отмеченные Каразиным, будут впоследствии тиражироваться в русской и мировой литературе⁷².

Мазар

Мазар – могила, надгробие, склеп, где захоронен святой, а также вообще места захоронения. Мазары возвышаются или неожиданно появляются из-за холмов пустыни. Этот топос также частотен и многозначен в туркестанском тексте.

«А вон бугры видны, на буграх могилы киргизские, словно дома целые, каменные» (Каразин 1905: 7/116) («С севера на юг»);

«Около дороги лежало довольно большое, изрытое и заросшее бурьяном, мальвами и разными сорными травами пространство, усеянное продолговатыми каменными плитами; над некоторыми из них торчали шесты с повешенными тряпками и железными зубчатыми наконечниками: это было кладбище с бесчисленными могилами правоверных. В стороне видны были два кургана, на вершинах которых сложены были грубые подобию мавзолеев, осененные бунчуками из конских хвостов и медными, пустыми внутри, шарами, висящими на тонкой проволоке: здесь покоились те, которые еще при жизни получили высокий сан святых – столпов мусульманства» (Каразин 1905: 9/83) («Ургут»);

⁷² Подробнее о художественном осмыслении восточного базара см. в кн.: Шафранская 2005.

«...На самом припеке возвышался насыпной курган, вершина которого была увенчана грудой камней, сложенных с некоторою претензией на сооружение. Между камнями были зажаты длинные шесты, украшенные конскими хвостами и металлическими, пустыми внутри, шарами и разноцветными тряпками. Это была могила какого-то, довольно чтимого, святого» (Каразин 1905: 9/139) («Рахмед-Инак, бек Заадинский»);

«Я кинулся к нему на помощь – и помог ему тоже пролезть в мазарку. Я забрался туда последним... В данную минуту мы были относительно в безопасности... Внутреннее помещение нашего убежища было не более четырех квадратных сажен. Свет в него проникал только из входного отверстия, но так как это отверстие было довольно велико, то света было совершенно достаточно, чтобы рассмотреть аляповатые фрески, которыми были испещрены стены мазарки...

В своих прежних этнографических очерках я часто описывал во всех подробностях подобные могильные сооружения номадов, а потому и пропускаю эти подробности теперь, тем более, что в нашем настоящем положении не до того было, чтобы восхищаться наивными рисунками кочевых художников» (Каразин 1905: 9/214–215) («Три дня в мазарке»);

«Мазар этот сложен не просто из глины, а из плитного, жженого кирпича, привезенного издалека; над мазаром хитро выведен высокий купол, у входа фронтон с узорчатой резьбой по карнизу и бортам смело очерченной арки, на внутренних стенах полосами тянутся изображения воинов, пеших и конных, сцены охоты и боя, верблюжьи караваны, боевые доспехи, борзые собаки и парящие ястребы и орлы. Посреди мазара стоит тяжелый, с трех сторон отесанный камень, а на его гладких сторонах, еще до сих пор, видны следы временем источенных надписей. Под этим камнем, чуть не на десятисаженной глубине, зарыт великий богатырь и хранитель степной вольности, Атлар-мулла» (Каразин 1905: 15/109) («Атлар»).

Дервиш

«Великому русскому поэту-этнографу» – такова надпись на венке, возложенном к памятнику Пушкину в день его столетия (1899) президентом Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии Д.Н. Анучиным и его секретарем А.А. Ивановским (см.: Могильнер 2008: 220). Итак, Пушкин – этнограф. К нашему повествованию это замечание имеет самое прямое отношение: Пушкин – в ряду первых русских этнографов – описал дервиша: «Выходя из... палатки, увидел я молодого человека, полунагого, в бараньей шапке, с дубиною в руке и с мехом (outré) за плечами. Он кричал во все горло. Мне сказали, что это был брат мой, дервиш, пришедший приветствовать победителей. Его насилу отогнали», и несколькими строчками раньше: «Увидев меня во фраке, он (паша. – Э.Ф.) спросил, кто я таков. Пушкин дал мне титул поэта. Паша сложил руки на грудь и поклонился мне, сказав через переводчика: “Благословен час, когда встречаем поэта. Поэт брат дервишу. Он не имеет ни отечества, ни благ земных; и между тем как мы, бедные, заботимся о славе, о власти, о сокровищах, он стоит наравне с властелинами земли и ему поклоняются”. Восточное приветствие паши всем нам очень полюбилось» (Пушкин 1948: 475–476).

Пушкинский рассказчик, изображая дервиша, не дает никаких оценок – из тех, которые вскоре после Пушкина появятся в ориенталистском дискурсе: дервиш будет изображаться как фигура враждебная, таинственная, а на рубеже XIX – XX вв. в этнографических публикациях русских востоковедов и в художественных текстах наметится тенденция искоренить всеми возможными средствами этот социальный тип. Если говорить о пушкинской рецепции дервиша, то она, скорее, положительная: «это был брат мой», – напишет поэт.

Опубликованная сначала на английском, потом на немецком языке и вскоре переведенная на русский, книга венгерского путешественника Арминия Вамбери «Путешествие по Средней Азии» (1864 и 1865 гг.), несомненно, оказала вли-

ание на русских востоковедов. Маска дервиша, которую носил Вамбери десять месяцев, позволила увидеть и описать то, что до Вамбери европейский мир не знал.

* * *

Ниже изложен тот дервишеский сюжет, который стал стержнем книги западного путешественника, выступившего в роли «травести», – близко к повествованию Вамбери, с его, сюжета, развитием, кульминацией и развязкой. Именно эту книгу читал Каразин, и она, с уверенностью можно предположить, оказала влияние на последующую каразинскую рецепцию среднеазиатского дервиша.

Арминий Вамбери (далее: АВ) отправился в путь, присвоив себе имя Решид-эфенди и обрядившись в лохмотья, которые подвязал веревкой, как было принято у нищих. Одни говорили Вамбери: «Хаджи Решид... настоящий дервиш, из него выйдет толк» (Вамбери 2003: 34), другие же сомневались в его роли: «“Конечно, он не дервиш, – говорило большинство, – он меньше всего похож на дервиша, так как бедность его одежды резко противоречит чертам и цвету лица”» (Вамбери 2003: 37).

На первых этапах путешествия с АВ были спутники, которые знали о его неофитстве, они учили его и наставляли. Так, один из них заметил, что пора и душой и телом сделаться дервишем (Вамбери 2003: 47) и учиться раздавать людям «фатиха», т. е. делать благочестивое лицо и благословлять, не забывая при этом протягивать руки для получения вознаграждения. Он быстро усвоил надлежащее поведение, «за что всегда получал в подарок войлочный коврик, вяленую рыбу или какую-нибудь другую безделицу» (Вамбери 2003: 48); можно также раздавать нефес (святое дыхание), когда позовут к больному.

АВ хотелось узнать об общественной жизни, семьях и племенах, однако проявленное любопытство было сопряжено с разоблачением.

Глядя на рабов и пленных, АВ пишет: «...На людях мне приходилось поносить этих несчастных и проклинать их, так

как малейшее проявление сострадания возбудило бы подозрения... <...> Как-то раз я думал, что мы совсем одни, и хотел дать ему (рабу. – Э.Ш.) напиться чаю, кто-то вошел в юрту. Тогда я сделал вид, что просто захотел подразнить его, и вместо чая он получил несколько легких ударов» (Вамбери 2003: 53). Когда к берегу приходило судно с добычей, АВ, как предписано дервишу неписанным законом, отправлялся к морякам с требованием десятины (Вамбери 2003: 53). Делал это АВ не потому, что нуждался (хотя очень скоро появится и нужда), а для того чтобы не вызывать подозрений. «Небольшая сумма денег, зашитая в разные места моего нищенского костюма, вместе с довольно богатым урожаем, собранным мною в результате благочестивой деятельности среди туркмен, позволяли мне нанять верблюда...» (Вамбери 2003: 58–59), – по факту раскрывает читателю свои финансовые запасы АВ.

Повествование АВ ритмически сопровождается упоминанием об опасности, о постоянно преследующем его разоблачении: «...Меня начали беспокоить ходившие здесь обо мне смехотворные слухи. Многие видели во мне благочестивого дервиша, однако кое-кто не мог отказаться от мысли, что я – влиятельный посланник султана, говорили, будто я привез с собой тысячу ружей, что я поддерживаю связь с турецким послом в Тегеране и теперь здесь устраиваю заговор против России и Персии. Если бы это дошло до слуха русских в Ашуре, они бы, конечно, посмеялись над этим, но, может быть, стали бы наводить справки о странном чужаке, и тогда раскрытие моего инкогнито могло повлечь за собой жестокую, возможно вечную, неволю» (Вамбери 2003: 59).

АВ, скрывавший свое истинное лицо и свои финансы, был в этой хитрой роли не один, он сам без труда вычислял себе подобных: «Среди вновь присоединившихся к нам спутников... был, кроме того, дервиш по имени Хаджи Сиддик, необычайно искусный обманщик; он ходил полуголый и в пути через пустыню взялся сторожить верблюдов, а при этом, как мы узнали лишь в Бухаре, у него в тряпье было зашито 60 дукатов» (Вамбери 2003: 67).

Среди хитрецов были и такие, которые под маской божьего человека скрывали свою кровожадную сущность: «...Наш Кульхан был знаменит не только как седобородый среди каракчи, но и как суфи (аскет). Это звание он отразил на своей печати и немало гордился им. Зачинщик многих гнусных преступлений, Кульхан являл собою яркий образец бесстыдного лицемера, когда он, сидя среди своих учеников, чьи жестокие руки успели уже разрушить счастье многих семей, излагал им предписания ритуального омовения или правила короткого подстригания усов. И учитель, и ученики казались одинаково воодушевленными, и многие из этих разбойников, сознавая свою набожность, мечтали о сладких наградах рая» (Вамбери 2003: 69–70).

Прозвище «френги» (европеец, или англичанин) то и дело всплывало рядом с АВ, оно держало путешественника в непреходящем напряжении: «Этот гнусный свихнувшийся афганец еще в Этреке болтал, что наш Хаджи Решид, который мог бы поучить его Корану и арабскому языку, – просто переодетый френги...» (Вамбери 2003: 72).

«Опасный» афганец не раз пытался спровоцировать АВ, преследуя свои корыстные цели, и разоблачить. «Он (афганец. – Э.Ш.) с первой минуты принял меня за тайного эмиссара, путешествующего инкогнито в нищенском одеянии со спрятанными сокровищами, которыми он собирался во что бы то ни стало овладеть, запугав меня страшной угрозой – доносом, – пишет АВ. – Он часто уговаривал меня отделаться от этих нищих и идти в компании с ним. На это я отвечал, что дервиш и купец, будучи элементами разнородными, не подойдут друг другу и что речь о настоящей дружбе может идти только в том случае, если он откажется от пагубного порока употреблять опиум, совершит ритуал омовения и прочитает молитвы» (Вамбери 2003: 73).

АВ не всегда вызывал доверие у пограничных чиновников и таможенников. Так, на одном из пропускных пунктов ему было отказано в проезде, однако после долгих споров и возражений удалось уговорить чиновников при условии, что

АВ даст себя обыскать: нет ли у него с собой рисунков и деревянных перьев (карандашей), по которым обычно опознаются френги (Вамбери 2003: 75).

Это убийственное условие – не вести записей, не задавать никому вопросов – было принято АВ, который путем тончайших уловок и ухищрений, с угрозой для жизни, все же вел наблюдения и даже кое-что записывал.

На долгом и трудном пути через пустыни и оазисы АВ заводил друзей и врагов. Одно из расположений было завоевано таким образом: «Халим Мола... полностью доверял моему обличью дервиша, и я не был очень удивлен, когда он попросил меня посмотреть в моем Коране фали (предсказание) для его семьи. Я проделал обычный фокус, закрыл глаза и, на свое счастье, открыл книгу в том месте, где речь шла о женщинах. Толкование арабского текста, а именно в этом, собственно, и кроется все искусство, привело моего юного туркмена в восторг, он поблагодарил меня, и я был в высшей степени рад, что приобрел его дружбу» (Вамбери 2003: 78).

Пережив катаклизмы, сопряженные с моральными и физическими страданиями, – смерч, грозу в пустыне, безводье и жажду, встречу с диким отшельником и др. («Опасность для жизни угрожала мне повсюду; итак, вперед, лучше погибнуть от ярости стихий, чем от пыток тиранов!» (Вамбери 2003: 129), АВ все более приобретал облик истинного дервиша – неухоженного, немытого, презирающего нормы и блага цивилизации. Этот момент ознаменовался таким фрагментом воспоминаний: «Мои спутники открыли по такому случаю (праздника. – Э.Ш.) свои мешки, у каждого была рубашка на смену, только у меня не было. Хаджи Билал хотел одолжить мне свою, но я отказался, так как был убежден, что чем беднее мой вид, тем это безопаснее для меня. Я не мог удержаться от смеха, когда здесь впервые посмотрелся в зеркало и увидел свое лицо, покрытое коркой пыли и песка в палец толщиной. Были такие места в пустыне, где я мог, пожалуй, вымыться, но намеренно не делал этого, полагая, что корка уберет меня от палящего солнца. Это мне,

конечно, удалось в малой степени, и много следов путешествия останется у меня как памятный знак на всю жизнь» (Вамбери 2003: 90–91).

Когда была достигнута Хива – одна из желанных целей АВ, случился инцидент, который мог поставить точку и в дальнейшем путешествии АВ, и в его жизни – неверных, и тем более обманщиков, ждала смертная казнь. АВ вспоминает: «... Афганец ...громко крикнул: “Мы привели в Хиву трех интересных четвероногих и одного не менее интересного двуногого”. Первый намек относился к еще невиданным в Хиве буйволам, а так как второй указывал на меня, то неудивительно, что множество глаз тут же обратилось в мою сторону, и вскоре я слышал произнесенные шепотом слова: “Джансиз (шпион), френги и урус (русский)”» (Вамбери 2003: 94). Но АВ, с одной стороны, везло, с другой – он прекрасно играл свою опасную роль. Когда его привели к влиятельному хивинскому баю, он сумел отвести от себя опасность: «“Но бога ради, эфенди, что заставило тебя прийти в эти страшные страны, да еще из Стамбула, этого земного рая?” Я отвечал с глубоким вздохом: “Йа пир!” (“О пир!”, т. е. священный владыка), положив руку на глаза, что является знаком должного послушания, и добрый старик, хорошо образованный мусульманин, смог легко догадаться, что я принадлежу к некоему ордену дервишей и послан моим пиром в путешествие, которое обязан совершить каждый мюрид (послушник ордена дервишей). Это объяснение доставило ему радость, он спросил только о названии ордена, и, когда я назвал ему Накшбенди, он уже знал, что целью моего путешествия была Бухара» (Вамбери 2003: 95).

На следующий день к АВ пришел ясаул (дворцовый офицер) и передал приказание явиться в арк (дворец) и благословить хана чтением первой суры Корана, так как хазрет (титул правителей в Средней Азии, соответствующий нашему «величество») непременно хочет получить благословение от дервиша родом из святой земли (Вамбери 2003: 96).

«...Обо мне объявили как о дервише, мой покровитель не преминул отметить, что я знаком со всеми знатными пашами

в Константинополе и посему желательно произвести на меня как можно более благоприятное впечатление. <...> Далее он (хан. – Э.Ш.) спросил меня, как долго я думаю здесь пробывать и есть ли у меня средства, необходимые для путешествия. Я ответил, что сначала посетю всех святых, покоящихся в благословенной земле ханства, а затем отправлюсь дальше; относительно моих средств я сказал, что мы, дервиши, не затрудняем себя такими земными мелочами. Нефес (святой дух), данный мне моим пиром (главным лицом ордена) в дорогу, может поддерживать меня 4–5 дней безо всякой пищи, и единственное мое желание – чтобы господь бог даровал прожить его величеству 120 лет.

Мои слова, кажется, понравились, потому что их королевское высочество соизволили подарить мне 20 дукатов и крепкого осла. От первого дара я отказался, заметив, что у нас, дервишей, считается грехом обладать деньгами, но поблагодарил за другой знак высочайшей милости и позволил себе напомнить о священном законе, разрешающем паломникам иметь для путешествия белого осла, какового выпросил себе и я» (Вамбери 2003: 97–98).

В Хиве, рассказывает АВ, ему жилось превосходно, «благодаря операциям с благословениями и раздачей святого дыхания». Этот божественный товар позволил ему накопить около 15 золотых дукатов (Вамбери 2003: 105). Когда хивинский хан пригласил АВ на беседу, она велась исключительно о политике. И чтобы оставаться верным роли дервиша и не выдать себя, АВ был немногословен, взяв за правило, чтобы собеседник буквально выжимал из него каждую фразу (Вамбери 2003: 106).

Время, проведенное в Хиве, АВ будет вспоминать как самое кульминационное по впечатлениям и отношению к нему, самое удачливое во всем его среднеазиатском походе. О Хиве он вспомнит, находясь в лицемерной, как пишет АВ, Бухаре. «Несмотря на всю дикость обычаев, несмотря на все эти сцены, дни, которые я прожил инкогнито в Хиве и ее провинциях под видом дервиша, были самыми прекрасными в моем путе-

шествию. Если к хаджи хивинцы были просто дружелюбны, то ко мне они были особенно добры, и если я показывался в людных местах, бросали мне деньги, одежду и другие подарки без всяких моих просьб. Я остерегался принимать большие суммы; многое из полученной одежды я роздал моим менее удачливым спутникам, всегда отдавая им лучшее и самое красивое, а что победнее и поскромнее оставлял себе, как и подобает дервишу» (Вамбери 2003: 109), – пишет АВ.

На дервишеском пути АВ поджидали и искушения, от которых было необходимо как можно правдоподобнее отказаться. Известно, что в практиках дервишества присутствуют наркотические средства. Предложение отведать пьянящее зелье надо было отклонить так, чтобы не вызвать подозрений. На ночевке недалеко от Хивы, в калантархоне (приюте для дервишей), АВ заметил двух полуголых дервишей, которые только что собрались проглотить обеденную дозу опиума, гостеприимно предложив и АВ: «...были очень удивлены, когда я отказался» (Вамбери 2003: 122); «В Шурахане... <...> ...я увидел несколько дервишей, которые лежали в своих мрачных кельях на сыром полу, страшно обезображенные и похожие на живые скелеты вследствие злоупотребления опиумом бенг (изготавливаемым из конопли) и джерс. Когда я им представился, они меня очень радушно приветствовали и велели принести хлеба и фруктов. Я хотел дать им денег, но они засмеялись; мне сказали, что многие из них уже 20 лет не держали в руках денег. Окрестное население содержит своих дервишей, и действительно, в течение дня я видел, как приезжали представительные всадники-узбеки и каждый из них что-нибудь привозил с собой, получая за это чилим (трубку), из которого он сосал свой любимый яд» (Вамбери 2003: 124).

И опять нескончаемые природные катаклизмы, а отсюда и физические страдания – измученный жаждой, потерявший сознание, но спасенный АВ был на грани разоблачения: «Около полуночи мы тронулись в путь, я заснул, а когда проснулся утром 10 июля, то оказался в глиняной хижине в окружении длиннобородых людей, в которых сразу узнал сынов Ирана. Они

говорили, обращаясь ко мне: “Шума ки хаджи нистид!” (“Вы же не хаджи!”). У меня не было сил отвечать» (Вамбери 2003: 132).

Наконец АВ прибыл в Бухару. На центральной площади Ляби-Хаус, рядом с мечетью, под деревьями сидели дервиши и медах (рассказчик), который повествовал в стихах и прозе о подвигах знаменитых воинов и пророков. Через Ляби-Хаус проходила еженедельная процессия – около пятнадцати дервишей из ордена Накшбенди, резиденция которого находится в Бухаре. АВ был впечатлен увиденным: «Я никогда не забуду, как эти одержимые люди в длинных конусообразных колпаках, с развевающимися волосами и длинными посохами прыгали, как безумные, в то время как хор ревел гимн, отдельные строфы которого сначала пел им седобородый предводитель» (Вамбери 2003: 139–140). Здесь, как и повсюду, АВ привлекает к себе внимание: «Хотя на мне был строгий бухарский костюм и солнце меня так обезобразило, что даже родная мать вряд ли узнала бы меня, все же, где бы я ни оказался, меня окружала толпа любопытных, которые мне очень докучали рукопожатиями и объятиями. Благодаря огромному тюрбану и большому Корану, который висел у меня на шее, я приобрел внешность ишана или шейха и должен был делать вид, что мне нравится это бремя. Зато святость моего сана защищала меня от вопросов любопытствующих мирян, и я слышал, как люди вокруг меня расспрашивали обо мне моих друзей и шептались между собой» (Вамбери 2003: 140). Однако, как пишет АВ, в Бухаре он ни разу не возбудил подозрения народа. К нему приходили за благословением, его слушали, когда он в общественных местах читал историю великого шейха Багдада, его хвалили; но при этом никто не дал ему, как это случалось в добухарском отрезке путешествия, ни одной монеты. Таким образом, заключает АВ, здесь, в Бухаре, народ отличался ложной святостью, в отличие от своих соплеменников из Хивы, наделенных истинной набожностью.

А вот с властями Бухары у АВ складывалось все не просто. Рахмет-бий, тот самый, который упоминается в главе «Каразин и Вамбери» данной книги (он выполнял во время

прибытия АВ в город функции эмира бухарского), непрерывно подсылал к АВ шпионов, которые в разговорах все время касались Френгистана (Европы), в надежде, что АВ каким-нибудь замечанием выдаст себя. «Чаще всего этими ищайками были хаджи, которые по многу лет жили в Константинополе и хотели проверить мое знание языка и жизни в этом городе, – пишет АВ. – Долго и терпеливо выслушивая их, я обычно делал вид, что мне это надоело, и просил пощадить меня и не рассказывать о френги» (Вамбери 2003: 140–142).

Когда Рахмет-бий понял, что скомпрометировать АВ никак не удастся, он пригласил подозрительного путешественника на плов, в гости, среди которых должны были быть бухарские улемы⁷³. «Придя к нему, я понял, что мне предстоит тяжелое испытание, так как все заседание было созвано для того, чтобы устроить мне своего рода экзамен, во время которого мое инкогнито должно было пройти боевое крещение. Я сразу заметил опасность и, чтобы меня не застал врасплох тот или иной вопрос, сделал вид, что стремлюсь все узнать, и сам задал этим господам множество вопросов по поводу различий между религиозными принципами... <...> После этого я жил в Бухаре довольно спокойно» (Вамбери 2003: 143), – так в очередной раз обхитрил АВ своих потенциальных палачей.

Не раз АВ сетует о том, как не щедры были бухарцы: никаких подаваний. Все засекреченные средства АВ растратил, сбережений после посещения Бухары не осталось совсем – это была новая неприятность, усложнявшая дальнейшее путешествие. Однако одна мысль давала силы, а именно: «Мысленно я бросил взгляд на расстояние, которое оставалось позади, и увидел, что даже теперь у меня нет предшественников ни в отношении длины пути, ни в способе его преодоления» (Вамбери 2003: 165).

Интересным представляется фрагмент бухарской стоянки АВ: «...Был объявлен арз, или публичная аудиенция. Я воспользовался случаем, чтобы представиться эмиру... и был

⁷³ Улемы – мусульманские богословы и законоведы, духовные наставники, совершившие паломничество в Мекку.

очень удивлен, когда при входе во внутренний арк нас остановил мехрем и сообщил, что бадевлет (его величество) желает видеть меня одного, без спутников. Не только я, но и мои друзья заподозрили недоброе. Я последовал за мехремом... Эмир возлежал на красном суконном матраце в окружении рукописей и книг. Я быстро собрался с духом, прочитал короткую суру с обычной молитвой за здоровье государя и, произнеся “аминь”, которому вторил эмир, не дожидаясь разрешения, сел рядом с повелителем. Мое смелое поведение, вполне соответствовавшее, впрочем, званию дервиша, удивило эмира. Я давно разучился краснеть и потому спокойно выдержал пристальный взгляд эмира, который хотел, очевидно, смутить меня.

– Хаджи, ты, как я слышал, приехал из Рума для того, чтобы посетить могилу Баха ад-Дина и других святых Туркестана.

– Да, таксир (мой повелитель), но вместе с тем и для того, чтобы насладиться созерцанием твоей благословенной красоты... <...>

– Странно! И у тебя не было никакой другой цели? Ведь ты прибыл сюда из столь дальних краев.

– Нет, таксир! С давних времен моим самым горячим желанием было увидеть благородную Бухару и чарующий Самарканд... <...> ...У меня нет никаких других занятий, и уже давно я стал джихангеште (странствующим по миру) и перехожу с места на место.

– Как? Ты – со своей хромой ногой – джихангеште? Просто поразительно.

– Таксир, я – твоя жертва (равносильно нашему “извини”). Твой прославленный предок страдал тем же недостатком, а ведь он был джихангир (победитель мира)» (Вамбебри 2003: 167–168), – ответил АВ, прозрачно намекая на Тимур-ленга (что значит хромой), или Тамерлана.

К прочим испытаниям, несущим страдания, добавился укус скорпиона, АВ вспоминает: «...Боль сделалась еще более невыносимой, и после нескольких часов страданий я лишил-

ся всякой надежды, о чем свидетельствует то обстоятельство, что, забыв о своем инкогнито, я начал громко и, как показалось татарам... несколько странно стонать и жаловаться, потому что у них такие звуки издают обычно только при ликованиях» (Вамбери 2003: 176).

Однако по прошествии физических страданий АВ заключает: «Невелики... плоды моего путешествия, думал я, но я везу самый ценный для меня приз – жизнь» (Вамбери 2003: 177). Тем не менее роль дервиша продолжалась еще долго: «... Вечером все вместе спели телькины, которые я велел сопровождать зикром, т. е. во всю глотку прокричали две тысячи раз “Йа-ху! Йа-хакк!”» (Вамбери 2003: 181).

АВ мечтал как можно скорее достичь Тегерана, где, как ему казалось, он будет в безопасности, так как там есть английское посольство, там его друзья. Но путь туда был не скор: «Меня беспокоило будущее, особенно приближающаяся зима, потому что до персидской границы было еще далеко, а все попытки увеличить кассу кончались неудачей. Впрочем, я находил утешение в своем собственном опыте: дервиш, хаджи, нищий никогда не уйдет с пустыми руками из дома узбека, я мог повсюду надеяться на кусок хлеба и на фрукты, кое-где могли дать и старую одежду, а этого вполне хватило бы для продолжения путешествия. Читатель хорошо понимает, что мне пришлось страдать и страдать очень много, но тяготы мне облегчали привычка и надежда возвратиться в Европу. Я сладко спал под открытым небом на голой земле и считал себя счастливым уже потому, что не надо было больше постоянно бояться разоблачения и мученической смерти, потому что нигде больше не сомневались в том, что я – хаджи» (Вамбери 2003: 184); «Я думал, что уже близок конец моему маскараду и моим страданиям. К сожалению, я ошибался. Первый же встреченный мною афганский чиновник затмил своей жестокостью и варварством среднеазиатских представителей власти, и все, что мне рассказывали об ужасах афганского таможенного досмотра, показалось мне слабым в сравнении с тем, что я здесь увидел» (Вамбери 2003: 193); «Пе-

страя толпа, которую я встретил в Герате, произвела на меня приятное впечатление. <...> ...Я в стране, где мне больше не надо бояться исламского фанатизма и где я могу постепенно отказаться от надоевшей маскировки. Да, оттого что я увидел разгуливавших вокруг солдат со сбритыми усами, что по исламу считается смертельным грехом и даже в Константинополе рассматривается как отречение от религии, меня охватила радостная надежда, что, может быть, я встречу здесь английских офицеров. Как был бы я счастлив, если бы нашел здесь сына Британии, который при тогдашних политических обстоятельствах обладал бы, конечно, влиянием! Я забыл, что Восток никогда не бывает тем, чем он кажется, и разочарование мое было, к сожалению, очень горьким» (Вамбери 2003: 197).

В поисках источников помощи для дальнейшего путешествия в Мешхед АВ пошел к шестнадцатилетнему сыну короля Афганистана. Благодаря большим тюрбанам, которые АВ и его спутники надели на себя, и виду отшельника, который АВ приобрел вследствие трудного путешествия, толпа расступилась и беспрепятственно пропустила АВ в зал. Он вошел с приветствием, подобающим положению дервиша, направился, не обратив на себя особого внимания общества, прямо к принцу и сел между ним и везиром, потребовав у этого довольно толстого офицера подвинуться, причем АВ пришлось прибегнуть к помощи рук. Это вызвало смех, однако АВ, ничуть не изменяя себе, сразу поднял руки, чтобы произнести сидячую молитву. Пока он это проделывал, принц пристально смотрел на него и был поражен. А когда АВ сказал «аминь» и все присутствующие вместе с ним погладили бороды, принц приподнялся в кресле и воскликнул, показывая на АВ пальцем, полусмеясь, полуудивленно: «Валлахи, биллахи шума инглиз хастид!» («Ей богу, клянусь, вы англичанин!»). АВ сделал вид, что шутка оказалась грубоватой, и сказал: «Сахиб мекун («Оставь»), ты ведь знаешь слова: «Кто правоверного даже в шутку назовет неверным, сам станет неверным». Дай мне лучше что-нибудь за мои фатехи, чтобы я мог отправиться дальше». Серьезный вид АВ и хадис, который он произнес,

привели молодого человека в замешательство, и, пристыженный, он сел и извинился, сказав, что никогда не видел хаджи из Бухары с такими чертами лица. АВ ответил, что он не из Бухары, а из Константинополя, и, когда он предъявил ему для доказательства свой паспорт, принц, казалось, изменил свое мнение (Вамбери 2003: 198–201).

Так мытарства, связанные с игрой в инкогнито, продолжались на протяжении всего пути АВ, то умаляясь, то вновь усиливаясь: «...Если одни считали меня истинным турком, то другие пытались обнаружить во мне англичанина, партии ссорились между собой, и было забавно наблюдать, как последние одерживали победу над первыми, между тем как я по мере нашего приближения к Мешхеду все более освобождался от своего униженного положения дервиша и становился европейцем» (Вамбери 2003: 205).

Вожделенная поначалу роль дервиша в итоге стала ненавистна ее исполнителю: «В Мешхеду я вместе с маской тягостного инкогнито мог сбросить обтрепанную одежду и угнетающую бедность и забыть многочисленные страдания опасного приключения, продолжавшегося несколько месяцев» (Вамбери 2003: 206).

Наконец АВ встретил первого европейца: «Я... увидел, что передо мной стоит стройный молодой британец в европейском военном мундире. <...> Мой голос заставил его вспомнить обо мне, о моих приключениях, которые он частично знал. Не отвечая, он бросился ко мне, обнял и, как дитя, заплакал, увидев меня жалким и оборванным. При первом же объятии множество насекомых, которыми кишела моя одежда, перешли на него. Он едва обратил на это внимание, но по его вопросам: “Ради бога, что вы наделали? Что с вами стало?” – я понял, какие изменения оставило на моей внешности это опасное приключение» (Вамбери 2003: 209).

Наступил заключительный этап путешествия, который позволил многое осмыслить – как самому АВ, так и его единомышленникам и соотечественникам. «Меня чрезвычайно забавляло, что благодаря костюму и разговору – среднеази-

атский диалект стал для меня из-за длительного пользования им почти совсем естественным – все прочие спутники-пилигримы считали меня настоящим бухарцем. Напрасно я убеждал их, что я сын прекрасного Стамбула; все отвечали мне лукаво: “Да, знаем мы вас, бухарцев; здесь, у нас, вы хотите перекараситься, потому что боитесь возмездия за свою жестокость. Но вы напрасно стараетесь; мы всегда видим вас насквозь!” Итак, бухарец – в Мешхеде, в Бухаре – мешхедец, в пути – русский, европеец или еще какая-нибудь мистическая личность! Что еще люди из меня сделают? Подобные предположения и подозрения, к счастью, не представляли серьезной опасности здесь, где по крайней мере существует хоть какая-то тень системы правления. В далекой Азии все и вся выступают инкогнито, но особенно странники. Как вздымалась моя грудь при мысли, что скоро я уеду из этого мира обмана и притворства на Запад, который со всеми его пороками все-таки стоит бесконечно выше древнего Востока, на Запад, где лежит моя родина, желанная цель моих стремлений» (Вамбери 2003: 212–213).

Уже в самом конце пути с АВ произошел весьма опасный и напряженный инцидент: он отдыхал после долгого пути в номере гостиницы Ахуана, что в предместье Тегерана, и к нему ворвалась свита правоверных: «“Вставай! Выходи!” <...> “Кто ты, собственно? Говори же! Кажется, ты не хаджи”, – раздалось из-за двери. “Какой хаджи! Кто хаджи! – воскликнул АВ. – Не произносите этого мерзкого слова, и я не бухарец и не перс, а имею честь быть европейцем! Меня зовут Вамбери-сахиб”. После этих слов на мгновение стало тихо. Люди, казалось, были ошеломлены, но больше всех был потрясен мой татарин (друг и спутник АВ. – Э.Ш.), который впервые узнал это имя от своего спутника-хаджи, а теперь из собственных уст благочестивого мусульманина услышал, что тот, оказывается, неверный. Бледный как смерть, он уставился на меня большими глазами. Я оказался между двух огней. Многозначительное подмигивание успокоило моего спутника, да и персы изменили свой тон...» (Вамбери 2003: 222–223).

Когда АВ достиг, наконец, ворот Тегерана, они были уже закрыты. Ночь он провел в новом караван-сараяе, а когда на следующее утро проезжал через забытый народом базар, рассыпая проклятия и удары, как это было принято на Востоке, он слышал, как некоторые персы с раздражением и удивлением восклицали, глядя на него: «Что за дерзкий бухарец!» – таким образом к концу путешествия метаморфоза АВ в дервиша была окончательной.

АВ по пути через базар встретил несколько европейцев, которые вначале не узнали его в дервишеском облачении, но потом заключили в крепкие объятия. Когда АВ подъехал к воротам турецкого посольства, он испытал радость при виде оставленных прежде мест и друзей, которых покинул десять месяцев назад, будучи полным самых смелых и фантастических планов. Ведь все полагали тогда, что АВ идет навстречу явной гибели, и до сегодняшнего дня считали, что он стал жертвой среднеазиатского коварства и варварства (Вамбери 2003: 225).

Заключая свой сложный среднеазиатский путь, АВ напишет: «Если так странствовать, как я, если так вжиться в татарскую сущность, как вынужден был сделать я, то, разумеется, неудивительно, что сам становишься татарин. Настоящее инкогнито, когда в чужом облике хорошо сознаешь свое собственное прежнее существо, длится очень короткое время; полная изоляция и постоянное чужое окружение преобразуют человека *volens volens*. Напрасно путешественник будет сопротивляться этим изменениям, потому что прошлое вытесняется свежими впечатлениями и отходит на задний план, а псевдосуществование помимо его желания действительностью.

Эти изменения в моем существе и поведении, тотчас замеченные моими европейскими друзьями, дали им материал для разговоров. Смеялись над моими приветствиями, жестикуляцией, во время беседы, над походкой и особенно над моим образом мыслей; многие утверждали даже, что глаза у меня стали чуточку более раскосыми, чем раньше. Наблюдения эти очень

часто забавляли и даже веселили меня; однако не могу не отметить странного чувства, которое закрадывалось мне в душу при мысли, что мне нужно вновь привыкать к европейскому образу жизни. <...> Прежде всего, слишком тесной и давящей мне казалась одежда⁷⁴; волосы, которые я начал отращивать, ощущались грузом на голове, а когда я слышал, как несколько европейцев, стоя в комнате друг против друга, разговаривают, оживленно жестикулируя, мне всегда представлялось, будто они все так возбуждены, что в следующий момент вцепятся друг другу в волосы» (Вамбери 2003: 226).

* * *

Роль травести в весьма опасных условиях представила миру европейскую рецепцию дервишества, повлиявшего своими рефлексивными суждениями и наблюдениями и на русских писателей, современников Вамбери, среди которых, без сомнения, был и Н.Н. Каразин.

Имамы и дервиши (духовное лицо и божий странник) в качестве примет ориентализма прочно вошли в русский дискурс в 1860–1880 гг. Н.С. Лесков, мастер каламбуров, не преминул пошутить, воспользовавшись языковым приемом диссимилиации: «И мамы, и дербыши», – не раз повторяет Иван Флягин, очарованный странник Лескова, пересказывая слушателям свои впечатления о татарской степи.

В прозе Н.Н. Каразина образ дервиша вписан в вамбери-евскую матрицу – не очень честный, загадочный, себе на уме, даже опасный субъект. Дервиши кочуют по всем произведе-

⁷⁴ В рецензии на книгу Вамбери «Очерки жизни и нравов Востока» (1876) автор-аноним отмечает совершенно противоположные вамбериевские рефлексии, например: «Это желание придать себе величественный вид при помощи просторных, пышных одеяний, – говорит Вамбери, – всегда казалось мне детским и варварским, но еще менее нравилось мне в восточном покрое платья то, что оно мешает всякому занятию, так как, действительно, стоит только взглянуть на магометанина, закутанного до самых пяток, и костюм его тотчас же выразит ясно, что человек этот рожден для лени и бездействия» (Дело 1877: 98).

ниям Каразина. Особо красочно они представлены в романе «Погоня за наживой»:

«Гремя в бубны и уныло распевая стихи Корана, бродят странствующие нищие монахи, “дивона”, и выбирают место посуше и полудней, где бы удобно было начать свои проповеди» (Каразин 1905: 3/207–213);

«Звуки бубна и погремушек медленно приближались... <...> – Святые идут! – пронесся крик из толпы.

– Дорогу, дорогу дайте!.. <...> Серединою улицы шла группа “дивона” из шести человек. Грязные, покрытые салом, присохшими объедками, на несколько шагов вокруг заражающие воздух халаты не доставали до колен и рваною бахромою трепались по голым, костлявым ногам монахов. Эти халаты пестрели самыми разнообразными цветами; казалось, они были сшиты из всевозможных образчиков материй, так они были покрыты заплатами. У каждого через плечо висела холщовая сума на веревке. Поясы у всех были обвешаны кисточками, звонками и разными путевыми предметами; главную роль тут играли ножи, сверкавшие, несмотря на грязь и нищету всего костюма, серебряными бляшками и белыми костяными головками черенков. На головах <...> надеты были высокие, конусообразные шапки, клетчатые – черное с зеленым; края этих шапок оторочены были бахромою, совершенно сливающеюся с грязными, сбитыми в колтун волосами.

Эти шапки “дивона” почти никогда не снимают. Что должно быть там, под этими тяжелыми, теплыми колпаками?

Полосы грязного пота струились по исхудалым, фанатическим лицам. Босые ноги тяжело, без разбору дороги ступали и месили уличную грязь, никогда не просыхающую под навесами базаров.

За спинами этих юродивых висели большие бубны, затянутые бычачьим пузырем и обвешанные бубенчиками и побрякушками. Станный, чрезвычайно неприятный, раздражающий нервы, сухой металлический звук издавали эти инструменты при каждом движении дивона.

В руках у них были тяжелые, точеные палицы из темного ореха, окованные железом, снабженные на концах острием в виде пики.

Шли эти монахи все пятеро в ряд, заняв почти всю ширину улицы. Один, шестой, шел впереди, мерно, через шаг удаляя в бубен кусочком толстой подошвенной кожи.

Это был совсем уже одряхлевший старик. Он шел, согнувшись в пояснице и ковыляя на своих кривых ногах, тощих, как ноги скелета, чуть обтянутые кожей. Беззубый рот шевелился, причитая что-то непонятное. Из-под косматых, совершенно седых бровей тупо смотрели желтоватые бельма и придавали лицу что-то страшное, отталкивающее.

– Сам “Магома-Тузай”, слепой “Магома”! – тихо, шепотом пробежало в толпе» (Каразин 1905: 3/210–211).

Как видим, восприятие Каразиным дервиша прозрачное и настроенное – типичный взгляд ориенталиста.

В романе «Наль» тема дервиша продолжена Каразиным: «На фронтоне мечети, ярко освещенная заревом огней, появилась странная человеческая фигура. Это был дивона, в ярких лохмотьях, весь обвешанный предметами своей профессии: выдолбленными тыквянками, связками амулетов и металлических побрякушек, ножами всех видов и размеров, – все это колыхалось, шелестело и дребезжало при каждом малейшем движении юродствующего фанатика. На его голове, поросшей густыми, черными, сбитыми колтуном волосами, торчала высокая коническая шапка, опущенная внизу бараньим мехом. Обнаженная, сухая, как у мумии, грудь носила следы глубоких порезов и увечий, наносимых в минуты религиозного вдохновения. Его лицо также было до ужаса изборозжено шрамами. Глаза горели сумасшедшим, иступленным блеском. Левою рукою он держал посох, снабженный длинным, трехгранным острием; правая, вооруженная громадным бубном, потрясала его над головою фанатика.

Показавшись на фронтоне, дивона неистово завопил, покрыв этим диким звуком все, что слышно было кругом, подпрыгнул кверху, завертелся, изобразил из себя нечто вроде громадного, пестрого волчка и вдруг ринулся с высоты вниз,

глухо хлопнувшись о сухую, утрамбованную тысячами ног, глинистую почву. <...> – Очистительную жертву принес! – прошептал Ибрагим-бай.

– Святой! Святой! – слышался голос в толпе» (Каразин 1905: 5/40);

«Стихните вы все и послушайте слова человека вдохновенного, особою милостью Божьею взысканного... Кушк-Аул, расскажи им свое видение!

Какая-то безобразная масса разноцветных отрешев, прижавшаяся к самому стволу дерева, поднялась и медленно выдвинулась на самую середину круга. <...> Говорю я: “О, Пророк! Что это за земля, постигнутая таким страшным бедствием?”, и отвечает мне Пророк: “это страна ваша!” Залился я слезами и говорю: “Великий! Чем отвратить это, чем умиловить гнев Аллаха?!” Вынул тут Пророк из своих золотых ножен свою саблю, и заблестал клинок алмазами и изумрудами, тронул меня он концом этого клинка сюда, под сердце, брызнула кровь и полилась на землю... и великое чудо увидели глаза мои, недостойные. Едва только капля крови моей достигала земли, там свершалось дивное превращение: падала кровь на песок, и покрывался этот песок зеленою травой и ароматными розами, падала капля на высохшее ложе ручья, и по нем полились светлые струи, падала на кости мертвые, и вставали эти кости цветущими юношами... “Боже”! Воскликнул я. “Пролей скорее всю мою кровь до последней капли и ороси ею несчастную землю, правоверную!” <...> Замолк дивона, грянулся ничком на землю и забился в нервной судороге...» (Каразин 1905: 5/46);

«...Вдруг сверху, словно с неба, раздался нечеловеческий крик... Кушк-Аул, введенный в мечеть, вырвался из рук учеников Годдая и, заметив ход наверх, как кошка, взобрался по лестнице. Вся его безобразно-дикая фигура появилась на высоком гребне фронтона.

– Крови моей надо... берите! – закричал юродивый и бросился вниз головою...» (Каразин 1905: 5/51).

В этих фрагментах из «Наля» в изображении дервиша появляются новые ноты: дервиш, чтобы «разбудить» соплемен-

ников, вывести их из «спячки», наставить на путь истинный, как он его понимает, как диктуют его убеждения, жертвует своей жизнью. В этой статье дервиша главные характеристики – не его внешний облик – неопрятный и отталкивающий, а его страстотерпство.

В следующем фрагменте дервиш – подстрекатель к действию против неверных: «А на базаре и на перекрестках улиц бродили юродивые-дивоны в пестром тряпье и высоких конических шапках, заунывным голосом вопили строфы Корана, призывая правоверных к восстанию. Муллы в мечетях говорили то же, не так открыто, впрочем, как те, блаженные; но народ, наученный горьким опытом, слушал, не возражая, и угрюмо молчал, выжидая хода событий, более выясняющих волю премудрого Аллаха» (Каразин 1905: 5/87–88) («Наль»).

В ряде других произведений Каразина дервиш изображается как типично ориенталистская деталь восточного быта; в романе «С севера на юг»: «Ругаются купцы, ругаются прохожие, ругается юродивый, “дивона”, за то, что мало дают ему за его присказки да пенье...» (Каразин 1905: 8/439); в рассказе «Юнуска-головорез»: «...Говорили громко, нараспев, сильно жестикулируя и пронзительно вскрикивая по временам. Это были мнимые помешанные, юродивые (“дивона”), отрешившиеся от мирской жизни, предвещатели, – люди, пользующиеся большим авторитетом в полудиких народных массах, бродящие всю свою жизнь с одного места на другое, ярые фанатики сами по себе, публичные певцы и ораторы, рассеивающие фанатическое озлобление и ненависть ко всему не мусульманскому вообще и русскому в особенности» (Каразин 1905: 9/122), и др.

Интересно, в виде сопоставления, посмотреть, как изображается дервиш глазами человека культуры, взрастившей его. В романе узбекского писателя Абдуллы Кадыри «Минувшие дни» находим такой фрагмент: «...Люди в чайхане... явно скучали, когда вдруг вошел юродивый – кавак-дивана, у него на поясе висели тыквы. <...> Тот, кого мы называли “Дивана”⁷⁵, или “Кавак-дивана”⁷⁶, был худой, средних лет человек

⁷⁵ Дивана – юродивый (коммент. изд-ля Кадыри).

⁷⁶ Кавак-дивана – юродивый с тыквами (коммент. изд-ля Кадыри).

с жиденкой бородкой, со старой шапкой наперекор жаркому солнцу на голове, одетый в стеганный драный халат, из которого отовсюду лезла вата, опоясанный несколько раз новым бязевым поясом, на котором висело множество разных тыкв – от чилим-кавака⁷⁷, горлянок и до нас-кавака⁷⁸. Под их тяжестью он еле передвигал ноги.

Дивана этот был хорошо известен всему Ташкенту, даже бекам и знати; одним словом, это был юродивый, имевший в городе многих почитателей своего таланта, “святой”, перед которым люди преклонялись, молва о творимых им чудесах передавалась из уст в уста. Все в городе его привечали, даже те, кто не верил в его чудеса, забавлялись его чудачествами и всякими выходками. А посетители чайханы, куда он пришел, были из таких» (Кадыри 2009: 166–167).

Дервиш поведал собравшимся о своих тыквах, что висели на поясе: «Отцом моим была винная тыква, матерью же приходится машкавак⁷⁹. <...> Вот эта – хромой Мусульманкул!

Затем ткнул в крошечную тыквочку – “тамаша⁸⁰-кавак”, висевшую рядом с первой:

– А это – Худай-бача, Худаяр!⁸¹

Вслед, погладив большую горлянку, молвил:

– Вот эта – большеголовый Нар⁸². А вот эти – табакерки, тоненькие шейки, – сказал он, показывая на маленькие, аккуратные тыквочки, висевшие рядом» (Кадыри 2009: 168).

Из приведенного фрагмента вырисовывается картина отношения к дервишам среди простого люда, местного, коренного населения, – это отношение иное, чем у пришлых людей, видевших в дервише опасность. Надо отметить, что

⁷⁷ Чилим-кавак – тыква, применяемая после высушивания для чилима (коммент. изд-ля Кадыри).

⁷⁸ Нас-кавак – тыква, в которой после ее высушивания хранится нас (коммент. изд-ля Кадыри), или насвай (Э.Ш.).

⁷⁹ Машкавак – тыква под машевую кашу (коммент. изд-ля Кадыри).

⁸⁰ Тамаша – вечер увеселений, развлечений.

⁸¹ Подразумевается Худаяр-хан (коммент. изд-ля Кадыри).

⁸² Имеется в виду Нармухаммед-кушбеги (коммент. изд-ля Кадыри).

подобное – настороженное – представление о дервише тиражируется в русской литературе до сих пор.

Так, в советском романе «Гнет» дервиш – шпион и злодей: «Задумавшись, Умар-ата не заметил появления дервиша. Неслышно ступая босыми ногами, он подошел к айвану, пробормотал молитву, опустился на корточки, положив перед собой дорожный посох.

Вздвигнув от неожиданности, Умар-ата ответил на приветствие, но невольно подумал: “Ходит, как шакал, подкрадывается. Опасный человек. Что ему надо?” <...> Сундуки со свитками и книгами были открыты. При свете светильника дервиш рылся в рукописях. Поглощенный этим занятием, не заметил прихода хозяина. <...>

– Правоверный, нашел ли ты среди рукописей то, что искал?

У дервиша похолодело сердце» (Алматинская 1969: 1/114–116).

Дервиш – как ориенталистский паттерн – удивительно живуч: его по-прежнему изображают как опасную и загадочную фигуру. В романе XXI в. настороженность к фигуре дервиша прежняя: «...Яша немедленно и жарко ворвался в вихрь этих лет (речь идет о 1920-х гг. – Э.Ш.): какое-то время крутился на орбите Блюмкина, даже уходил с ним в Персию, где под видом двух дервишей за четыре месяца они подготовили революцию в северных провинциях, свергли мятежного шаха и сколотили из сомнительных отбросов компартию, попутно провозгласив Гилянскую советскую республику» (Рубина 2014: 1/135). Меняется только вектор «опасности»: если в советском дискурсе дервиш «лил воду» на контрреволюционные силы, то в современной – наоборот.

Таким образом, фигура дервиша была и остается паттерном туркестанского текста, а значит – образом поэтики ориентализма⁸³.

⁸³ Тем не менее в литературе XX – XXI вв. существует иной вектор дервишества и фигуры дервиша: в его основе – экзистенциологема суфизма, не имеющая ничего общего с пропагандистским клише ориентализма. Подробнее об этом см.: *Томилова Н.А.* Мотив

Баранта

Некоторые слагаемые туркестанского текста провоцируют собирать их в виде деталей-«бусинок» и нанизывать на нить – в итоге образуется отдельная главка в данной книге.

Ряд других, не менее значимых деталей и мотивов, они же слагаемые туркестанского текста, достаточно лишь обозначить, так как на нить они не нанизуются – это целые сюжетные повороты и ходы в прозе Каразина⁸⁴. К таковым относится изображение грабежей, или баранты. Собственно, большая часть прозы писателя, описывающей завоевание Средней Азии русскими, сводится к конфликту между пришлыми, колонизаторами, и теми, на чью землю они пришли. И те и другие грабят. *Баранта* – грабеж, *барантаци* – бандиты, грабители (в русском языке XX в. слово трансформировалось в *басмачи*: грабительский вектор соединился с религиозно-политическим, был направлен против новой власти⁸⁵).

Если вполне естественна была баранта со стороны туземных разбойников, грабивших караваны, то изысканной подлостью выглядела проплаченная русскими нуворишами («господами ташкентцами») практика грабежей конкурентов – на этом построена интрига в романе «Погоня за наживой». *Новый русский* туркестанского разлива, Лопатин и менее успешный Перлович сражаются за промышленную монопо-

дервишества в русской литературе (на материале творчества Сухбата Афлатуни, Тимура Зульфикарова, Александра Иличевского): Афтореф. дис. ...канд. филол. наук. М., 2014.

⁸⁴ *Баранта* в туркестанском тексте тянет на отдельное исследование, где возможно рассмотрение мотива баранты в структуре туркестанских сюжетов, поэтики баранты и проч.

⁸⁵ «Советская власть называла вооруженные группы крестьян басмачами, то есть бандитами, выставляя их как силы религиозного фанатизма и мрачной реакции. На Западе оценка подобных формирований со временем менялась. Некоторые исследователи видели в них воплощение отважного национального сопротивления советской власти – именно эту точку зрения приняли постсоветские режимы Центральной Азии» (Халид 2010: 84).

лию в Ташкенте. Благодаря сноровке и хитрости пока лидирует Лопатин, он выписал из Европы для нужд своей промышленности оборудование и паровой котел, который движется караваном по пустыне в направлении Ташкента, сопровождаемым английским инженером.

«Вот приятная перспектива, – думал он (инженер Симсон. – *Э.Ш.*). – Пожалуй, еще одолеют они нас, в плен попадемся, увезут черт знает куда...»

Он немного трусил. Ему представлялись все ужасы плена в степи у дикарей, он припомнил все, что читал до сих пор об этом, начиная с рассказов Мунго Парка и кончая последними газетными известиями. <...> – А что, они обыкновенно убивают тех, кто при караванах, или в плен берут? – спросил Эдуард Симсон у старика.

– Коли очень барахтаться кто будет, ну, с тем покончат, а то им в полон таскать много прибыльнее» (Каразин 1993: 89), и далее итог баранты, нападения грабителей на караван: «Всех тюков было четыре, они лежали рядом, и, несмотря на то, что были прикрыты общею кошмою, можно было заметить по складкам войлока, что каждый из них имел удлиненную форму – форму, чрезвычайно похожую на человеческое тело; одно только обстоятельство разрушало это сходство – то, что там, где, по всем соображениям, должны были вытягиваться округленные формы голов, там войлок плотно прилегал к земле, не образуя решительно никаких складок. <...> – Лопатинский караван ограблен весь дочиста, и народ, что при нем был, в Хиву уведен, кроме вот этих...» (Каразин 1993: 182–183). Так завязывается детективная линия романа «Погоня за наживой».

Для кочевников Средней Азии баранта была единственным источником материальной подпитки. Особой жестокостью и активностью славились племена, проживавшие между Хивой и нынешней Туркменией. Достоверность описания грабежей, или баранты, представленных в художественных текстах Каразина, зиждется на их соответствии очерковым текстам Каразина и других его современников, авторов травелогов.

«С берегов Мургаба, от Мерва, от заливов Каспийского моря, из окрестностей Хивы и песков Кызылкума собрались полудикие кочевники. Не мирная перекочевка пригнала их к бухарскому берегу Аму, и в просторно раскинутых ставках, занявших, насколько хватало глаз, низменный берег, не было ничего похожего на мирные степные аулы.

Грабеж и ловля в мутной воде рыбы – вот цель этого сборища.

Смутное время стояло над Бухарским ханством. Русские ворвались в самое сердце Азии, заняли Самарканд, прошли в Каттакурган и во все стороны разослали свои отряды. <...> Вот эти-то события и притянули с разных сторон необъятных степей неуловимые, как степной ураган, разноплеменные шайки барантачей, видящих в грабежах и разбоях единственный исход своей дикой удали, единственную цель своего существования» (Каразин 1905: 1/137–138) («На далеких окраинах»).

В небольшом рассказе Каразина «Три дня в мазарке» представлены типичные варианты баранты, которые можно встретить в развернутом изложении в других текстах автора.

Экспозиция рассказа – описание дорожной станции, где можно поменять лошадей, согреться, выпить чаю. (К слову, в поэтике каразинской прозы станция – частотный локус, его описание и место в сюжете встраивается в типологический ряд русско-литературных сюжетов, ведущих отсчет от пушкинского «Станционного смотрителя».) Рассказчик отмечает непривычно большое скопление путешественников. В станционном доме – не продохнуть. Оказалось, что дело не в отсутствии лошадей, а в опасности, скорее, в неведении: что-то случилось, ямщик, который должен быть уже на месте, не вернулся. Велика вероятность, что на дороге орудуют барантачи. Случайные попутчики (русские офицеры и их семьи, предприниматели, приказчики) делятся на две группы: одни считают, что надо отсидеться и не рисковать, другие – надо ехать всем вместе, барантачи не решатся напасть на такой большой караван. В итоге одна группа остается, другая двинулась в путь. От этой второй группы уже в пути все же отделились, струсив, два приказчика и вернулись назад.

Барантачи действительно поджидали русских путешественников. Завязался бой, неравный (в группе русских были женщина и младенец). Русским удалось укрыться в мазаре, куда барантачи, боясь русского дальнобойного оружия, войти не решились. Три дня голода, холода, с раненым довели оставшихся до крайней, безысходной стадии. Метель, разывавшаяся в пустыне, испугала барантачей. Путь был свободен, но сил ни у кого не было – лошади убиты. Рассказчик почти в беспамятстве добирается до соседней станции – разграбленной и сожженной, но там уже находилось подразделение русских войск, которое и спасает рассказчика, а потом и тех, кто дожидался в мазарке.

Что случилось с той группой, которая осталась на первой станции? «...Станция с которой мы выехали, была атакована в тот же день многочисленной партией киргизов... Она была сожжена дотла, урядник, двое казаков и ротмистр Колупаев убиты, и трупы их найдены под обгоревшими развалинами. Что же касается до храбрецов Яши и Паши, то оба они доскакали все-таки до станции, но прибыли туда как раз в минуту погрома и катастрофы, – и оба были уведены в Хиву, в плен, вместе с полупьяным товарищем ротмистра Колупаева» (Карзин 1905: 9/226) («Три дня в мазарке»).

Типичный исход баранты – это смерть или плен. И в качестве разнообразия – отрубленная голова (об этом специфическом для Туркестана роде казни речь пойдет в главе «Война. Туркестанские пленники»).

Другая разновидность баранты – мародерство, без которого не обходится ни одна катастрофа или война. «В наказание за упорство жителей, базары велено было разорить дотла, и солдаты ревностно принялись за эту веселую работу. Началось то, что на местном туркестанском наречии называется “баранта”. Надо бы хоть раз видеть это, чтобы составить себе понятие, что это такое. Это не простой грабеж, корысть не играет здесь первостепенной роли; нет, это какой-то дикий разгул: все наше, а что не наше, так и ничье! Попалось фарфоровое китайское блюдо – об пол его. <...> ...Солдаты целыми тюками расхва-

тывают пестрые ситцы и полосатые адрасы; размотавшиеся, неловко захваченные куски волочатся по грязной улице. В стороне два солдатика сворачивают громадные узлы, с усилием стягивая концы ватного одеяла: они намерены тащить это в лагерь... <...> ...Солдаты... которые барантуют, руководимые чисто меркантильными соображениями, те не довольствуются тем, что приносят сами, но еще за бесценок скупают баранту у других солдат и частенько составляют себе хорошие деньги. ... Почти все быстро разбогатевшие бессрочные солдаты обязаны своим богатством баранте. <...> Вся дорога от города к лагерю была занята еле двигающимися, тяжело нагруженными солдатами» (Каразин 1905: 9/107–109) («Ургут»).

Каразин показывает расположенность к грабежу обеих воюющих сторон. «Обоз все подавался и подавался вперед, прошли разгромленной улицей и остальные повозки, прошел и арьергард. Прибыли офицеры, которые позаботились разогнать мародеров, и по дворам и саклям разоренного селения бродили только, подбирая брошенное, все те же оборванные тени, которые, как шакалы за львами, бродят за нашими. Бог весть откуда являются эти существа. Если вы начнете всматриваться в черты этих тощих лиц с заискивающим, собачьим выражением, с гноящимися глазами, покрытых всевозможною лишайной сыпью, то вы найдете и намеки на характерный монгольский тип, и прямые черты тюркских племен, и сквозь слой грязи различите красный значок индийца-парии, не забывавшего мазать себе на лбу изображение вечного пламени. Никто не помнит, где именно пристали они к отряду, никто не замечает убыли и прибыли в этих стаях: все столько же сегодня, сколько и вчера было, сколько было и прежде. А действительно, убывает их немало: сколько их гибнет во время грабежа, так называемой баранты, где они подвергиваются под руку расходившихся солдат! Без жалости бьют их и туземцы, зная, с какой гнусной целью бродят они за русскими» (Каразин 1993: 485) («Зарабулакские высоты»).

Предчувствие баранты сопровождало Арминия Вамбери во время всего почти годового пути по пустыне: «Да,

ненависть и злоба людей – вот что для путников в пустыне гораздо опаснее, чем ярость разбушевавшихся стихий! Палящую жару, обжигающий песок, мучительную жажду, голод, усталость – все это можно было бы перенести, если бы только постоянная угроза нападения рыщущей банды разбойников или, что еще хуже, страх перед оковами вечного рабства не сковывали вечно душу. Что такое могила в море песка по сравнению с медленной смертью в туркменском плену?» (Вамбери 2003: 84).

Вот отрывок из очерка-комментария Каразина к своему рисунку («Нива», 1895), сюжет которого на разные лады воспроизведен в его прозе: «В настоящее время тот, кому придется путешествовать по нашим обширным среднеазиатским владениям, проезжает огромные пустынные пространства с полным комфортом и безопасностью, по чудным шоссе с удобными станциями, или в комфортабельном купе вагона, любуясь только горами сыпучего песка, но не ощущая всех невзгод пустыни. Может ли ему прийти в голову мысль, что еще так недавно, не более двадцати лет тому назад, на всех этих путях путешественникам приходилось встречаться с трудно одолжимыми преградами: целые караваны гибли в степях от снежных и песчаных ураганов, люди и животные падали от зноя и недостатка воды и, кроме того, на каждом шагу можно было наткнуться на вражью засаду, на смерть или – еще худшее – тяжелую унижительную неволю.

Наш рисунок изображает один из печальных эпизодов этого недавнего прошлого. Шайка грабителей напала на проезжающий экипаж, – мужчины перебиты во время сопротивления, две женщины – пленницы... На пути в свои кочевья разбойники остановились в степи бивуаком на отдых. Фигуры пленниц говорят сами за себя...» (Каразин 1885: 876, 889).

Одежда и украшения

В туркестанский текст в виде паттерна входит не только типичное одеяние среднеазиата – халат, по-тамашнему чапан, но и форма русского солдата той поры. Бело-красное (белый верх,

красный низ) одеяние туркестанских военных российской армии запомнилось русским историческим сознанием благодаря полотнам В.В. Верещагина «У крепостной стены. Пусть войдут» (1871), «Смертельно раненный» (1873). У Каразина-художника также есть работы с батальными сюжетами, где изображены русские солдаты в бело-красной форме (например, «Вступление русских войск в Самарканд 8 июня 1868 г.»).

Для современников Каразина, читателей и почитателей его прозы, было понятным и привычным выражение, кочующее из текста в текст, – *Ак-кульмак*, что значит «белые рубашки» – так называло местное население солдат русской армии:

«...По сторонам дороги, между темными кустарниками, белели рубашки пешего конвоя» (Каразин 1905: 9/46) («Зарабулакские высоты»);

«Это все были человеческие трупы. Но как мало похожи были они на тела: казалось, что степь была усеяна грязными красными⁸⁶ и беловатыми тряпками, и если бы эти тряпки местами не шевелились в предсмертной агонии, если бы не издавали звуков, потрясающих до глубины души...» (Каразин 1905: 9/59) («Зарабулакские высоты»);

«Вы там с отцом принялись... лизать у русских, когда хвосты вам прижали... Если б не эти поганые “ак-кульмак” (белая рубаха, так называют по костюму наших солдат), давно бы все такие, как вы – со стен в поле бы смотрели (намек на обычай выставлять головы напоказ)» (Каразин 1905: 9/159) («Рахмед-Инак, бек Заадинский»);

«Страх только силы наших батальонов сдерживал этих хищников в пределах относительного повиновения; но зато

⁸⁶ Красные куртки – форма неприятеля, регулярных войск эмира Мозофара-Эддина: «Стреляй по красному!» (Каразин 1905: 9/53); «красные ряды неприятеля» (Каразин 1905: 9/55); «Чем меньше становилось расстояние, отделявшее белых от красных...» (Каразин 1905: 9/55). В красные куртки была одета также рота афганцев-ренегатов, перешедших на сторону русской армии; отличительным знаком от неприятеля была узкая белая лента, повязанная на левой руке.

они пользовались всяким удобным случаем, – где только они не рисковали встретиться с значительным числом “ак-кульмак”» (белых рубах), как они называли наших солдат, по цвету их костюмов» (Каразин 1905: 6/162–163) («Тигрица»);

«Несчастные видели перед собою не белые рубашки русских, нет: перед ними рисовались адские чудовища с тысячами рук, с красными раскаленными пастями, дико вопящие и ревущие. Они даже боли не чувствовали и без стопа падали на землю, когда ружейный приклад раскалывал им черепа или тупой штык рылся в распоротых внутренностях...» (Каразин 1905: 9/57) («Зарабулакские высоты»);

«...Разделяла нас серая, каменистая полоса, и на этой полосе, между пестрыми трупами узбеков, ярко выделялось несколько белых рубах, невольно оставленных на месте во время отступления к суходолу. Судя по недвижности, это были трупы. Их изуродовать еще не успели; головы были на своих местах...» (Каразин 1905: 5/27) («Наль»);

«...Побежденные очень скоро поняли, что дело вовсе не так худо, как их пугали, и перестали, наконец, верить нелепым рассказам фанатиков из духовных, говорящим, что *белые рубахи* пришли не по воле Господней, а от дьявола, дабы, ослепив правоверных временною ласкою и терпимостью, мало-помалу подготовить насильственный перевод их из лона истинной веры Магомета в свою поганую веру» (Каразин 1905: 15/74) («Докторша»);

«Какой-то всадник в красных панталонах и белой шелковой рубахе с офицерскими погонами задержал свою лошадь у самого экипажа...» (Каразин 1905: 1/20) («На далеких окраинах»);

«В том страшном кишлаке, так поглотившем общее внимание тысячи всадников, стоял отряд “ак-кульмак”...» (Каразин 1905: 1/240) («На далеких окраинах»);

«Слух пронесся по горам – и взбаламутил этот тревожный слух все горные аулы, поднял на ноги и без того подвижных, беспокойных горцев.

– Белые рубахи идут, не нынче завтра у самых гор покажутся!.. <...>

...И долго возится горец со своим допотопным оружием, пока удастся ему послать вторую пулю вслед за первой, – может быть выбившею из строя хотя одну из этих ненавистных белых рубах» (Каразин 1873а: 600) (очерк «Защитники Зарафшанских гор»);

«...Солдат пытливно поглядывал вдаль, вскинув свой штуцер и роясь в глубоком кармане красных кожаных шаровар, где он отыскивал ружейный капсюль, завалившийся между сухарными крошками» (Каразин 1905: 9/53) («Зарабулакские высоты»);

«Бичуя воздух, звеня и дребезжа, пронеслась картечь высоко над белыми кеши пехотинцев... <...> ...Кричал, задыхаясь худощавый штаб-офицер, суетясь на лошади в беспорядочной толпе белых рубах...» (Каразин 1905: 9/54) («Зарабулакские высоты»);

«...Рванулись вперед белые рубахи, высоко взмахнув ружейными прикладами» (Каразин 1905: 9/55) («Зарабулакские высоты»);

«Далеко сзади, распластанные крестообразно на серой земле, лежало несколько белых фигур; одна из них пыталась приподняться, отделяя от земли голову и выгибаясь конвульсивно всем туловищем» (Каразин 1905: 9/56) («Зарабулакские высоты»);

«Наш обоз втягивался в сады, и издалека белелись рубашки арьергардной роты» (Каразин 1905: 9/106) («Ургут»).

А.В. Алматинская, тиражируя внешний облик русского солдата-колонизатора, вносит свою лепту – исторический комментарий:

«Древницкий, наблюдавший в подзорную трубу, удивился:

– Ого, офицер!

– Где, где? Дай мне посмотреть!

Маша прильнула к трубе.

– Да, конечно. Ясно вижу китель, блестят погоны. Только шаровары почему-то красные.

– Это чембары, – сказал Древницкий, – шьются из красной замши. Они приняты в туркестанских войсках» (Алматинская 1969: 1/10);

«Старик (Тезиков⁸⁷. – Э.Ш.) по совету оборотливого сына, торговавшего обувью и кожевенными изделиями, поставил на Саларе кожевенный завод. Выделанные козьи и бараньи шкуры шли на изготовление чембар – летних шаровар, принятых в Туркестанских войсках. Дело пошло» (Алматинская 1969: 1/183).

Отличительным атрибутом туркестанского солдата и офицера был и головной убор, который также можно видеть на картинах Верещагина и Каразина:

«...Солнце стояло уже над самую головою и пекло так, что прохватывало жаром даже его круглую белую фуражку с холщовым назатыльником» (Каразин 1905: 13/18) («В камышах»);

«Ну, теперь, брат, держись... на штурм пошли! – вздохнул дядя Наум; снял свое кепи с назатыльником, встряхнул его, перехватил в левую руку, вздохнул еще разок и начал креститься» (Каразин 1905: 13/169) («В камышах»);

«Ему захотелось еще хотя немного отдалить ту минуту, когда он увидит желто-серую насыпь каттакурганской цитадели и торчащую на ней фигуру часового в русском кепи с назатыльником» (Каразин 1905: 1/234–235) («На далеких окраинах»);

«Все говорили шепотом, сдержанно; некоторые даже крестились, приподнимая кепи с назатыльниками» (Каразин 1905: 1/251) («На далеких окраинах»);

«Всадники... в белых рубахах, в белых шапках с назатыльниками замелькали перед моими глазами...» (Каразин 1905: 9/44) («Страшное мгновение»).

В очерке «Атака собак под Ургутом», опубликованном в журнале «Нива» в 1872, Каразин подробно описывает форму туркестанца, которую в скором времени и растиражирует своими художественными текстами: «На маленькой азиатской лошадке, лениво согнувшись на казачьем седле, плетется шажком командир... Он в шелковой белой рубахе, на которой

⁸⁷ О туркестанском предпринимателе Тезикове и мифологии вокруг него см.: Шафранская 2010: 98–99, 206–216.

пристегнуты погоны, обозначающие ранг офицера; на голове широкая русская фуражка, вся белая, с большим холщовым назатыльником, спускающимся назад в полспины; красные кожаные шаровары и высокие походные сапоги завершают оригинальный костюм, – далекий от установленных, совершенно непрактичных форменных костюмов, но зато не сочиненный фантазией одного какого-либо лица, а выработанный целым рядом опытов и совершенно удовлетворяющий всем климатическим условиям» (Каразин 1872: 600).

Упоминания туземной одежды и украшений – характерный признак поэтики ориентализма: в чапанах (халатах) – мужчины и женщины; чапан одновременно одежда и накидка на голову (это не один и тот же чапан, для головы – специальный, с мнимыми рукавами – паранджа); чапаны простые (для бедных) и богато расшитые; чапан – награда от правителя за убитого русского, за его голову; сапожки из тонкой, обтягивающей кожи (ичиги; у Каразина – ичеги) и специальные сапоги для всадников – с острыми каблуками, на которых ходить затруднительно; паранджа на женщинах (этот вид одеяния был распространен не повсеместно, например, паранджу не носили каракалпачки, туркменки, киргизки и др.).

«...Верхний же (халат. – Э.Ш.), шелковый, прошитый местами золотом и блестками, был спущен с одного рукава, и полы его были раскинута так ловко, что невольно кидались в глаза всякому. Не без расчета это было сделано, и не один уже проходящий мимо лавки с скрытою завистью полюбовался блестящей материей» (Каразин 1905: 3/208) («Погоня за наживой»);

«А заметили, какая у него лошадь хорошая: за две тысячи коканов не купишь! А халат-то – ух! Мне бы только хоть один часик поносить такой. Блестит, как чешуя на рыбе!» (Каразин 1905: 3/322) («Погоня за наживой»);

«...Рахмед ...даже успел переобуться, и на его ногах вместо походных сапог с высокими острыми каблуками очутились мягкие, чулкообразные *ичеги* из черного сафьяна с вышивкою» (Каразин 1905: 9/143) («Рахмед-Инак, бек Заадинский»);

«Вслед за факельщиками въехал сам сановитый хозяин в необъятной кашемировой чалме, в опущенном соболем халате и зеленых ичегах (род обуви), с длинными, совершенно остроконечными каблуками» (Каразин 1905: 1/70) («На далеких окраинах»);

«Да и как можно кого-либо узнать в этом сером халате, накинутом на голову, с узкими, фальшивыми, до самой земли, рукавами, с черною, густою волосяною сеткою на лице. Все бабы на улице на один покрой; сами мужчины не распознают, которая чья» (Каразин 1905: 6/51) («Тьма непроглядная»);

«Большинство спит в шалашах, из-под которых виднеются ноги, обутые в желтые и зеленые сапоги с острыми, обитыми железом каблуками» (Каразин 1905: 1/141) («На далеких окраинах»);

«...Собеседницы плотно кутались в теплые халаты, накинутые поверх голов, и усердно поджимали под себя ноги, обутые в мягкие сафьянные “ичеги”. <...> ...Если бы кто вошел сюда сразу, то, наверное, не скоро бы разглядел эти две темные, с головою закутанные фигуры, разве только когда распахнется халат, пропуская руку за новым запасом фисташек, и блеснут искорки ожерелья, да чуть зазвенят бесчисленные подвески к нагрудному убору» (Каразин 1905: 6/3–4) («Тьма непроглядная»).

Глядя на русскую даму, одетую в платье с декольте, туземец выражает свое восхищение: «А у той халат уж очень хорош (у них все халат)!» (Каразин 1905: 9/147) («Рахмед-Инак, бек Заадинский»).

«Все халаты попустили с плеч, сетки откинута, лица открытые, все в уборах, у кого даже в носу серьги поблескивают...» (Каразин 1905: 6/15) («Тьма непроглядная»);

«...Нанизывала на шелковые нитки рассыпавшиеся кораллинки... Пальцы у нее длинные, тонкие, ногти киноварью подкрашены... брови дугою выведены, словно смолою выклеены, а косы золотою ниткою пробраны, а на концах красные кисточки шелковые вплетены...» (Каразин 1905: 6/33) («Тьма непроглядная»);

«...Только лет через шесть-семь, когда в ребенке замечают уже признаки, предсказывающие будущую красоту, начинают наряжать ее в яркие цветные лоскутья и увешивают бронзовыми и стеклянными погремушками. С этих пор прокалывают уши и ноздри и вдевают в проколы маленькие сережки.

Страсть к нарядам и кокетству развивается чрезвычайно рано и быстро; восьмилетние девочки частенько пачкаются белилами и натирают сандалом свои, и без того румяные, щечки. С этого же раннего возраста они не смеют появляться на улицах иначе, как с закрытыми волосаюною сеткою лицами» (Каразин 1905: 6/127–128) («Ак-Томак»);

«По узеньким переулкам, ведущим к дому серкера, то и дело виднелись группы женщин в синих бумажных халатах, накинутых на голову, так что рукава, связанные цветными завязками, спускаясь с затылка и вдоль спины, доходили до самых пяток. Лица этих женщин были завешены черными вуалями. (Девушки носят белые вуали и не имеют права посещать в первое время родильниц)» (Каразин 1993: 425) («Байга»).

Такой внешний облик женщины благополучно тиражировался на протяжении всего XX в., вот пример: «От разнообразной пестроты костюмов и головных уборов рябило в глазах, только женщины своим однообразием наводили уныние: серого цвета халаты, надетые на голову, на лицах черного цвета чадра, спускавшаяся ниже колен» (Варенцов 2011: 274).

Характерным атрибутом украшения были зубы:

«Несколько минут длилось молчание... даже фисташки перестали щелкать, попадая на крашенные зубы...» (Каразин 1905: 6/8) («Тьма непроглядная»);

«...Женщина (восточная. – Э.Ш.) исключительно на одном только теле сосредоточивает свое внимание. Она его моет, холит, белит, румянит, подкрашивает волосы, зубы и ногти, обвешивает безделушками...» (Каразин 1905: 6/129) («Ак-Томак»);

«Некрасиво, шибко некрасиво это племя... <...> ярко-белые зубы, у женщин окрашенные в черную краску...» (Каразин 1872а: 75) (очерк «Из Центральной Азии»).

Еще один туземный аксессуар – тыква для насвая: «... Покачал головой седой мулла и понюхал табаку из своей тыквяной бутылочки» (Каразин 1905: 3/209) («Погоня за наживой»);

«Старший вытащил из сапога маленькую тыквянку, взял щепотку тертого табаку в рот и даже зажмурился от наслаждения...» (Каразин 1905: 15/111) («Атлар»).

Ландшафт

Совокупность рельефа, климата, почв, растительного и животного мира – все это ландшафт. Каким он предстал перед русскими завоевателями Туркестанского края? Что удивило, восхитило, испугало – и запомнилось, стало фиксироваться авторами травелогов, этнографами, историками, востоковедами XIX в.?

Специфический рельеф – пустыни и горы, отсутствие воды в пустыне и ледяные потоки в горах, климат – знойная летняя жара, богатый невиданными прежде съедобными дарами край, экзотические животные и вредоносные насекомые, и проч., и проч. Все из перечисленного стало паттернами туркестанского текста, которые тиражировались устно и письменно. Не менее других преуспел в этом Каразин, публиковавший в периодике этнографические зарисовки (как кистью, так и пером), отчеты из экспедиций, очерки своих туркестанских наблюдений, которые впоследствии вошли в канву его рассказов, повестей и романов. Отчасти в этом состоит документальность его прозы.

«Царство могильной тишины» (Хедин 2010: 216), – так назвал среднеазиатскую пустыню Свен Хедин. Таковой она предстает и в прозе Каразина. Однако Туркестанский край, завоеванный русскими, это не только пустыня, это еще и тучные локусы: «Ну да в этой стране, особенно как теперь, в летнюю пору, с чего другого, но с голоду умереть было трудно... Всякой дичи водилось тут обильно, и, мало пуганная, она легко подпускала в себе человека на расстояние верного ружейного выстрела» (Каразин 1905: 12/205) («Наурусова яма»);

«Целые стаи серых куропаток “кекжук”, с красносюржучными бровками и мохнатыми ножками, копошились по тенистым скатам, быстро перебежали тропинку и, завидя нас, с шумом снимались с места; громадные ящерицы, разинув пасть, неподвижно грелись на солнце, вытянувшись во всю длину на раскаленных камнях; над головами высоко-высоко, исчезая точками в темно-синем небе, реяли орлы, кое-где, но уже на более приличных расстояниях, виднелись красивые силуэты аркаров, этих диких баранов, с громадными, заваленными на спину рогами» (Каразин 1905: 12/206) («Наурусова яма»).

С иронией в адрес «господ ташкентцев» описывает тучный край журналист XIX в.: «Есть недурные землицы: снежная зима редко, растительная производительность великолепная, просо, напр., родится сам 500, виноград, абрикосы, персики, гранаты, смоковницы, шелковица, тигры, барсы, кабаны, хорошие лошади, баранина первый сорт и т. д. Есть золото, свинец и каменный уголь. И всем этим владеют нехристи!» (Дело 1871: 112).

Перечисление ландшафтных зарисовок, встреченных в прозе Каразина, – дело неподъемное по причине их многообразия. Однако на типичных картинках и персонажах, закрепленных за туркестанским текстом, остановиться стоит.

Пустыня порождает *мираж* – явление хоть и объясненное наукой, однако в повседневности остающееся загадочным и таинственным, продуцирующим легенды и предания.

«Опять степь потянулась ровная, как скатерть, и только правее синела полоса озера Челкара. Эта синяя полоса словно отделилась от горизонта и облаком висела на воздухе; в одном месте эта черта переломилась и уступом шла далее, словно отражение в составленном из двух кусков зеркале. Длинная вереница верблюдов тянулась еще выше; два-три животных рисовались отчетливо, можно было даже заметить выюки, остальные легкими голубоватыми тенями чуть обозначались, поднимаясь из вод озера-миража и мало-помалу расползаясь в колеблющемся от зноя воздухе. Все эти отражения дрожали и волновались, особенно те, которые находились ближе к горизонту.

Проехал всадник с версту – и явление исчезло, уступив место новому: какие-то странные предметы медленно двигались, извиваясь отлогою дугою. Внимательно изучал всадник этот новый мираж и даже засмеялся от удовольствия. Он узнал большие воловьы повозки, пары рогатых оренбургских волов, верблюдов, перемешавшихся между повозок. Густой пепельно-серый степной смерч высоким крутящимся столбом закрыл видение, покружил на одном месте и понесся к югу. Мираж исчез, словно вихрь закрутил его вместе с вырванными кустами бурьяна, двумя птицами, не смогшими вырваться из этого воздушного водоворота, и увлек его в пески, где он и рассыпался, налетев на высокие барханы» (Каразин 1993: 82–83) («Погоня за наживой»);

«Посмотри! Ты видишь, как вдали словно озерко протянулось? Вон еще, – обращался он к кому-нибудь из товарищей, – ну, совершенно, как вода... и если бы я не знал, наверное, что это марево...» (Каразин 1905: 13/16) («В камышах»);

«А это что? Никак озеро? – заметила вдруг девка и подошла к себе Никона.

– Подь сюда, лезь на воз!

– Ну?

– Гляди! Эвося!.. Вон, как раз супротив той сухой тычины и моего пальца... Видишь?..

– Вижу!

– Никак вода... Вон на солнце светится!.. Озеро, может...

– Кто его знает! Может, и озеро... <...>

– Може, марево какое. <...>

– А оно казалось близко! – заметил кто-то.

– Я говорил: должно, марево! – проворчал Никон. <...>

Выбрались повыше. Как на ладони, заблестело широкое озеро. С одной стороны берега покруче, обрывом стоит, с другой – гладко к воде спускается. Только какое же это озеро чудное!.. Мужики такого отродясь и не видывали.

Вода в этом озере белая, блестящая, даже смотреть больно. Что за диво! Вон следки на ней видны копытчатые, вон пыль поднялась легонькая. Что такое, в самом деле?! Спу-

стились – разглядели, что и вовсе никакой воды нету, а так что-то твердое, гладкое. Должно быть, когда-то точно озеро было, да высохло, и от сухого, гладкого дна, ровно от тончайшей пленки, жаром пышет. Много таких окаменелых озер встречается в этой степи. <...> Те же, которые уцелели долее прочих, оставили после себя неизгладимые следы, имеющие все формы настоящего озера, так часто обманывающие неопытный глаз, благодаря блеску осадка, а иногда и колебанию обыкновенного степного миража» (Каразин 1905: 7/57–60) («С севера на юг»).

В основу этих ландшафтных зарисовок из романа «С севера на юг» легли экспедиционные наблюдения, сделанные ранее и опубликованные в очерке «Аральское море» (1873) – за два года до выхода романа: «Всякому не раз случалось видеть большие заводья, оставшиеся после весеннего водополя, – эти временные озера, мало-помалу исчезающие под влиянием лучей летнего солнца. Громадная масса воды постепенно все уменьшается и уменьшается, меняет форму извилистой линии берегов, распадается на отдельные, меньшие массы, – те, в свою очередь, на еще меньшие; наконец, кое-где только, на самых низменных местах, остаются проточные лужи, – гниют эти лужи, покрываются зеленой плесенью, густеют и наконец высыхают окончательно, оставляя после себя сухую, растрескавшуюся корку. <...> ...Птицы разве только ранним утром или под вечер решаются пускаться в этот раскаленный воздух, в котором дрожит знойная мгла и, медленно, меняясь, разворачиваются прозрачные, туманные картины степных миражей» (Каразин 1873: 583).

«Этногенез и биосфера земли» порождают специфику образной системы: «...Выступив с ночлега перед самым восходом солнца, мы почти до полудня любовались удивительно ясным и красивым миражом – степным маревом... Сначала над горизонтом протянулась блестящая полоса – ну, совершенно водная поверхность... за нею появились точно сияющие горы и отразились в мнимой воде, усиливая иллюзию... Значительно выше этих гор появились правильные очертания

ния фантастических зданий – каких-то куполов и минаретов; над нами, еще выше, эти очертания повторились в опрокинутом положении... и вдруг, – ну, совершенно ясно, довольно высоко над горизонтом показалась фигура верблюда, за ним другая и так целый караван, медленнодвигающийся с севера на юг, пересекая светлый луч солнца, пронизывающий поверхность озера-призрака... Минуты две тени фантастических верблюдов дефилировали в воздушном пространстве и как бы растаяли в ослепительном блеске утреннего солнца; но именно они – эти верблюды – произвели на людей нашего каравана потрясающее впечатление... <...> Сначала я не обратил особенного внимания на впечатление, произведенное миражом; я не знал еще, что его произвело именно это красивое и капризное зрелище, но когда мы пришли на ночлег – дело объяснилось...

Подойдя к огню, где собрались лаучи, я услышал, как один из них произнес:

– Ну, не быть добру!..

– Не быть! – безнадежно вздохнул другой.

– Уж если проклятый “Даудкин” караван видели, – тогда уже что!.. Хоть ворочайся... Экое горе!..» (Каразин 1905: 16/5–6) («Дауд – караван-баш»);

«Знойная мгла сменила прозрачность утреннего воздуха, и горячий воздух дрожал, протягивая вдали колеблющиеся линии миражных озер. Сквозь эту дрожащую мглу все предметы принимали значительно большие размеры: сухой стебель полыни, торчавший в тридцати шагах от путников, казался росшим вдали раскидистым деревом; кучки старого конского помета принимали вид нагроможденных в груды камней; едва заметный бугор поднимался горою, а неподвижно сидящий на нем степной ворон, словно гигантское привидение, медленно поворачивал направо и налево свою хищную голову» (Каразин 1905: 1/107) («На далеких окраинах»).

Современник Каразина Арминий Вамбери, прошедший пустыню и перенесший все уготованные ею испытания, тоже пишет о мираже. Картину тиражирования паттерна *мираж*

наглядно представит сопоставительная таблица⁸⁸. Приведенный слева текст А. Вамбери уникален: он показывает, как «тиражировались» русскими путешественниками/туркестановедами фрагменты иностранных источников – местами дословно: то ли мираж всем «надиктовывает» это дежавю, то ли авторские права были в ту пору не в моде. Пишет путешествующий Н. Уралов, а точнее крадет у А. Вамбери огромный фрагмент из его «Путешествия»:

Арминий Вамбери

«Отражение воздуха в пустыне Средней Азии, в той горячей и все же ясной атмосфере, бесспорно, вызывает самый прекрасный оптический фокус, который можно только себе представить.

Эти танцующие в воздухе города, замки и башни, эти картины больших караванов, сражающихся рыцарей и отдельных гигантских фигур, которые исчезают в одном месте и снова возникают в другом, всегда меня очаровывали.

Мои спутники, особенно кочевники, смотрели на это с тихим благоговением. По их мнению, то были тени когда-то существовавших и погибших городов и людей, которые теперь в виде призраков томятся в определенное время дня в воздухе.

Николай Уралов

«Этот феномен поразительно хорош в горячей сухой атмосфере среднеазиатских степей и представляет самую великолепную оптическую иллюзию, какую можно только себе представить.

На безоблачном небе картины сменялись одна другой: города, башни, замки, – все это плясало в воздухе; огромные караваны, стремительно скачущие всадники и пешие люди самых гигантских размеров ежеминутно исчезали в одном месте, чтобы вновь появиться в другом.

Почти все мои спутники проснулись и с каким-то почти-тельным страхом относились к этому явлению. Они думали (как я потом узнал), что это – не что иное, как призраки, духи людей и городов, некогда существовавших здесь.

⁸⁸ Тексты в обеих колонках цельные, поделены на абзацы мной (Э.Ш.) для наглядности откровенного плагиата (такой «Диссернет» XIX в.).

Даже наш керванбаши утверждал, что он уже годами в определенных местах видел одни и те же фигуры и что мы также, если погибнем в пустыне, через положенное число лет будем прыгать и танцевать в воздухе над местом нашей гибели.

Эта столь часто встречающаяся у кочевников легенда об ушедшей цивилизации в пустыне недалеко от выдвинутого недавно в Европе взгляда, согласно которому пространства, называемые нами пустыней, превратились в таковые не столько под воздействием законов природы, сколько в результате социальных обстоятельств.

В качестве примеров приводят Сахару в Африке или великую Аравийскую пустыню, где недостает скорее прилежных рук, чем плодородной почвы.

Что касается последних мест, может быть, утверждение и правильно, но оно неприменимо к пустыням Средней Азии.

Кебеков положительно утверждал, что он несколько раз видел одни и те же фигуры на этом самом месте и что если нам или кому бы то ни было суждено погибнуть в степи, что через несколько лет мы также будем плясать в воздухе над тем самым местом, где приключится гибель.

Целые циклы таких легенд, намекающих на какую-то цивилизацию, затерявшуюся в степи, недалеко ушли от новейшей европейской теории, которая утверждает, что те или другие местности приходят к разорению или опустошению не столько вследствие течения естественных законов, сколько вследствие изменения общественных условий, общественного положения их населения.

В пример приводят великую Сахару в Африке и степи Средней Азии, где не так ощутителен недостаток в годной, плодородной земле, как в рабочих промышленных силах.

Может быть, подобное предположение отчасти справедливо по отношению к этим двум странам, но его уже ни в каком случае нельзя применить к степям Средней Азии.

В отдельных точках, таких, как Мерв, Мангышлак, Гёрген и Отрар, возможно, в прошлые столетия также существовала культура, однако в целом среднеазиатская пустыня, насколько можно проследить в человеческой памяти, всегда была страшной пустыней.

Расстояния в несколько дней пути без единой капли питьевой воды, покрытые глубоким, бездонным песком местности, часто простирающиеся на сотни миль, безудержная ярость стихии – все это препятствия такого рода, с которыми никоим образом не сравнятся ни искусство, ни наука, ни прочие духовные достижения разума. “Туркестан и его жителей, – сказал мне как-то раз один человек из Средней Азии, – бог создал во гневе, потому что до тех пор, пока не смягчится горько-соленый вкус источников в пустыне, туркестанцы не изгонят из своего сердца ненависть и злобу”» (Вамбери 2003: 83–84).

Правда, в прошлом столетии некоторые местности, как, например, Мерв, Мангышлак, Гёрген и Атраф находились в лучших культурных условиях, нежели теперь, но вообще эти азиатские степи были искони века самыми безотрадными, вопиющими пустынями.

Огромные пространства на несколько дней пути без капли воды, годной для питья, сотни верст в глубоких песках, чрезвычайная резкость климата и тому подобные препятствия способны охладить и затормозить самые пламенные стремления самых восторженных цивилизаторов. Тут ничего не поделают ни наука, ни искусство, и недаром мулла Кебеков, в сущности глубочайший философ, был убежден в том, что “Аллах создал Туркестан и его жителей в порыве гнева, и пока из его недр будут бить соленые горькие ключи, до тех пор сердца людей будут полны злобы и горечи”» (Уралов 1897: 69–70).

О мираже пишет Свен Хедин: «В Яркенде рассказывают, что путники время от времени слышат в пустыне голоса, зовущие их по именам.

Интересно сравнить эти рассказы с тем, что говорит о великой пустыне Лоб венецианец Марко Поло: «Об этой пустыне рассказывают диковинные вещи, например, что, если кому из путников случится ночью отстать или заснуть и т. п., то, догоняя затем товарищей, он слышит голоса духов, разговаривающих голосами его товарищей. Иногда духи называют его по имени, и путник, сбитый ими с толку, часто совсем теряет следы товарищей. Таким образом погибают многие»» (Хедин 2010: 190).

В современной Каракалпакии говорят: «Сегодня к нам приезжают за двумя вещами: посмотреть музей Савицкого⁸⁹ и умирающий Арал, или то, что от него осталось».

Во времена Каразина Арал был еще морем. Однако писатель уже тогда предупреждал об опасности исчезновения водоема (хотя он не мог предположить, что Арал исчезнет из-за рукотворной деятельности человека, той деятельности, которая была начата русской колонизацией края и продолжена вплоть до конца XX в., – выращиванием хлопчатника, заменившего все прочие виды сельхозугодий и ставшего монокультурой). Говоря о появляющихся и исчезающих малых озерах, Каразин пишет: «Такая точно участь постигла бы и Аральское море, если бы оно не пополняло своими двумя древними притоками-гигантами “Аму” и “Сыром” то, что отнимает у него жгучее, почти тропическое солнце, накаливающее среднеазиатские степи подряд восемь месяцев» (Каразин 1873: 583).

«Что это такое? – спросила Надя, указывая рукою в ту сторону, где кровавым блеском, отражая вечернее зарево, светилась узкая полоса воды.

– Это море, – отвечал Шолобов. – Аральское называется, но-нашему просто Арал. Оно сюда концом подходит. Теперь уже и Сырдарья недалеко... Станций – полдюжины, больше не осталось.

– Рыбы что в этом море – страсть! – заметил Силантий.

⁸⁹ В Нукусском Музее им. Савицкого находится уникальная коллекция русского авангарда.

– Сомы в пять аршин попадают. Осетров – так это сколько угодно.

– Лебеди тоже, эти долгошейные. Цапли – эво какие! А крылья у них – как кумач красные. Краснокрылыми так и называют...

– В прошлом году тюленей видели. Одного зашибли.

– А бабы-птицы! Знаете, этак вроде гуся, только много погружнее и под носом снизу будто мешок подвешен, они в него рыбу собирают, про запас» (Каразин 1905: 17/84–85) («Голос крови»).

Гипертрофированные размеры сома повторены не раз в разных текстах Каразина: «...Привезли рыбу обобранную, рядами на берег сложили. Ворочаются на песке осетры двухаршинные, зевают сердечные, кровь сочится у них из боков, крючьями распоротых. Сомы выволокли одного страшного, шестеро на берег выволакивали, а в лодку и не клали его, привезли так за собою, на буксире. Пудов восемнадцать весу была эта зверь-рыба; хотели целиком в город тащить, уездному показывать» (Каразин 1905: 8/351) («С севера на юг»);

«Запинаясь и путаясь в словах, он рассказал нам, что товарищ его, когда стемнело, полез в воду купаться, забрался вон в те камыши и больше не возвращался... “Умер: должно быть, рыба большая его съела”, – предполагал каракалпак.

Это была очевидная ложь; положим, что здесь водятся довольно крупные сомы, достигающие пяти аршин длины; если б подобная рыба схватила за ногу купающегося, то ничего нет мудреного, что победа осталась бы на стороне человека...» (Каразин 1905: 6/168) («Тигрица»);

«Сюда не ходи, тут яма, ишь какая!.. Весь шест уходит, а здесь вот ракушка острая... А рыбины что под ногу суется... страсть!..

– Гляди, парень, как бы тебя сом не ухватил за что... он ведь зубастый! – кричит Маланья.

– Нет, – промолвила Марина, – сом сюда не зайдет, он – рыба крупная, середины реки держится... сом не зайдет на мелкое место!» (Каразин 1905: 7/195–196) («С севера на юг»).

В пустыне персонажей Каразина неоднократно подстерегают ядовитые насекомые:

фаланга: «Бей, бей ее! Дави сапогом, сапогом! так, раз! Ну, еще! уйдет, уйдет, эка живущая; сдерни ковер! гляди, в чемоданы залезет... Ах ты! готово! – слышались энергичные, оживленные восклицания и усиленная возня в палатке. Это туда, на свет фонаря, заползла громадная фаланга и вызвала своим появлением обычную, чуть не ежедневную охоту... Отвратительное насекомое преследовалось с ожесточением» (Каразин 1905: 14/36) («Двуногий волк»); «...Путники не всегда решаются подходить к этим подозрительным развалинам, из боязни наступить там на одну из бесчисленных фаланг, единственных обитателей степных руин. Эти ядовитые пауки гнездятся в сырой тени развалин и выползают на поверхность греться на раскаленных солнечным жаром камнях» (Каразин 1905: 1/112) («На далеких окраинах»); «Калмычка ворох сухого бурьяна притащила – таган разжигать, швырнула его на пол, а из бурьяна фаланга выбежала, – крупная такая, страшная!.. Ядовитого паука опасно голою ногою давить, стали чем попало загонять гадину в самый жар угольный... Визг поднялся на кухне, суетня... чуть не упустили, да, слава Богу, справились, – и зашипела непрошенная гостья, скорчившись в комок в горячей золе... подохла» (Каразин 1905: 6/30) («Тьма непроглядная») – так, попутно, Каразин-натуралист дает советы, как не надо и как следует поступить в случае столкновения с фалангой; а далее с фалангой, ненавистным насекомым, сравнивается героиня повести – русский врач – устами ненавидящих ее женщин-туземок;

скорпион: «Батюшки!.. Словно обжег, проклятый... – вдруг раздается в толпе работающих, и солдатик выпускает из рук тяжелый кетмень, хватаясь за ногу, обутую в дырявый сапог: он наступил в темноте на скорпиона, а эти ехидные насекомые во множестве гнездятся в трещинах стен жилых и нежилых строений» (Каразин 1905: 9/46–47) («Зарабулакские высоты»); «...Во все горло ревет ребенок, только что укушенный скорпионом, ревет – и в промежутках по-собачьи

лижет свою больную руку» (Каразин 1905: 1/118) («На далеких окраинах»); «Пронзительный, раздирающий душу вопль пронесся по двору. <...> – В старых постройках их попадаете довольно много. <...> – Какие эти скорпионы ядовитые... Он, верно, наступил на него! Что, это не очень опасно? – спрашивал Лопатин. – Пустяки, сегодня же к вечеру здоров будет, – отвечал Перлович; но что это больно – то, действительно, ужасно!» (Каразин 1905: 3/225–226) («Погоня за наживой»).

Другие слагатели туркестанского текста не преминули упомянуть скорпиона: «Ах он собака! – ах, стерва ты этакая! о-о-о! – вдруг пронзительно, на всю степь заорал Левашов. Мы все повскакали с мест и бросились к Иван-баю, раздались тревожные вопросы: что такое? кто его? Чего он закричал? и т. д. Оказалось, что Левашов неосторожно лег прямо на песок, не подостлав паласа, и его ужалил скорпион» (Уралов 1897: 34) (см. также с. 150 в данном изд.);

каракурт: «В новом ночлеге путешественников посетило ужасное несчастье. В горах, на известной высоте, в расщелинах скал, под слоем сухого мха, гнездится маленький, но страшный по своей ядовитости паук каракурт (чернозадик). В горных областях, лежащих севернее, этот вид паука приводит в содрогание самых смелых, там укушение его влечет за собою почти немедленную, мгновенную смерть; укушенные туземцы даже не пытаются бороться со смертью, а прямо ложатся и приготавливаются к переходу в вечность. В этих же местностях, особенно ближе к осени, укушение каракурта хотя в большинстве случаев также смертельно, но бывают и счастливые исключения, и укушенный отделяется только продолжительными, невыносимыми страданиями, редко навсегда излечиваемыми.

Маленький, темно-серый, бархатный шарик, в орех величиною, быстро бегаёт между камнями на своих мохнатых ножках или же, притаившись, сидит у верхнего отверстия своей трубчатой норки, поджидая, когда добыча, в виде гусениц, жучков и разных букашек, сама не подползёт к его хитрозамаскированной засаде. <...> На долю Омар-шаха выпал один

из этих редких случаев. Каракурт укусил его в левое колено; страшная, рвущая боль заставила его простонать целую ночь» (Каразин 1905: 6/120–121) («Ак-Томак») – таким образом Каразин вплетает в художественный текст эндемический дискурс.

Не только Каразина впечатлила среднеазиатская стихия под названием *саранча*, у Каразина она принимает эсхатологический образ: «Третьего дня у нас саранча пролетела, чуть только нашего сада не задела... Туча-тучею! даже темно середь полудня стало» (Каразин 1905: 17/7) («Голос крови»);

«Аман, аман! – кричат разом все трое, из-за реки прибывшие. <...> “Саранча идет”. Готовься!.. <...> – Земли не видно под нею, – говорят киргизы с того берега, – глазом не окинешь, где она начинается, где кончается. Перед нею, говорят, степь зеленая, а за нею пыль только столбами по голому месту носится... Бий прислал сказать, чтобы здесь готовились, через воду ее не пускали бы... <...> Пешая саранча – это такая, у которой крылья еще не выросли, ползет она и прыгает по земле густою массою, все зеленое на ходу своем поедает, потому, во-первых, что она очень прожорлива в эту пору бывает, а во-вторых, ее столько, что и счесть нельзя, если бы считать даже не поштучно, а сотнями тысяч. Бывает в здешних местах так, что когда идет пешая, то в ширину ее колонны верст на пять расстилаются, а в глубину, от передних до задних, десятки верст укладываются. Цвету она красновато-бурого, и далеко видны покрытые ею пространства. <...> Пришло и наше время с саранчою схватиться... Сперва она редко повалила, в одиночку... Пока ее не жгли, а просто лопатами отбрасывали, ногами топтали, а тут сплошь подваливать начала, пришлось зажигать огни, красным петухом огораживаться... <...> Всю ночь стерегли у костров мужики и бабы свои поля, всю ночь шел по степи глухой гул и шелест: то ползли все дальше и дальше ненасытные, несметные полчища; а к утру только там и сям виднелись одинокие, отсталые... Птицы их доклевывали, стаями над землею черною, оголенную носились, и глядели эти птицы, что за диковина такая, что вот же уцелел этот

зеленый клочок земли, один посреди объединенного поля, словно бархат цветистый, в черную раму оправленный...» (Каразин 1905: 7/237–246) («С севера на юг»).

Стихия, столь часто встречавшаяся в Туркестанском крае, комментируется В.П. Наливкиным, современником Каразина, с точки зрения экономического ущерба: «С половины восьмидесятых годов в крае появилась саранча. Местами она отраждалась⁹⁰ время от времени; местами чуть не ежегодно. В самый важный и опасный момент заложения яичек наблюдения за этим не было; отражения саранчовых кубышек не регистрировалось; а потому зачастую саранча отраждалась на следующий год там и в таких количествах, где этого никто не ожидал.

Уничтожение отраждавшейся саранчи производилось натуральной повинностью, нарядом рабочих, что во многих отношениях было неудобным; поэтому впоследствии наряд рабочих переводился на деньги, на которые нанимались желающие, причем туземная администрация обкрадывала народ, а русская делала вид, что ничего не замечает. Впоследствии в некоторых местностях к этому присоединились требования русской администрации о составлении сельскими обществами приговоров о сборе с населения особых средств на приобретение аппаратов Вермореля. В конце концов народ открыто стал говорить, что его поедает не саранча, а те господа, которые от нечего делать забавляются ее истреблением» (Наливкин 2012: 126–127).

Почти нет туркестанского травелога без упоминания саранчи: «...Мы... были вдруг поражены каким-то странным звуком: казалось, что где-то вдали едут целые сотни телег, глухо стуча колесами по земле; гул шел откуда-то сверху; он не уменьшался и не увеличивался в своей силе, и в этом постоянстве и ровности звука слышалась какая-то зловеющая нота, чем-то могучим, неотразимым и неизбежным звучал этот странный гул. Мы долго не могли понять причины звука, пока, наконец, Левашов случайно поднял вверх голову, откуда шел этот звук: причина выяснилась – то летела саранча.

⁹⁰ Так.

В вышине было видно, как она двигалась медленно, но безостановочно; саранча летела довольно редкими рядами, но правильно соблюдая направление. Все кругом было тихо, лишь шум от этого войска, этого “бича Божия”, висел в воздухе, наполняя души неизъяснимым чувством бессилия перед ужасной бедой. <...> ...Вряд ли где является она (саранча. – Э.Ш.) в таких колоссальных размерах, как на Кавказе и в Туркестанском крае. Едва ли также еще где-либо природа столь ожесточенно вооружается против землепашца, как опять же в Туркестане. <...> Но самое главное, самое тяжелое зло – саранча, с которой уже совсем невозможна никакая правильная борьба и надежда на победу. Прежде чем человек успеет опомниться, она уже исчезнет, оставив после себя пустыню как выжженную огнем.

Есть среди номадов предание, будто Магомет на крыльях саранчи прочел такую надпись: “Сила наша необъятна; каждый год мы кладем по 99 яиц, если же мы клали бы их по 100, то завладели бы всем миром”» (Уралов 1897: 146–147).

Описывая полчища врагов, Каразин пишет: «...Подвигались все вперед и вперед штурмовые колонны. Шли, как пешая саранча, с каким-то зловещим шорохом...» (Каразин 1905: 5/176) («Наль»).

Дело было сделано – Каразиным и востоковедами: саранча – как образ и стихия – входит в дискурс XX и XXI вв. Так, пишет А. Волос в романе «Возвращение в Панджрут»: «Когда их мало – они кузнечики. Полевые кобылки. Скачут в траве, распевают песни. Но стоит расплодиться сверх меры – превращаются в саранчу.

– И что?

– И летят черной тучей. Было поле – осталась голая земля. Был сад – теперь только черные стволы.

– Что ты хочешь сказать своими кузнечиками?

– Не знаю. Так, смутный образ. Один правитель – один кузнечик. Десять правителей – десять кузнечиков» (Волос 2013: 463).

Сухбат Афлатуни в повести-притче «Глиняные буквы, плывущие яблоки» создает гротескный образ сына саран-

чи, происхождение которого скрыто, по сюжету, но живет молвой, а учителю, с его дервишеским даром предвидеть и постигать прошлое, Председатель предстал ребенком, в воображении явилась его мать, а отец – нет, потому что природа отца нечеловеческая, ее даже дервиш постичь не в состоянии. «Отцом» Председателя оказалась саранча – слово собирательное, не персонифицированное.

«Знаете, – сказал учитель, – привычка у меня есть. Когда какой-то человек мне злым кажется, я его маленьким начинаю представлять... <...> А вот отца Председателя не смог представить... <...> – Насчет его отца, учитель... Конечно, то, что про него болтают, это для уха образованного человека – чушь и мифология... <...> Рассказывают, что в войну саранча к нам часто заглядывала. Целое стадо саранчи по небу скачет, скачет, потом с неба на поле прыгнет и все поле съест. Я такое один раз сам видел – в мирное время, конечно; во время войны еще мои родители детьми были... Знаете, такое страшное, обидное для человека зрелище – пустота вместо урожая. И такие они, шайтаны, организованные – солнца не видно, когда на посадку идут. Главное, убежать сразу. А то на тебя съедут. Может, заразят чем-нибудь. Они ведь как крысы, только с крыльями. Поэтому бежать с поля надо. А старики говорят еще: отец-саранча прийти может.

– Отец-саранча?

– Да, это как у пчел – пчеломатка, только в сто раз хуже, потому что от пчелы человек мед имеет, и пчела то растение, на которое приземляется, не ест, а наоборот, с цветка на цветок зародыши переносит. Вот, пчела... О чем я говорил? Да, отец-саранча. Это их начальник. Роста он, говорят, крупного – с маленькую собаку или курицу. Сам не видел и наука его, по-моему, еще не отловила. Он в середине стаи летит. На поле сядет – его не видно, у него вокруг – охранники, заместители, витязи... Самое, говорят, неприятное, что он на человеческих женщин иногда налеты делает. Саранчихи ему своим прыганьем надоедают, вот он, развратник, и плюет на законы биологии... <...>

– ...Мать Председателя, мужа на войну отправила, сидит, ночью спит или плачет, днем на поле работает. Так год прошел, и вдруг она побледнела. Еще полгода прошло, и все село видит, что она беременная. А оказывается, она один раз на поле оказалась, как раз когда там саранча обедала. Тут к ней отец-саранча и подкрался. Она, конечно, кричала, но ее подруги по кустам *на корточках*⁹¹ (курсив мой. – Э.Ш.) спрятались, тоже бояться с саранчой дело иметь. Что селу делать? Отвезли ее к мутле и к секретарю парторганизации; те одно и то же сказали: “Безобразие, но что поделаешь – война; все для фронта, все для победы; главное, чтобы, когда муж вернется, не прибил ее, вместе с ее кузнечиком; а может, еще муж погибнет, и тогда вообще вопросов и мордобоя не будет”.

Допил сухие остатки чая.

– А когда она рожала, говорят, все село прибежало и в окно лезет, интересуется. Одни говорят: будет наполовину наш, наполовину – с крылышками-лапками, другие говорят – нет, она сейчас просто яйцо снесет, как это саранчи любят делать, и это яйцо надо государству отдать, на военный анализ... А родился Председатель» (Афлатуни 2006а).

Председатель в повести – средоточие зла: притеснения, обирания, насилия, запреты и прочее – все исходит от него; собственно, этот саранчовый образ занял традиционное место в биполярной структуре притчи: уничтожение Председателя привело к восстановлению гармонии.

Верблюды – наиболее распространенный образ пустыни в мировом дискурсе⁹². В прозе Каразина верблюд присутствует в

⁹¹ Туркестанский паттерн, вошедший в русскую прозу в XIX в., продолжает жизнь и в XXI-м.

⁹² Верблюды – один из паттернов восточного текста вообще; А.С. Грибоедов одним из первых в русском дискурсе начал его тиражирование: «Возле каравансарая много отдыхающих путешественников, верблюдов и ослов...» (из «Путешествия от Тавриза до Тегерана»; февраль-март 1819) (Грибоедов 1971: 140); «Тьма верблюдов,

разных ипостасях: как этнографическая деталь быта кочевников (подробно описан нрав верблюда, его взаимоотношения с человеком, даже специфический тяжелый запах), экзотический персонаж в колониальной картине края (верблюды использовались для перемещения русских войск), сакральный персонаж туземного фольклора.

Каразинский дервиш рассказывает сказку (но, с точки зрения повествователя, это не сказка, а завуалированная агитация, так как дервиш в поэтике Каразина означает практически шпиона, врага русского туркестанского проекта). Сказка о верблюде-красавце, его «портрет» описан самыми превосходными эпитетами. Жил тот верблюд в не менее прекрасной стране. Вдруг потемнело небо – с севера надвинулись тучи, под покровом которых в страну приближалась стая кровожадных волков, накинувшаяся на несчастного верблюда. Истекающий кровью, он взмолился, обращаясь к Аллаху, чтобы тот пощадил его и правоверных, которые вступили в отношения с неверными. Неожиданно пришла помощь – это Аллах услышал молитву: по небесной дороге спустилось на землю большое крылатое войско, возглавляемое Тимуром. Ударило святое войско по волчьей стае, погибли все, обогрив землю черной кровью. Великий Тимур повелел отрезать волчьи головы и наткнуть их на копья, а копья посадить в землю и так отгородиться от холодного севера. И снова стало светло на всей земле (Каразин 1905: 9/123–125) («Юнуска-голово-рез»). Аллегория этой притчи весьма прозрачна: верблюд, его тело – это тело туземного народа, волки – колонизаторы, на борьбу с ними иносказательно призывает дервиш.

«О белом верблюде» – так названа проповедь старого дервиша, размещенная в другом произведении Каразина – романе «Погоня за наживой». В комментариях к тексту проповеди Каразин оповещает читателя, что ее текст существовал в фольклорной действительности, он был записан «доктором Авдеевым в 1867 году; мусульманское духовенство, возбуждая лошаков, коней» (из «Путевых записок»; 8–28 июля 1819 г.) (Грибоедов 1971: 144).

народ к поголовному восстанию против русских, к “хазават” (священной войне), рассылало по городам своих агентов – “дивона” с подобными подстрекательными речами» (Каразин 1905: 3/213). Эта проповедь-притча представляет вариант той сказки, которая приведена выше. В прекрасной, богатой плодами стране жил белый верблюд. Бараны там «паслись уже совсем готовые – вареные и жареные... молоко текло по всем арыкам». У людей было только одно дело – ухаживать за верблюдом: «рвать ему розы, подавать молоко и подстилать на ночь одеяло». Однажды они не принесли ему розы, решив, что он сам может нарвать их себе. Далее сюжет проповеди-сказки развивается похожим на предыдущий сюжет (см.: Каразин 1905: 3/213–217). В этом фрагменте повествования важен контекст, включенность проповеди в коллектив слушателей: как они слушают, какие отпускают реплики, замечания – Каразину было важно показать силу туземного «агитпропа», коим являлся дервиш.

О массовом распространении сакрального образа белого верблюда в туркестанском фольклоре говорит и запись, сделанная Свенем Хединым: «Мустаг-ата считается священной горой. Киргизы становятся на колени и творят молитву, когда проезжают мимо или еще только завидят ее издали. Там покоятся 72 святых; уверяют даже, что гора эта громадный “мазар”, или святая могила, в которой между другими лежат и Моисей и Али. Последний, почувствовав приближение смерти, предсказал окружающим, что, когда жизнь покинет его, с неба явится белый верблюд и унесет его тело. Действительно, по смерти святого мужа явился белый верблюд, взял его на спину и поспешил на Мустаг-ату. В то, что там почивает и Моисей, киргизы также верят незыблемо и нередко даже называют гору Хазрет-и-Муза, т. е. “святой Моисей”. ...Киргизы рассказывали, что одному старому “ишану” удалось много веков тому назад взойти на гору. Он нашел там озеро и речку, на берегу которой пасся белый верблюд» (Хедин 2010: 73).

Судя по отдельным каразинским фрагментам о верблюде, у писателя был к этому животному исследовательский

интерес – помимо прочего, его интересовали даже звуки, на которые откликался и реагировал верблюд: «А ведь как его, верблюда пропавшего, бросить! Скотина ценная: шестьдесят монет дать, так и не всегда купить можно. <...> Кричат, зовут, выглядывают; только и слышно на разные голоса: “каз-каз-каз!” – призывные крики. Нет как нет пропавшей верблюдицы! <...> Запрягли тарантасы, навьючили верблюдов, покричали еще: “каз-каз-каз!” и тронулись» (Каразин 1905: 16/140) («Наурус и Джура, братья “кудукчи”»);

«Малоросс дернул за повод и издал гортанный хриплый звук, которым обыкновенно поднимают верблюдов на ноги» (Каразин 1905: 2/112) («Погоня за наживой»).

Один из эпизодов в мусульманском дискурсе, подтверждающий сакральность верблюда, связан с Пророком Мухаммадом: прибыв в свой новый город, Мухаммад отпустил поводья любимой верблюдицы, которая сама остановилась на пустыре. Именно здесь, в Медине, и была построена первая мечеть на земле (см.: Форвард 2002: 32). В мусульманской мифологии десять животных являются кодом неба (Топоров 1991: 441), Верха – главной, основной части космоса. Среди прочих – верблюд, эквивалентом которого был его хозяин Салих. По словам Г. Гачева, «верблюд – как модель мира», восточного мира, «верблюд=космическое, вселенское существо», он «приближен к небу... и сам корпус его горбатый выпукл, как небосвод: Аллах в нем обитает» (Гачев 2002: 66–67).

Сакральное отношение к верблюду в мусульманской культуре идет из Корана. Кораническая мифология растиражирована в словесности, устной и письменной, что проиллюстрировано фольклоризмом каразинского текста.

Живую традицию почитания верблюда подтвердим литературным примером конца XX в. В основу романа Тимура Пулатова «Плавающая Евразия» (1991) легли коранические и доисламские легенды: Бог, возмущенный безверием, поклонением идолам племени самудян, предупредил, что пошлет в наказание землетрясение. В качестве представителя своей воли он послал людям верблюдицу, с запретом причинять ей

вред, и лаучи, верблюдовожатого Салиха, одного из пророков Аллаха. Салих предупредил самудян о грядущем наказании. Самудяне презрели назидания Салиха – убили верблюдицу, за что и были наказаны – погребены в скалах от сотрясения земли. Коранический сюжет о верблюдице ремифологизируется Пулатовым: шахрадцы, персонажи пулатовского романа, убившие и насладившиеся мясом священного животного, должны понести наказание, как это случилось с кораническими самудянами, погребенными сотрясением земли в пещере. Пулатов не повторяет финал коранической легенды – он оставляет шахрадцев жить, но «жизнь сама дана им как кара. <...> А конец света не кара, а избавление...» (Пулатов 1995: 3/250).

Еще в одном произведении Тимура Пулатова – в повести «Прочие населенные пункты» (1967) – присутствует сакральный символ верблюда: «Возле одного из домов Бекова заинтересовал высокий, до крыши, шест с черепом верблюда – так суеверные гаждиванцы отгоняют духов несчастья. Долго смотрел Беков на череп, пытаясь постичь эту премудрость, затем пошел туда, где повалился забор, обошел дома и снова очутился возле шеста с черепом» (Пулатов 1995: 1/155). Беков, возможно, осознал, почему город, который он задумал построить, умирал, не родившись, – ведь убившие верблюдицу, по Корану, должны быть наказаны. И не случайно Беков, заблудившись, вернулся к шесту с черепом: это круг его жизни, напоминание о сделанном. С этого момента Беков прозревает, осознает свою ошибку и умирает – больше он ничего ни сделать, ни исправить не может.

Ландшафт Туркестанского края, описанный в каразинской прозе, состоит, помимо пустыни, из богатейшей растительности: везде, где проживают сарты, – тучные сады, состоящие из плодовых деревьев, впрочем, не вызывающих особого удивления у представителя инокультуры, так как подобные плоды есть и в русском ландшафте. Каразинского по-

вестователя впечатляют экзотические деревья и плоды, среди них – тутовник; он много раз, из текста в текст, описывает это дерево:

«Дорога в Бухару, обсаженная тузовыми деревьями... <...> Громадные туты, сплошь покрытые белыми ягодами, бросали на дорогу густую, непроницаемую тень. <...> В воздухе пахло медовым запахом тутовника. Целый град ягод сыпался на пыльную дорогу при каждом ударе штыка о низко свесившиеся ветви» (Каразин 1905: 9/79–82) («Ургут»);

«Из этой сакли две двери выходили в открытый дворик с оголенными тузовыми деревьями...» (Каразин 1905: 6/4) («Тьма непроглядная»);

«Моя палатка стояла в углу большого двора, обнесенного высокою глинобитною стеною. Густое, раскидистое тузовое дерево свесило свои отягченные белыми ягодами ветви как раз над самую полотняную крышею моего жилища.

От каждого малейшего сотрясения: опустится ли на ветки большая птица, пробежит ли мохнатая бухарская кошка с соседнего двора, колыхнет ли едва заметный ветер, – на туго натянутое полотно сыпется целый дождь спелого тутовника, глухо барабаня по туго натянутой, раскрашенной в азиатском вкусе холстине» (Каразин 1905: 9/131) («Рахмед-Инак, бек Заадинский»).

Жители некоторых российских широт знают аналог тутовника – шелковицу, но такой крупной ягоды, как в Средней Азии, да еще и разного окраса (белого, розового, сиреневого, красного, черного), в России не растет⁹³.

Еще одно плодовое дерево выглядит для русского читателя экзотическим – урюковое (или урючина): «...В тени громадных тополей, урюковых и абрикосовых деревьев, расположилась главная квартира. <...> С шумом, похожим на крупный дождь, сыпался на землю незрелый урюк, трещали ветви, не выдержавшие тяжести забравшихся на них солдат»

⁹³ О тутовнике как паттерне ташкентского текста см.: Шафранская 2010: 160–161.

(Каразин 1905: 9/62) («Зарабулакские высоты»). В современной повседневности часто приходится слышать споры и наблюдать недоумение россиян: почему урюк? это же абрикос! Однако в русском языке Средней Азии словами-фитонимами «урюк» и «абрикос» называют плоды, в общем-то, одинаковые, но различающиеся размером, и Каразин это тонко подметил⁹⁴.

В подобный ряд – эндемических фитонимов – можно поместить и слово «кишмиш», неоднократно встречающееся в прозе Каразина. И оно требует комментирования, так как для русского читателя *кишмиш* – сорт бескосточного винограда, но у Каразина кишмиш – это сушеный виноград, именно таково значение этого слова в русском языке Средней Азии (кишмиш там – слово многозначное: означает и «бескосточность» в том числе). Каразинский рассказчик обращается к мародерствующему солдату, который шумно и много грабил, но в итоге все бросил и вернулся в лагерь ни с чем: «... Спросил его, что же он притащил хорошего, то он с улыбкой показал на свои карманы, набитые кишмишом и урюком» (Каразин 1905: 9/108) («Ургут») – здесь речь идет именно о сушеном винограде, который в русском языке россиян называют «изюм» (огласовка узбекского *узум* – виноград). В следующем фрагменте зафиксирован традиционный, живущий с давних времен до сей поры артефакт-угощение: «...Поближе с собеседницами стоял еще один поднос с фисташками, миндалем и сухим кишмишом...» (Каразин 1905: 1/3) («Тьма непроглядная»).

К.С. Петров-Водкин описывает свои туркестанские впечатления: «Урюк и абрикосы... <...> В лавочках кишмишовый изюм разыгрывается янтарем к этому времени» (Петров-Водкин 1923: 12). «Урюк» и «абрикос» художник дифференцировал точно, а вот «кишмишовый изюм» – это, с точки зрения азиата, – тавтологическое словосочетание.

⁹⁴ Именно об урюке пишет А.И. Солженицын в «Раковом корпусе», подтверждая, что урюк – паттерн туркестанского текста (об этом см.: Шафранская 2010: 77).

Зрение кочевника

Еще одна деталь антропологического свойства подмечена и растиражирована Каразиным-этнографом – это превосходное зрение кочевников: «Ну, да у этого (киргиза. – Э.Ш.) глаза днем видят лучше всякого бинокля, ночью – лучше всякой кошки» (Каразин 1905: 6/178) («Тигрица»);

«Колокольчики мы оба сняли... зачем поднимать шум на всю степь... Впрочем, эта предосторожность почти излишняя, – глаз киргиза видит дальше, нежели слышит его ухо...» (Каразин 1905: 9/209) («Три дня в мазарке»);

«Это что? <...> – Где?.. – А вон, вот маленькое, дымчатое облачко идет, а левее за черным камнем... видишь, шевелится...

– Это орел, должно быть.

– Нет, сторожевой...

– Полно!.. видишь, крыльями машет, вон взлететь собирается.

– Это лошадь хвостом махнула... Что?..

Прибегают к помощи бинокля; но и бинокль не всегда решает спор в какую-либо определенную сторону.

А горец сторожевой простыми глазами видит все ясно... он определил уже и род наших войск, и их направление, он даже сосчитал приблизительно эти чуть заметные, гуськом пробирающиеся по тропинке белые точки...» (Каразин 1873а: 600) (очерк «Защитники Зарафшанских гор»);

«Зоркий глаз барантача отыскал на вершине далекого песчаного наноса, верстах, по крайней мере, в пяти по прямому направлению, небольшую, едва заметную точку» (Каразин 1905: 1/137–138) («На далеких окраинах»);

«Я киргиз... киргиз глупый, думаешь так?.. А киргиз глупый лучше вас вдали видит.

– Ну, уж лучше!..

– Лучше!.. Вон то что?

И Бабаджанов указал рукою вдаль, где от мечети отделилась какая-то белая тряпка на палке.

– А черт его знает что!

– То-то!.. Это они парламентаров посылают. Сейчас из-за той стенки покажутся» (Каразин 1905: 5/180) («Наль»).

Та же деталь, что и у Каразина, отмечается шведским путешественником: «...Встретили киргиза. Своими соколиными глазами последний высмотрел в трех верстах расстояния кучку верховых и лошадей» (Хедин 2010: 57);

«Мы ехали тихо и медленно и проехали так близко от караула, что киргизы своими соколиными глазами видели юрты, но никто не окликнул нас, даже собаки не залаяли, хотя с нами был Джолдаш (кличка собак. – Э.Ш.)» (Хедин 2010: 152).

Рождение девочек

Предпочтение мальчика девочке при ожидании ребенка – весьма распространенный прецедентный мотив во многих этнических сообществах. Однако именно на мусульманском Востоке это предпочтение проговаривается и провоцирует действия, а впоследствии и сюжеты в словесности:

«У серкера Годай-Аггалыка после восьмилетнего бесплодного супружества родился сын. Аллах услышал молитвы старого Годая и ниспослал свою благодать на молодую жену его... Она была полная властительница в богатом доме Годай-Аггалыка: все окружающее завидовало ей и заискивало в ее расположении. <...> Одно только сильно беспокоило любимую жену: мысль, что ее беременность разрешится девочкой, и тогда – прощай ее власть, ее влияние на мужа: все могло обратиться в противоположность» (Каразин 1905: 13) («Байга»);

«А тут еще другая беда пришла: сколько жен ни было у хана, все родят одних девочек...»

– Ишь ты, дрянь какая, – вставил кто-то и даже плюнул презрительно.

– “Уж хан совсем рассердился на своих жен и велел, как только кто из них родит девочку, сейчас резать: и мать, и приплод ее поганый...”» (Каразин 1905: 1/99) («На далеких окраинах»);

«Не везло дому в одном: много уже жены прежние приносили детей, да все девочек, – самое пустое дело для богатого человека, а мальчика, желанного, радостного мальчика ни одного...» (Каразин 1905: 6/6) («Тьма непроглядная»);

«...Самое рождение девочки, вместо почему-то всегда ожидаемого мальчика, производит уныние и панику в целой семье. Мать не смеет рассчитывать на привет и ласку со стороны мужа и отца: она редко получает даже обычные в таких случаях подарки. Одно только обстоятельство примиряет разгневанного властителя с совершившимся фактом, это – надежда выдать дочь замуж и получить выгодный “калым”» (Каразин 1905: 6/127) («Ак-Томак»);

«Детей у Аблая было множество, все больше сыновья; старик говорил, что *Аллах, видимо, милостив к нему и не наказывает его дочерьми*» (Каразин 1872а: 87) (очерк «Из Центральной Азии»).

Этот ментефакт – преамбула к разговору о роли и месте женщины в среднеазиатской культуре.

Евреи

Теме «евреи в каразинском творчестве» посвящен объемный материал в книге С. Дудакова «Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России» (Дудаков 2000: 380–389). Подробно пересказаны фрагменты из двух произведений Каразина: «Тьма непроглядная» и «С севера на юг» – по причине, надо полагать, малоизвестности текстов Каразина.

В целом, прекрасное концептуальное освещение темы. Однако вкралось некоторое сомнение – насколько хорошо автор знаком с каразинскими текстами. В частности, он пишет: «В романе “С севера на юг” (иногда эту вещь называют повестью) дано яркое изображение природы по пути перелета журавлей от Осташковских болот до Нила. Повесть в свое время была популярна. Один из ее героев – Абрам Моисеевич Мандельберг» (Дудаков 2000: 384). Далее близко к тексту идет изложение фрагмента, посвященного этому персонажу

каразинского романа. А сомнения возникли в связи с тем, что, во-первых, Абрам Мандельберг – вовсе не герой, а лишь второстепенный персонаж, во-вторых, «С севера на юг» – это именно роман, напечатанный в двух книгах – вкуче 520 страниц, в-третьих, С. Дудаков явно перепутал детскую книжку «С верховьев Волги на истоки Нила (Путевые впечатления журавля)», которую публикаторы печатают под заголовком «С севера на юг», с романом о русских переселенцах в Среднюю Азию, который называется так же – «С севера на юг»⁹⁵.

Все эти замечания не причина, чтобы переписать тему евреев у Каразина. Однако подойти к ней более узко стоит (широко это сделал С. Дудаков).

С. Дудаков помещает каразинских евреев в уже известную прежде парадигму «еврей в русской литературе» (об этом писали В. Жаботинский, М. Еленевская и Л. Фиалкова, М. Вайскопф, Б. Сарнов и др.).

«Еврей в русской литературе – гость сравнительно поздний. Интерес русских писателей (как и русского общества в целом) к еврейской проблематике зародился даже не в середине, а во второй половине XIX столетия» (Эдельштейн 2005: 384). Тем не менее евреи изображались в русской литературе начала XIX в., скорее, как деталь ландшафта.

Какие стереотипы выработала русская литературная традиция в изображении еврея за столь небольшой срок? Алчный торгаш, ростовщик, контрабандист, шпион, предатель, вражеский лазутчик, соглядатай, отравитель, «трусливый жидок» (Вайскопф 2003: 308).

⁹⁵ Наверное, можно понять С. Дудакова: его исследовательская цель – показать, как изображены евреи в русской литературе. Тем не менее удивляет подобная неряшливость. Он подробно излагает историю каразинского героя – надо полагать, что книга была перед его глазами (ее нет в оцифрованном виде, только бумажный вариант 1905 г. и электронный сканированный вариант, напечатанный в старой орфографии). Однако существует детская книжка «С севера на юг: Путевые заметки старого журавля», не раз издававшаяся (последний раз – в 2006 г.). Перепутать невозможно.

Именно так изображены каразинские персонажи-евреи: отставной горнист Вульфзон (а ныне содержатель трактира) с женой Амелией, отставной каптенармус Зимборг (а ныне содержатель гостиницы), тоже с женой Амелией («Погоня за живой»), еще один трактирщик Вульфзон, «христопродавец» («В камышах»), мелкий предприниматель и мельник Абрамка Мандельберг («С севера на юг»), «солдаты, особенно из евреев, которые барантуют, руководимые чисто меркантильными соображениями» («Ургут»), жид-чучельник («Джигитская честь»), жид-ресторатор Тюльпаненфельд («На далеких окраинах») и еще с десяток второ- и третьестепенных персонажей, охарактеризованных как малоприятные, меркантильные, продажные личности⁹⁶. «При Николае I... свыше полоа вины законодательных актов, принятых в его царствование, посвящены евреям. <...> ...Цензура запрещает изображение положительных еврейских персонажей, ибо “жиды не могут и не должны быть добродетельными”, – ограничение, которое нельзя не учитывать при изучении еврейской темы в русской литературе» (Вайскопф 2003: 307). Иным изображать еврея просто запрещалось – еврей исключался из состава общечеловеческой семьи, объявлялся «врагом рода человеческого» (Вайскопф 2003: 300). Приглашая заезжего господина в го-

⁹⁶ С. Дудаков (в указ. изд.) упоминает еще одного каразинского еврея: «И у Каразина в романе “Наль” появляется эпизодическая фигура фельдшера Айзика. Рота, в которой служил Айзик, попала в окружение, и, не желая оказаться в плену у мусульман, он, используя свои знания, вскрыл себе ланцетом вены. Комендант, услышав дурную весть, не то осуждающе, не то сожалея говорит: “Что поторопился?”» (Дудаков 2000: 387). Это явное преувеличение. Потому как никакой «фигуры Айзика» в романе «Наль» нет. Имя фельдшера один раз упомянуто в реплике: «Подошел доктор к коменданту и проговорил тихо: – Фельдшер Айзик зарезался ланцетом! – Что поторопился? – печально усмехнулся Иван Алексеевич» (Каразин 1905: 5/191). Деталь эта нужна, видимо, повествователю для создания накала в настроении осажденной цитадели – так еврей, своими упадническими настроениями, противопоставлен стойкости русских.

сти, «старый пушкарь» обосновывает преимущества отужинать у него: «...Чем вам есть всякую дрянь в жидовском трактире» (Каразин 1905: 13/67) («В камышах»).

«Секретный циркуляр, подписанный Александром III 25 мая 1888 года по представлению военного министра, предусматривал ряд мер, направленных на установление контроля за деятельностью религиозных и этнических общин, которые считались опасными. <...> Эти разрозненные, отчасти секретные меры свидетельствовали о распространении ксенофобских и антисемитских воззрений в администрации в эпоху Александра III и Николая II. <...> Царским чиновникам был свойственен не только стойкий антисемитизм, но и страх перед появлением альтернативной – по отношению к Российской империи – политической и геополитической лояльности» (Кадио 2010: 25–28).

Соответствовал ли Каразин-литератор циркулярам, такое ли место занимал еврей в его картине мира (известно, что знаменитый дед Каразина – Василий Назарович Каразин, ученый и общественный деятель, был антисемитом; правда, пообщаться писателю с ним не удалось, он родился в день смерти деда) – сказать однозначно сложно, о чем более подробно речь пойдет ниже.

«...Разослан был циркуляр, чтобы в каждом полку была учреждена фельдшерская школа при лазарете, – вспоминает старый солдат М.И. Меримзон, – для 16 способных молодых солдат, по одному человеку из каждой роты. Наш дивизионный доктор почему-то симпатизировал нашей нации и написал старшим полковым врачам, чтобы они набирали побольше “еврейчиков”. Был полковой смотр; полк выстроился развернутым фронтом. Перед фронтом шел полковой старший врач, а за ним фельдшер, державший в руках свернутую трубкою бумагу с карандашом. Врач, начиная с первой роты, стал вызывать: евреи, вперед! Выходили евреи, но все старые, которым в скором времени предстояло выйти в отставку. Подошел к моей роте и кликнул: евреи, вперед! Нас вышло пять человек, между которыми я оказался самым молодцеватым.

И не стал врач меня расспрашивать, знаю ли я грамоту русскую, а велел тут же записать меня. Он приказал, чтобы я после смотра сдал винтовку и со своими вещами отправился в полковой лазарет...» (Меримзон 1913: 221).

Этот факт сполна отражен в туркестанских сюжетах Каразина: «какой-то жидообразный брюнет с докторскими погонами на плечах» («Погоня за наживой»), «жидок, помощник фельдшера» («В камышах»), «фельдшер из жидков» («Двуногий волк»), «фельдшер жидок» («На далеких окраинах»), «молодой солдат еврейского происхождения», помощник доктора («Зарабулакские высоты»), фельдшер Мандельберг («На далеких окраинах») и др.

Каразин, будучи художником и сотрудничая со столичными журналами, часто размещал рисунки и гравюры с социальными и этническими типажам, подмеченными на окраинах Российской империи. Среди них есть и евреи. Свои художественные работы Каразин сопровождал словесным описанием. В одном из номеров журнала «Нива» за 1877 г. появляется разворот под заголовком: «Близ Кишинева. Рисовал с натуры наш специальный корреспонд⁹⁷. Н. Каразин». Рисунки сопровождаются текстом, но автор этого характерного текста не указан – что часто случалось: Каразин подписывался или инициалами «Н.К.», или же авторство его словесного сопровождения предполагалось по логике публикации. Так, предположу, произошло и в этом случае: рисунки – Каразина, текст – без автора, сначала идет преамбула от редакции, затем, по всей вероятности – от автора рисунков: «Помещаем несколько рис.⁹⁸ пером нашего специального корреспондента Н.К., знакомящих с жизнью Кишинева. Бойкие наброски дают весьма цельное представление о некоторых частностях этой жизни. <...> Жид-маркитант, изображенный на третьем рисунке, – давно уже знакомое всякому русскому лицу, в особенности наши южнорусские губернии знают его. Теперь ему праздник – народу много: дери за все, сколько можешь.

⁹⁷ Так.

⁹⁸ Так.

Он, разумеется, нисколько не заботится о том, как о нем отзываются все, поставленные в необходимость иметь с ним дело. Лишь бы “гешефт” был, думает он, а все остальное – прах и суета. Иной раз поругают, иной раз случается, что и в шею наладут, – что за беда: ведь “гешефт” сделан, значит, брань и толчки не в счет. И те, которым по роковой силе обстоятельств приходится иметь дело с жидом, тоже в конце концов мирятся со своей долей: дадут жиду встрепку и решают, что “заплачено за обман сполна”. Относительно же вопроса о законности жидовской эксплуатации они давно уже пришли к тому, путем наблюдения и опыта сделанному выводу, что как таракан заводится в доме, прежде чем в нем поселятся жильцы, так и еврей заводится везде – и средств спасения ни от того, ни от другого нет» (Нива 1877: 114–115). То, что автор этих строк – Каразин, подтверждает насыщенный антисемитским содержанием очерковый цикл «Дунай в огне», переключаясь с приведенными комментариями под рисунками Каразина⁹⁹. Каразин, сравнивая еврея с насекомым, следует традиции: изображать этнотип *чужака* животным, в том числе насекомым, – одна их характерных особенностей культуры вообще (см.: Белова 2005: 39–64; Еленевская, Фиалкова 2005: 1/122; Шафранская 2009).

Таким образом, в изображении евреев в литературе Каразин был одним из общего хора писателей XIX в. Однако стоит остановиться на новой ноте, о которой вряд ли кто из современников Каразина писал. На территории Средней

⁹⁹ Один из многих антисемитских пассажей из «Дуная в огне»: «Жиды, жиды, жиды!.. Это все, что видит здесь ваш глаз, слышит ваше ухо, обоняет нос; эта темная сила, непроизводительная, гнетущая край сила уже заплонила “российскую житницу” и отодвинула на самый задний план ее исконное, чубатое население. <...> Если железные дороги весьма удачно сравнивают с артериями, правильно разносящими по краю его кровь, его лучшие жизненные соки, то жидов, сгруппировавшихся именно по этим дорогам, не менее удачно можно сравнить с пиявками, присосавшимися вплотную, безотрывно, к жизненным артериям...» (Каразин 1905: 18/14–15).

Азии проживало огромное количество *других* евреев – ныне их называют *бухарскими евреями*, но Каразин этот этноним не упоминает, тем не менее эти, *другие*, евреи описаны иначе, их писатель явно отличает от *привычных* для него: «Какая громадная разница между ними и их европейскими собратьями: это именно те древние иудеи, не искаженные дальнейшим ходом бытовых и исторических событий» (Каразин 1905: 9/135–136) («Рахмад-Инак, бек Заадинский»).

Речь идет об этносе, который в Туркестанском крае официально называли среднеазиатскими евреями, или евреями-туземцами; у них был свой язык – диалект фарси, своя обрядово-ритуальная жизнь, тем не менее религия была иудейской; они сумели сохранить этническую идентичность и диаспоральность вплоть до последнего времени¹⁰⁰. В ниже приводимых фрагментах из каразинской прозы речь идет именно о туземных, или бухарских, евреях, отличие которых от «европейских» так поразило Каразина¹⁰¹:

«Справа и слева тянулись лавки евреев-красильщиков; под навесами сидели сами хозяева, раскладывая показистей целые вороха цветного шелка. Руки у всех были яркого синего цвета почти по локти. Причиною этого необыкновенного цвета кожи – то обстоятельство, что красильщики преимущественно возятся с индиго, самую употребительнейшею краскою, и руки их до того пропитались этим веществом, что как бы ни мыли их, они не принимали уже первобытного вида. Я сам видел, как еврей, в доказательство чистоты своих рук, полоскал их несколько минут в чашке с чистою водою, и вода не окрасилась ни капли. Только временем могут постепенно

¹⁰⁰ Практически 100% бухарских евреев к началу XXI в. покинули Среднюю Азию, выехав па ПМЖ в другие страны.

¹⁰¹ Жизнь бухарских евреев впечатлила и русских художников (это был следующий после Каразина «русский десант» в Туркестан): «Красильщики» (1932) Е.Л. Коровой (Государственный музей искусств им. И.В. Савицкого Республики Каракалпакстан); «Бухарские еврейки с рыбой» (1927) А.В. Николаева/Усто Мумина (Собрание Г.Л. Козловской-Герус, Ташкент).

отмыться эти вечно рабочие руки, но почти каждый день приходится подновлять и подновлять их окраску, и с этим обстоятельством все давно уже примирились. При нашем проезде евреи все вставали, низко кланялись и провожали нас всевозможными ласкательными приветствиями, улыбаясь при этом своею красивой, добродушной улыбкой. <...> Когда мы поравнялись с воротами караван-сарая, то заметили на дворе несколько оседланных лошадей: это было уже нововведение. До прихода русских немусульмане не смели показываться на улицах верхом на лошадях. Лошади считались слишком благородными животными, чтобы позволить садиться на них в присутствии правоверных таким нечестивцам, как евреи и индийцы. С нашим появлением права несколько уравнились, и прижатые и угнетенные вздохнули свободнее. Это, конечно, не всем нравилось; находились недовольные, но что же делать! С силою обстоятельств, волею-неволею, надо было примириться, тем более что евреи и индийцы с необыкновенным тактом начали пользоваться предложенными им благами, стараясь не оскорблять религиозного чувства большинства населения резким нарушением привычных для него порядков. Случалось даже (как было в Самарканде), что евреи вовсе не пользовались наружными признаками равноправия, боясь за своих единоверцев в Бухаре, которые могли бы жестоко поплатиться за политическую бестактность своих счастливых собратий» (Каразин 1905: 9/135–136) («Рахмад-Инак, бек Задинский»);

«В азиатских городах вообще ложатся спать очень рано, и в настоящую минуту все ворота были заперты и лавки задвинуты досками. Кое-где попадались нам запоздалые евреи-красильщики с рваными бумажными фонарями в руках; они робко жались к стенкам, уступая нам дорогу» (Каразин 1905: 6/133) («Ак-Томак»);

«...Переулок-щель, по которому пришлось ехать, был слишком узок даже для двух всадников рядом. Металлические стремяна поминутно визжали, чертя по шероховатым поверхностям стен бедных саклей жидовского квартала. Тихо

было в уснувшем квартале мирных красильщиков¹⁰²» Каразин 1905: 3/388) («Погоня за наживой»).

В унисон Каразину в начале XX в. пишет этнографический отчет В.П. Наливкин: «В большей части туземных городов, подобно татарским кварталам, имеются также еврейские, населенные местными, так называемыми бухарскими *евреями*, говорящими на жаргоне персидского языка, причем письма ими употребляются древнееврейские, а священный для них древнееврейский язык большинством их изучается лишь очень поверхностно, исключительно для целей богослужения. <...> При мусульманском правительстве туземные евреи, ввиду неодобрительных отношений корана к иудейству, занимали положение париев: они должны были ездить на ослах, а отнюдь не на лошадях; они были обязаны опоясываться веревками, а не обыкновенными, общепринятыми у туземцев поясами и т. п. <...> Подобно татарам, наибольшая часть местных евреев проживала в городах, а не в селениях, причем громадное большинство их занималось ремеслами; в Фергане, например, они были по преимуществу красильщиками пряжи. Лишь наиболее состоятельные занимались торговлей» (Наливкин 2012: 11–13).

Выше было подмечено, что у Каразина в отношении к евреям не все просто (как, впрочем, и ко многим другим вещам, к которым вмнялось относиться весьма однозначно). В сюжете повести «Тьма непроглядная», «рассказе из гаремной жизни», нарисован конфликт этнорелигиозного характера. Семья небедного туземного предпринимателя Суффи Казиметова состояла из трех жен. Старшая жена умерла, Суффи взял в жены молодую красивую Эстер, которая, если судить по репликам действующих персонажей и повествователя, была еврейкой. Но не из тех евреев, которые были хорошо известны Каразину, а из евреев туземных, говоривших на таджикском языке (фарси). Суффи дружил с пришедшей в город русской властью. Это-то и раздражало главную домо-

¹⁰² Главнейший промысел местных евреев (*комментарий Каразина*).

правительницу в его семье, мать умершей старшей жены, а еще она не могла принять и ужиться с тем, что Эстер, красавица, перетянула к себе все внимание хозяина дома, при этом будучи другого рода-племени. Судя по портретным деталям Эстер, которые дает повествователь, по тому, как раскрывается ее характер, доверчивый, немстительный, сговорчивый и открытый, – Каразин относится к образу этой молодой еврейской женщины с явной симпатией. В травле, учиненной гаремным сговором и закончившейся трагедией, симпатии Каразина явно на стороне Эстер, что наглядно выходит за те параметры в изображении евреев, которые предписывались нравами и правительственными циркулярами:

«...У той имя даже как будто не правоверное, а скорее джюгутское¹⁰³, да и облик у нее совсем особенный... Красива очень, что и говорить, залюбуешься невольно, особенно когда мыться станет, и щеки красить не нужно, сами горят, словно жар, так и вспыхивают; не чета двум остальным, особенно этой косоглазой грязнухе Хатыче... Раз даже злая старуха не стерпела, дала здорового толчка *жидовке*, да и сама испугалась... “Ну, подумала, пожалуется, подлая, на меня хозяину!” А вышло все благополучно: Эстер смолчала и не пожаловалась» (Каразин 1905: 6/5–6) («Тьма непроглядная»);

«Красива была очень джюгутка Эстер, только и подвели же эту красоту заботы и печали о больном мальчике; тяжелое горе отразилось в каждой черте этого строгого, типичного лица, в выражении глубоких глаз, в сдвинутых бровях над тонким правильным носом, в складках сочных губ, сжатых, словно под влиянием нестерпимой физической боли...» (Каразин 1905: 6/12) («Тьма непроглядная»);

«А что, она по нашей вере или по джюгутской, поганой, осталась?»

– Ну, что врешь? – вмешалась тут сама Улькун-Курсак. – Ну разве можно, чтобы правоверный мусульманин да

¹⁰³ Официально бухарских евреев называли (и самоназвание) – яхуди, в просторечии – джугут (огласовка от яхуди); Каразин пишет «джюгут», здесь сохранена эта орфографическая особенность.

джюгутку в жены взял. Она по нашей вере. Она была маленькая, подброшенная... Калым Суффи мулле выплачивал, кто ее вскормил и вырастил...

– Да все равно! – встала и с своей стороны гостя, вся в красном, с особенно богатым набором на груди и шее. – Это у них в крови, в породе самой... ничем не выбьешь!

– Что *это* – что?

– Колдовство самое, чары приворотные, – не помнишь разве, как сам Мозафар от джюгутки чуть не пропал?

– То была иранка.

– Джюгутка...

– Иранка, я тебе говорю.

– Джюгутка...» (Каразин 1905: 6/16) («Тьма непроглядная»);

«Она (врач. – Э.Ш.) ласково провела рукою по голове Эстер и пригнула эту красивую, типичную голову к себе на колени» (Каразин 1905: 6/28) («Тьма непроглядная»).

Обращает внимание определение, отнесенное к внешности Эстер, – *типичная*. Не «типичная еврейка», а просто *типичная* – по-просторечному, что, к сожалению, можно объяснить как бессознательную проговорку антисемита.

Есть у Каразина еще один образ еврейской женщины, не лишенный симпатии повествователя, полузагадочный и полугаинственный, – Рахиль из романа «На далеких окраинах». Образ этот эпизодический, однако к нему ведет полудетективная интрига, разворачивающаяся через весь романский сюжет.

Двое случайно встретившихся путников решили преодолеть пустыню вместе. На пути им попадается разграбленный разбойниками и брошенный экипаж; по ряду примет путники узнают пострадавших, вернее, одного из них, обезглавленного: они встречались прежде на одной из станций – это была семья еврея, мелкого предпринимателя: «А этот собирався водку гнать в Ташкент... Заводы строить хотел, барыши наживать...» (Каразин 1905: 1/5). С ним, как вспоминают эти двое, была молодая жена и немец-механик, но на месте было-

го грабежа их не было, видимо, угнали барантачи. Путникам повезло найти в укромном схроне экипажа пакет с немалыми деньгами, которые они и поделили на двоих. Такая завязка сюжета.

Эти деньги, пожалуй, и являются катализатором дальнейшего действия. Вокруг них и из-за них закручивается интрига романа. Те двое, что нашли деньги, – предприниматель Перлович и офицер Батогов. У первого наполеоновские планы по организации торговли с Ташкентом, второй проигрывает деньги в карты и вынужден все время одалживаться у Перловича, который, боясь разоблачения, идет на поводу у Батогова, при этом активно разрабатывает планы, как избавиться от него.

Судьба Батогова складывается сложно: он попадает в плен к барантачам. Там, в плену, на одном из караванных путей, он слышит историю этой еврейской семьи: случайные попутчики рассказывают о несчастной женщине, по описанию Батогов понимает, что речь идет о той самой жене обезглавленного еврея; и про голову упоминают: «Как же, голову его привезли; она дорогою хоть и попортилась немного, да узнать можно было, что не русский, а джюгут (еврей). В Бухаре я много таких видал» (Каразин 1905: 1/204). Однажды Батогову довелось свидеться с женой погибшего еврея, ныне пленницей, – она была измучена непосильным рабским трудом и больна. Он узнал ее имя – Рахиль – и пообещал ее спасти, как только сам освободится. С этих пор Рахиль становится мучительной мыслью Батогова, персонификацией его совести, он понимает, что на нем и на Перловиче лежит вина за страдания Рахили. Ведь те деньги, которые они украли, могли стать выкупом за женщину. С этой поры до своего трагического конца Батогов пытается спасти Рахиль.

Эта линия романа выписана несколько невнятно: почему Рахиль? почему еврей? Хотя роман, начавшись с пленения Рахили, красноречиво заканчивается жуткой сценой ее смерти. Возможно, еврейская тема была своеобразным «комплексом» Каразина, который он множество раз проговарива-

ет в своей прозе и пытается от него избавиться. Присутствие в творчестве Каразина таких персонажей, как Эстер и Рахиль, усложняет мирвоззренческие характеристики писателя; во всяком случае, дает повод к неоднозначности оценок.

Глоссы и курсив

Каразин создает в своей русской прозе иноэтнокультурный текст, для чего вводит глоссарий внутри повествования. Остановлюсь на примерах только из одного произведения – первого романа писателя «На далеких окраинах». В скобки Каразин заключает то названия-эндемики, то русское толкование слова:

«неглубокие канавки (арьки)» (Каразин 1905: 1/8);

«шапочка (тюбетейка)» (Каразин 1905: 1/9);

«по бокам подымали свои чеканные носики два высоких металлических “кунгана” (кувшина)» (Каразин 1905: 1/11);

«вечерний намаз (молитвы)» (Каразин 1905: 1/11);

«саман (мелко рубленая солома)» (Каразин 1905: 1/32);

«чушка (свинья)» (Каразин 1905: 1/36);

«клынчи (пашки)» (Каразин 1905: 1/36);

«в зеленых ичегах (род обуви)» (Каразин 1905: 1/70);

«мимо небольшого кишлака (деревни)» (Каразин 1905: 1/90) и «весь кишлак (деревня)» (Каразин 1905: 1/232);

«в массах темно-стрельчатой листвы китайского проса (джунгарры¹⁰⁴)» (Каразин 1905: 1/90) и «поле с торчащими стеблями джугары (род проса)» (Каразин 1905: 1/247);

«малахай (войлочная шапка)» (Каразин 1905: 1/92);

«моштак (приземистая лошадка)» (Каразин 1905: 1/102);

«куржум (сумка)» (Каразин 1905: 1/109);

«постройки называются аратабами, т. е. дворами» (Каразин 1905: 1/111);

«арбы (повозки)» (Каразин 1905: 1/111);

«зякет (таможенные пошлины)» (Каразин 1905: 1/112);

«гиканье чабанов (пастухов)» (Каразин 1905: 1/112);

«джигит произнес обычное “аман” (будь здоров)» (Каразин 1905: 1/134);

¹⁰⁴ В современном русском языке – джугара.

«баранья похлебка (шурпа)» (Каразин 1905: 1/141) и «там варили баранью шурпу (род похлебки)» (Каразин 1905: 1/191);
«в десяти ташах (восьмидесяти верстах)» (Каразин 1905: 1/149) и «теперь они восемь ташей сделали (около шестидесяти верст)» (Каразин 1905: 1/227);

«тростниковая загородка (так называемая “чий”)» (Каразин 1905: 1/186);

«касқыр (волк)» (Каразин 1905: 1/201);

«четыре “чакрым” (версты)» (Каразин 1905: 1/203);

«ауру... (болен)» (Каразин 1905: 1/205);

«куян (заяц)» (Каразин 1905: 1/210);

«кап (мешок)» (Каразин 1905: 1/235);

«атара¹⁰⁵ (стадо)» (Каразин 1905: 1/269).

В последовавших за этим романом произведениях Каразина содержатся другие глоссы, многие из перечисленных уже не комментируются, например *арык*, *кишлак*; вероятно, писатель предполагал, что слова эти уже освоены русским читателем, да и сам Каразин с течением времени привыкал к новой лексике, которая органично входила в его язык – в его туркестанский русский язык.

Помимо внутритекстовых глосс Каразин делает подтекстовые сноски-комментарии. Чем они отличается от внутритекстовых глосс? Скорее всего, что слова-тюркизмы и арабизмы, присутствующие в каразинском тексте в виде *глосс*, уже тогда активно входили в русский язык колонизаторов. (Надо заметить, что большинство из них до сих пор присутствуют в активном словаре русского языка Средней Азии.) В сносках-комментариях же Каразин предлагает этимологию тюркских слов, городских топонимов Туркестанского края, например: «по дороге, ведущей к Мин-Урюку¹⁰⁶» (Каразин 1905: 1/20), Каразин комментирует так: «Мин¹⁰⁷ – тысяча; урюк – абрикосовое дерево; составное имя роши в одной версте от Ташкента»; «у Беш-Агача» (Каразин 1905: 1/62), ком-

¹⁰⁵ Так.

¹⁰⁶ В современной топонимике – Минг-Урюк.

¹⁰⁷ Тысяча по-узбекски «минг».

ментарий Каразина: «Буквальный перевод: пять деревьев, пункт в дальних окрестностях туземного города».

В сносах-комментариях представлены также лексико-этнографические наблюдения: «Саид-Азим-бая дома нет» (Каразин 1905: 1/63), комментарий: «Слово “бай” добавляется из вежливости: бай, бей или бий – господин»; комментируются этнографические артефакты: «Вон вниз по реке плывут какие-то черные предметы. Тихо, беззвучно скользят они по зеркальной поверхности... Это “салы” киргизские спускаются вниз с запасом камыша или сена, а может быть, на них и сочные арбузы и дыни...» (Каразин 1905: 1/94–95), комментируется слово «салы»: «Небольшой плот, связанный из снопов камыша, на котором кочевники на берегу Дарьи сплавливают топливо, корм, а иногда и другие произведения, даже мелкий скот, на ближние береговые базары»; «Тюра, улькун тюра, – многозначительно отвечал Сафар и добавил: – Батыр» (Каразин 1905: 1/114), комментарий Каразина к слову «тюра»: «Начальник, большой начальник», в последующих произведениях писателя обращение *тюра* к господину, к русскому станет общим местом, но уже без перевода, и т. д.

Для полноты лексической картины туркестанского текста надо остановиться на функции курсива в каразинской прозе (тоже на примере одного произведения – романа «На далеких окраинах»), при этом отметить, что курсивные выделения у Каразина многофункциональны, не все входят в поэтику туркестанского текста.

Так, Каразин наполняет курсивные выделения табуированными коннотациями – почти так, как это делает Достоевский. Например, Перлович, совершив не только уголовное преступление (мародерство), но и нравственное, пытается оправдать себя в своих внутренних монологах: «Да ведь это же все мое *по праву*... Мое! <...> Да что я сделал? Разве *это* преступление? *Это* случайность, простая только случайность: не я, не он, другой, третий, всякий, да, да, всякий, без исключения, люди не ангелы. У кого мы взяли? где? разве *тому* что-нибудь нужно?! Руки врозь, ноги врозь, головы нет,

падалью воняет...» (Каразин 1905: 1/53) – не называя вещи своими именами. Курсив с подобной коннотацией не входит в поэтику туркестанского текста (это тема другого исследования каразинской прозы).

Ниже примеры курсива с туркестанскими акцентами:

«Весьма недурное вино; *Первушин*, положительно совершенствуется» (Каразин 1905: 1/11) – участник диалога показывает себя включенным в местные реалии, он знает имя нового предпринимателя-винодела, которое уже тогда было у всех на устах¹⁰⁸. «Подтянув подпруги у седла, он сел на своего смиренного коня и поехал в *русский город*» (Каразин 1905: 1/17); «Когда Перлович поравнялся с развалинами *коканской* башни и стен *старого* города, он увидел правильные кварталы *европейской части*» (Каразин 1905: 1/18) – данные курсивные выделения заключают особый, эндемический смысл слов: в больших городах Туркестанского края с приходом русских отстраивалась новая, *русская*, часть города, не посягавшая на мусульманский режим городской жизни, которая отправлялась чаще всего в пространстве, называвшемся *старым городом*.

«По чуть заметным тропинкам спускались и поднимались серенькие *ишаки* с тяжелыми мешками на своих костлявых спинах» (Каразин 1905: 1/17) – роль курсива, думается, в акцентировании самого распространенного животного Средней Азии, используемого в хозяйственных нуждах; это не бранное слово, встречающееся в русском языке, а вполне нейтральное: в Средней Азии только так и называют осла.

«Саид-Азим предназначил в распоряжение своего гостя одну из просторных, чистых и даже весьма роскошно отделанных в местном вкусе сакель первого двора, убедительно прося Батогова быть совсем как у себя дома и не заглядывать только *туда*, – при этом он кивал головою в ту сторону, где были расположены внутренние, сокровенные помещения его семейства...» (Каразин 1905: 1/62) – *туда*: закрытая для постороннего половина среднеазиатского жилища, женская половина.

¹⁰⁸ О предпринимателе Первушине см. с. 261–262 в данном изд.

«Этот ребенок – батча. Имя его – Суффи» (Каразин 1905: 1/144) – в этом случае Каразин своим курсивом как бы педалирует эту социальную прослойку, предлагает читателю ее запомнить, он не раз, не в одном произведении упомянет о ней.

«Там, вон за теми курганами, – уверенно говорил Юсуп, – русские стоят. Я уже это вижу по Назаркиным уловкам. Как хитрит, как хитрит! Вот он в обход идти собирается. А наших, должно быть, мало.

– Каких это наших?

Батогов искоса взглянул на своего товарища.

– Каких наших? – конечно, русских: а ты думал, я про эту орду?» (Каразин 1905: 1/236) – не без удовольствия Каразин выделяет слово «наши», тем самым подчеркивая, как представитель туземного населения стал своим, перешел на сторону русских.

В прозе Каразина в немалом количестве содержится языковых пассажей, основанных на *интерференции*: «Хоп, тюра, хоп! Все цела будыт... казонной бумага знаю... Голова ни жалка, казна жалка... все цела будыт! <...> Хоп, тюра... Вашу белгородию, хоп!.. Ми свое дело хорошо понымаим...» (Каразин 1905: 16/174).

«Какой matka у тебя большой стал балла, виросла, батырь будит... якши балла... узнала мене... якши. <...> Си... ладка... болно... с...ладка кушай, балла, кушай, пожалиста!» (Каразин 1905: 16/169).

Интерференция в условиях полилингвизма становится неотъемлемым качеством языка повседневности – ошибки в чужом языке (русском в нашем случае) спровоцированы органикой родного языка.

В романе «На далеких окраинах», первом туркестанском произведении Каразина, заглавие которого стало прецедентной лексической единицей туркестанского текста, есть такой диалог:

«Где-то далеко на Востоке открылась какая-то страна. Туда нужны люди, туда их ищут и зовут, льготы разные обещают: уж не махнуть ли?..

– А что, тебе не страшно будет в такую даль?

– Чего же мне бояться? Ведь едут же люди.

– Но все-таки, ведь это так далеко: необозримые степи, верблюды, тигры, скорпионы, возвратные горячки... там головы режут и выставляют на копыя, там...

– Ведь я буду с тобой...» (Каразин 1905: 1/59).

Собственно в этом диалоге и сосредоточены все паттерны туркестанского текста, все те этнографические и ландшафтные диковины, которые будоражили взгляд русского человека, а впоследствии стали бесконечно повторяться в устной, письменной, изобразительной формах.

Этнографический дискурс Каразина, представленный в его прозе, много шире, чем тот, что представлен в данной главе. Это и волновавшая писателя тема среднеазиатской женщины, и патриархальная закрытость быта, этикет, отношение к религии, а также куда более разнообразный материал по флоре и фауне, чем тот, что упомянут здесь, и много других тем, которые, надеюсь, найдут своих поклонников-исследователей. Моей задачей был лишь манок, или затравка, чтобы информировать читателя-специалиста об уникальном своде информации, хранящейся в литературном творчестве Каразина.

ВОЙНА. ТУРКЕСТАНСКИЕ ПЛЕННИКИ

В одной из недавних радиопередач на «Эхе Москвы» Дмитрий Быков рассуждал о войне (Быков 2014). Темой передачи была вторая мировая в западной литературе, тем не менее писатель делал обобщения – о войне как таковой в литературе, и русской в том числе: «Русская литература о войне, советская – это почти всегда, в 90 случаев из 100 это литература о том, насколько наша система гуманнее немецкой, и поэтому мы победили. <...> Русские антропологически лучше, они гуманнее, их система человечнее – поэтому они победили. Поэтому это литература не столько о войне, сколько это литература о преимуществах русского, советского, интернационального человека, о его преимуществах над немцами» (Быков 2014), – не без иронии и отражая суть идеологической парадигмы, главенствовавшей в литературе XX в., резюмировал современный литератор.

Слушая Быкова, думала о «своем» Каразине, о той войне конца XIX в., которая стала главным объектом изображения писателя, – почему никогда не упоминают о тех тысячах (фигурально, т. к. общее количество мне не известно) солдат, запечатленных на полотнах Каразина и Верещагина, которые остались лежать в среднеазиатской земле, в песках пустыни, большею частью захороненных тайно от врага, чтобы он не отрыл их могилы (которых, собственно, и нет), без крестов, без каких-либо опознавательных знаков. За что сражались те солдаты? Кто-нибудь о них сегодня помнит?

Мир ему! один лежит в пустыне,
И никто не искал,
Не нарезал имени, прозванья
На отломке диких скал;
Не творят молитвы, поминанья;
Персть забвенью предана;
У одра больного пожилая
Не корпела мать родная,

Не рыдала молода жена...

(Грибоедов 171: 28)¹⁰⁹.

Возможно, потому и «не захотели» помнить прозу Каразину, потому что в ней бесстрастно, почти документально, отражена война, не вписывающаяся в ту самую идеологическую парадигму.

В изображении войны в русской литературе XIX в. неоспоримо новаторство Льва Толстого. Свое видение войны Толстой сполна отобразил в «Севастопольских рассказах» (1855–1856) (в «Войне и мире» присутствуют вариации и перепевы тех севастьяпольских мотивов). От рассказов Толстого до публикаций о войне Каразина – небольшой временной промежуток: туркестанский баталист целиком находится под влиянием своего современника. Даже персонажи Каразина вспоминают недавнюю Крымскую войну: «...а дело было в Севастопольскую еще кампанию. Так вот, стоит наш редут... (эсаул показал при этом на большой кусок швейцарского сыра), а так вот, впрочем, немного поближе (тут он тронул рукою половину холодной жареной курицы и даже действительно пододвинул ее поближе к сыру) – так вот французские ложементы, камнем рукою перешвырнуть можно было, не то что из ружья пулею» (Каразин 1905: 16/ 114) («Ночь под снегом»).

Как и Толстой, Каразин знал войну изнутри, был ее участником, награжден именованным золотым оружием с надписью «За храбрость».

Толстой, желая придать своим Севастопольским очеркам документальность, дает им хронологически точные календарные заглавия. Каразин тоже пишет очерки – репортажи с места боевых действий, публикуя их в «Ниве», – а после они переходят в художественные повествования, сохраняя очерковую документальность: в датах, географии, топонимике, дислокации воюющих сторон.

Толстой описывает небольшие бои (в «Севастопольских рассказах»), то же находим у Каразина.

¹⁰⁹ «Восток»: из стихотворений, приписываемых Грибоедову.

Толстой развенчивает правильные, спланированные сражения (создав в «Войне и мире» сатирическую деталь: «...Die erste Kolonne marschiert... die zweite Kolonne marschiert... Die dritte Kolonne marschiert...»), война для Толстого – это стихийное событие. Человек на войне, по Толстому, действует неразумно, убивая себе подобных на автомате. Именно так изображает войну и человека на войне Каразин. (Ниже представлены фрагменты военных сюжетов из двух наиболее отвечающих заявленной теме рассказов Каразина – «Зарабулакские высоты» и «Ургут».)

Перед боем, во время боя – беспорядок чередуется с порядком, хаос с системой:

«*Беспорядочный* говор и шум на секунду затих при первых звуках тревоги <...> прежней неопределенности и *беспорядочности* уже не было» (Каразин 1905: 9/47);

«На вершине обрыва, рисуясь темными силуэтами на небе, стояла конная группа: это был командующий войсками со свитой. Но ниже *в беспорядке* теснились конвойные казаки...» (Каразин 1905: 9/48);

«*Беспорядочными* толпами казаки выбирались на дорогу...» (Каразин 1905: 9/48);

«Даже несмотря на темноту, можно было заметить, как *из хаоса, беспорядочно* волнующегося еще там, где только оканчивался подъем, образовывалось *что-то* похожее на движущуюся армию» (Каразин 1905: 9/49);

«Неприятельская кавалерия стала держаться поодаль, коль скоро оборона приняла более правильный характер» (Каразин 1905: 9/53);

«Все приостановилось, как будто озадачилось немного. С минуту не сообразили, как и что: послышалось множество команд, самых разнообразных и даже *противоречащих* друг другу.

– *Каша! Каша!* – кричал, задыхаясь, худощавый штаб-офицер, суется на лошади в *беспорядочной* толпе белых рубах... ему очень хотелось преобразовать эту толпу в нечто похожее на стройный батальон, и он пытался подействовать на самолюбие солдат, подобрав такое обидное сравнение.

Расталкивая солдат, в щеголеватом, коротеньком кителе, прискакал на сером коне один из адъютантов.

– Это четвертый батальон? Генерал приказал... чтобы сейчас...

Шагах в десяти шлепнулось ядро, за ним другое, несколько ближе. – Адъютант исчез.

Само собою, словно *инстинктивно*, дело делалось, как следует: *машинально* каждый повернулся лицом к неприятелю и всякий, как кто стоял, так и пошел прямо на выстрелы.

Значительно левее, совершенно отдельно от всех, шел *какой-то* батальон в стройном порядке, странно режущем глаза в общей неурядице»¹¹⁰ (Каразин 1905: 9/54).

Слова *каша, противоречащих, беспорядочной, машинально, инстинктивно, какой-то* образуют контекстуально-концептуальный ряд – бессмысленности, неопределенности, автоматизма. Вспоминается фрагмент из «Севастопольских рассказов»:

«Пест был в таком страхе, что он решительно не помнил, **долго ли? куда? и кто, на что?** Он шел как пьяный. Но вдруг со всех сторон заблестело миллион огней, засвистело, затрещало **что-то**; он закричал и побежал **куда-то**, потому что все бежали и кричали. Потом он спотыкнулся и упал на **что-то** – это был ротный командир (который был ранен впереди роты и, принимая юнкера за француза, схватил его за ногу). Потом, когда он вырвал ногу и приподнялся, на него в темноте спиной наскочил **какой-то** человек и чуть опять не сбил с ног, другой человек кричал: “*коли его, что смотришь?*” **Кто-то** взял ружье и воткнул штык во **что-то** мягкое. “*A moi, camarades! Ah, sacre b... Ah! Dieu!*” – закричал **кто-то** страшным пронзительным голосом, и тут только Пест понял, что он заколол француза. Холодный пот выступил у него по всему телу, он затрясся, как в лихорадке, и бросил ружье. Но это продолжалось только одно мгновение; ему тотчас же пришло в голову, что он герой. Он схватил ружье и вместе с толпой, крича “ура”, побежал прочь от убитого француза, с

¹¹⁰ Курсив с начала главы и до сих пор мой. – Э.Ш.

которого тут же солдат стал снимать сапоги» (Толстой 1935: 4/46) (выделено мной. – Э.Ш.).

Таков человек на войне у Толстого. О том же пишет Каразин – о мародерстве на войне, об автоматизме в поведении, о потере человеческого облика:

«Стройные крики “ура”, которые мы слышим на парадах и на маневрах, не дают понятия о том адском хаосе звуков, который слышится в минуту отчаянной свалки. Те, кто в данную минуту перестал быть людьми, не могут издавать человеческих звуков: рев, свист, пронзительный визг, то что-то похожее на дикий хохот, то жалобное, почти собачье завывание, смешались с характерным стуком окованных медью ружейных прикладов об голый человеческий череп» (Каразин 1905: 9/55);

«Это не было бегство, это не было отступление; это было *что-то* непонятное, *озадачившее* даже наших туркестанцев, никогда не озадачивающихся» (Каразин 1905: 9/58) (курсив мой. – Э.Ш.);

«Вот в эту-то минуту наши крикнули “ура” и бегом бросились за отступающими. Скоро все скрылось и перемешалось в массах зелени. Отдельные выстрелы, недружные, урывчатые крики: ура! вопли: ур! ур! и мусульманская ругань, – *все слилось в какой-то дикий хаос* звуков, и только отчетливый огонь наших винтовок да резкие, дребезжащие звуки сигнальных рожков, подвигаясь все далее вперед и вперед, указывали приблизительно направления, по которым шли штурмующие роты. Здесь уже нельзя было видеть ничего общего, все распалось на отдельные эпизоды...» (Каразин 1905: 9/102) (курсив мой. – Э.Ш.);

«Чье это “ура”? их или наше?» (Толстой 1935: 4/33).

В отличие от изображенной Толстым Крымской войны, проигрышной для России, локальные бои Туркестанского похода, воссозданные Каразиным, увенчались успехом. Если главная интенция Толстого – это бесчеловечность и бессмысленность войн (в «Севастопольских рассказах»), то у Каразина другие задачи: продолжая толстовскую традицию в изображении войны как таковой, писатель-туркестановед не скрывает захватнического, экспансионистского нашествия русской

армии. В рассказе «Ургут» (см. Приложение) как ни в каком другом тексте Каразина звучат эти характеристики: показана самоотверженность народа, защищающего свою землю, не желающего отдавать ее непрошеному гостю. Люди горного селения Ургут, безоружные против вооруженных русских солдат, пускают в ход все, что можно: валят деревья, загораживая проходы, вооружаются батиками (шары с шипами, насаженные на древко), кетменями, лопатами, вилами, палками – и сражаются до последнего: было собрано погибшими до семисот человек. «Цель экспедиции была отчасти достигнута, – заключает рассказчик, он же участник штурма, – непобедимый Ургут был взят и разорен горстью русских. Это имело громадное значение в моральном отношении»¹¹¹ (Каразин 1905: 9/111).

Следующий фрагмент из прозы Каразина – явная реминисценция из Толстого, для которого тема тщеславия в «Севастопольских рассказах» была наиважнейшей: «А должно быть, они нас приготовились порядком встретить... Будет баталия!.. Теперь им уже, вероятно, известно о нашем выступлении – приготовились... Посмотрим, наконец, каковы такие эти хваленые батыри...

– Ты не помнишь, что по статуту полагается, чтобы получить Георгия? – допытывался у своего соседа молоденький пехотный офицерик, болтая ногами на своей смиренной кляче.

Честолюбие, значит, начало разгораться в сердце юного воина...» (Каразин 1905: 6/197) («Тигрица»).

¹¹¹ О стереотипе повседневности – гуманном захвате Туркестана: «...Бартольд иногда спорил с распространенным мнением об особой близости России и Азии и исключительной способности русских понимать население восточных окраин империи. Он подверг критике своего друга Ольденбурга за воспроизведение этого сомнительного тезиса. Скептицизм Бартольда становится особенно весомым, если вспомнить, что утверждения подобного рода, характеризующие имперскую политику своего собственного государства как наиболее гуманную и, следовательно, превосходящую в нравственном отношении имперские проекты других стран, являлись характерным элементом имперского дискурса в Европе» (Тольц 2013: 141).

С этим фрагментом рифмуются такие толстовские строчки, в которых момент смертельной опасности сопряжен с банальным разговором о наградах: «“Куда и зачем я иду, однако?” – подумал штабс-капитан, когда он опомнился немного. – “Мой долг оставаться с ротой, а не уходить вперед, тем более, что и рота скоро выйдет из-под огня, – шепнул ему какой-то голос, – а с раной остаться в деле – непременно награда”» (Толстой 1935: 4/50); «“Однако надо будет завтра сходить на перевязочный пункт записаться”, – подумал штабс-капитан, в то время как пришедший фельдшер перевязывал его, – “это поможет к представленью”» (Толстой 1935: 4/52); «Я очень доволен, – думал Калугин, возвращаясь к дому, – в первый раз на мое дежурство счастье. Отличное дело, я – жив и цел, представления будут отличные, и уж непременно золотая сабля. Да, впрочем, я и стою ее» (Толстой 1935: 4/47).

Война за Туркестанский край – это не только боевые действия, но и партизанские вылазки туземцев, не желавших мириться с колонизаторами. Одним из последствий таких партизанских конфликтов было пленение русских – одних продавали в рабство, другим рубили головы, получая за это награду от местных правителей. Ниже фрагменты из каразинских произведений, представляющие весь спектр туркестанского пленения:

«У всех полудиких народов есть общая страсть мучить своих пленных, без всякой для себя надобности. Только корысть заставляет их не доводить эти мучения до конца, до смерти измученного» (Каразин 1905: 1/92) («На далеких окраинах»);

«Ну, брось его; пускай тут и лежит, – сказал узбек. – Оставь, не вяжи, – обратился он к джигиту, принявшемуся снова скручивать ноги пленника. – Не уйдет и так: видишь, он и стоять даже не может.

– Они крепки... эти русские собаки. <...> Им шайтан помогает.

– Они оттого и живучи очень... Я в прошлом году одного резал-резал, а он все не издыхает; совсем голову отрезал, а он кулаки сжимает» (Каразин 1905: 1/95) («На далеких окраинах»);

«Из-за стены над самою дверью торчал высокий шест, а на шесте – вся посинелая, с открытыми оловянными глазами, с искривленным ртом и оскаленными зубами – человеческая голова. Борода у этой головы была выбрита, рыжие усы и короткие бакенбарды торчали щетиною, остриженные волосы были перепачканы грязью и пятнами запекшейся крови.

Это голова была русская.

Голову эту только что привез на поклон эмиру Мозафар-эд-дину известный головорез, Юнуска-джигит. Он уже не раз возил такие подарки грозному повелителю благородной Бухары; каждый раз такой подарок оплачивался одним золотым тилля¹¹² и новым полосатым халатом из блестящего адреса» (Каразин 1905: 9/120) («Юнуска-головорез»);

«Случалось не раз, что, после того как уходили наши войска, туземцы отыскивали могилы русских солдат и издевались над телами неверных; главным же образом трупы отрывались для того, чтобы отрезать у них головы и присоединить их к своим трофеям: кто там узнает, каким путем добыты эти кровавые доказательства воинской доблести, а между тем в Бухаре джигит, привезший русскую голову, щедро одаривается самим эмиром и приобретает себе знаменитое звание батыра, то есть богатыря. Официально платою за голову обыкновенно бывают полосатый яркий халат из полупелковой ткани и золотая монета – тилля, но главное – заманчивый блеск военной славы...» (Каразин 1993: 494) («Зарабулакские высоты»);

«Какую скверную, отталкивающую форму имеет человеческое тело, от которого отделяют голову! Сразу даже не разберешь, что это такое. Зияет багровый разрез, хлещет алая кровь и, шипя, смешивается с пылью, запекаясь в черные клубы, темной дырой виднеется перехваченное горло...

Зрелище, к которому привыкают... но с большим трудом. Я знал многих господ, которые весьма покойно сравнивали

¹¹² Золотая монета в четыре рубля серебром (собственно тилля значит *золото*) (комментарий Каразина).

это со свежерезанным переспелым арбузом¹¹³» (Каразин 1993: 481) («Зарабулакские высоты»);

«...Я лежал со связанными ногами, с руками, стянутыми в локтях и просунутою по-за спиною палкою. Голова моя была совершенно мокра, вокруг меня стояла узкая лужа, понемногу всасывающаяся в песок. Должно быть, меня облили, – припомнил я дорожное предположение.

– Пить дайте, пить! – простонал я, едва только успел сообразить все окружающее. – Воды!..

– Ага, брат, и по-нашему говорить умеет. Гассан, дай ему ведро. Вот, видишь ли – очнулся совсем, живого привезем. Теперь уже недалеко! <...> – На, лакай! – сунул он мне ведро к самому лицу» (Каразин 1905: 9/37) («Страшное мгновение»).

Параллельно с каразинскими текстами в «Ниве» за 1873 г. публикуется очерк-обозрение «Голоса хивинских пленных». Его автор, некто Н. Михайлов, нашел очевидцев, бывших хивинских пленников, и описал с их слов долгие, многолетние страдания рабства. «Какую великую услугу он оказал бы географии и статистике, если б все увиденное и пройденное с такими усилиями в преодолении невероятных трудов, он мог бы передать описательно! (Бывший пленник, о котором пишет Михайлов, неграмотен. – Э.Ш.) <...> Никто: ни из русских, ни прочих европейцев – можно утвердительно сказать, никто не обладает таким опытным взглядом на Среднюю Азию, как он; невольно, непостижимо, он первый, если поглубже вникнуть в значение его подвига, пронес в сердце чувство христианское по недоступным для других и непроходимым пустынным пространствам, среди враждебных имени христианскому разноплеменных орд магометанства» (Михайлов 1873: 467).

Жестокие нравы, описанные Каразиным, а также воспроизведенные почти одновременно и на живописных полотнах Верещагиным, стали тиражироваться в литературе.

¹¹³ Ощущение это мне передавали впоследствии пленные, которых, впрочем, было весьма немного, *по неудобству брать живьем, а потом еще возиться с ними, стеречь и т. д. (комментарий Каразина).*

Вот и проправительственное, ориенталистское мнение конца XIX в.: «Эти кочевые хищники собирались в шайки, нападали на караваны, грабили их, связывали мужчин и отсылали их на бухарские рынки. Что испытывали эти несчастные, трудно, конечно, и вообразить, но любопытствующих отсылаем к “Дневнику Писателя” Достоевского, где есть страницы об одном из таких невольников – русском солдате» (Уралов 1897: 100).

В 1920-е гг. пишет Абдулла Кадыри: «Приблизившись к беседующим еще на пятьдесят-шестьдесят шагов, мы наталкиваемся на нечто страшное – “холм ужаса”, перед которым меркнут ранее виденные нами кошмары за пределами крепостной стены, и это буквально лишает нас сознания от страха и отвращения от увиденного.

Перед нашим взором холм, сложенный из трех-четырех сотен человеческих голов.

О, эти длинные бороды, перепачканные кровью редкие волосы, посеревшие лица, полуоткрытые и подернутые смертной дымкой глаза! Так и кажется, что они шлют проклятия нашему миру. Особенно страшна одна голова. Обладателю ее, наверное, не было и двадцати лет, на губе еще усы не пробились. Полуоткрытые глаза под забрызганными кровью густыми бровями, казалось, ищут кого-то. Прикушенный белыми зубами язык высовывается из полуоткрытого рта, страшная гримаса на лице убитого как бы выражает сожаление о том, что ему пришлось родиться в столь ужасное время среди безрассудного народа» (Кадыри 2009: 89–90).

Но предтечей Каразина был Арминий Вамбери: «...Я застал этого господина (ясаула. – Э.Ш.) за странным занятием... Он как раз сортировал халаты (почетные одежды), присланные для награждения героев. Халаты эти представляли собой четыре сорта шелковых одежд ярких расцветок с большими цветами, вышитыми золотом; как я слышал, их называли *четыреглавыми, двенадцатиглавыми и сорокаглавыми*. Не увидев на этих одеждах нарисованных или вышитых голов, я спросил о происхождении названия, и мне сказали, что простую одежду дают в награду за четыре отрубленные головы врагов, самую

красивую – за сорок. “Впрочем, – обратился кто-то ко мне, – если в Руме нет такого обычая, то приходи завтра на главную площадь и посмотришь раздачу”. На следующий день я действительно увидел, как около ста всадников, покрытых пылью, приехали из лагеря. Каждый вел нескольких пленных, в том числе детей и женщин, привязанных или к хвосту коня, или к седлу; кроме того, у каждого позади был приторочен большой мешок с отрубленными головами врагов – свидетельство его подвигов. Приехав на площадь, всадник сдавал пленных, которых он привел в подарок хану или одному из придворных, затем развязывал мешок, брал его за два нижних угла, и, как крупные картофелины, выкатывались бородастые и безбородые головы перед протоколистом, слуга которого сбивал их ногами вплотную друг к другу, пока не набиралась большая куча в несколько сотен. Каждый герой получал расписку о сданных головах, и через несколько дней следовала выплата» (Вамбери 2003: 107–109) (курсив мой. – Э.Ш.).

Тюрьмой для турестанского пленника был зиндан:

«Он (Батогов. – Э.Ш.) знал о существовании особого рода подземных тюрем, вырытых в виде грушевидного колодца с узким отверстием наверху. Кто раз попал туда, – оттуда, без посторонней помощи, не выберется: руками не прорыть эту кремнистую земную толщу, кверху не выползешь по этим выгнутым, сыпучим стенкам; и воздух, и свет едва проникают туда в одну небольшую дыру. Гниль и нечистоты густым слоем накапливаются на вонючем дне, мириады паразитов кишат в этом тесном пространстве, никогда, со времени начала своего существования, не очищавшемся. Только азиатская лень и крайнее пренебрежение к участи и даже жизни заключенных могли изобрести эти адские тюрьмы. Да, в них, действительно, сторожить не надо. Можно совсем забыть о спущенном туда пленнике; можно даже забыть принести ему пищи и воды. Ну что за беда, если околеет? разве ждут от него больших барышей, – ну, тогда, пожалуй, вспомнят и снова вытащат полумертвого на свет Божий» (Каразин 1905: 1/121) («На далеких окраинах»). Такова еще одна этнографическая и историческая зарисовка Каразина.

ТУРКЕСТАНСКИЙ МАНОК

Еще на этапе завоевания Туркестан превратился в пропагандистский мифологический манок. Собственно, о нем – почти вся проза Каразина.

Будучи внимательным и наблюдательным исследователем Средней Азии: народов, ее населяющих, их быта, культуры, нравов, ландшафта и проч., Каразин – представитель той самой экспансионистской силы, которая целенаправленно шла вперед и вперед, захватывая кишлаки и города Средней Азии. Тиражируя, как и все, кто продвигался вглубь будущего русского Востока, ориенталистские стереотипы, Каразин, тем не менее, не участник общего хора. Каразинская рецепция происходящего на его глазах и всего подмеченного – это сложная палитра, не черно-белая.

Н.Н. Каразин, незадолго до смерти, в 1907 г., пишет статью с характерным заглавием «Скорбный путь» о том, как тяжело было продвижение в Среднюю Азию. Отданные приказы из Петербурга шли по четыре месяца, сообщение из войск в Петербург – так же. Была неразбериха, несогласованность.

В частности, в статье есть такой фрагмент:

«Оттуда, с севера, тоже движется на юг что-то и кто-то, и тоже энергично наступает, повинуюсь не приказам из Петербурга, а неизбежной логике событий, ибо “на месте виднее”.

Какой-то полковник Черняев из Омска находит необходимым перешагнуть за Кастекский перевал и занять Токмак, тоже ключ к одной из бесчисленных дверей в Индию.

Пока собираются в Петербурге послать энергичному полковнику приказ стоять в Токмаке недвижно, западносибирский генерал-губернатор доносит из Омска, что полковник Черняев давно уже ушел вперед, что уже давно заняты и Мерке, и Аум-ата, а в настоящую минуту он осадил и берет штурмом город Чимкент, непосредственно входящий в состав кокандского ханства.

В Петербурге – я отлично помню это время – совсем растерялись: кто с трепетом в душе косится на флаг, гордо разве-

вающийся на доме английского посольства, кто негодует на непростительный авантюризм своевольного, легкомысленного полковника, кто, захлебываясь от восторга, аплодирует нашим победоносным батальонам, этим пресловутым “девятистам штыков” (так. – Э.Ш.), составляющих всю главную силу наступающего отряда с севера.

Оренбуржцы, узнав, что сибиряки так много продвинулись вперед, двинулись тоже, вопреки запрета (так. – Э.Ш.). Сначала генерал Веревкин подошел к Джулеку, затем к Азрету, городу уже не с кочевым, а настоящим, оседлым таджикским населением – и тут-то пришла весть, поразившая всех как громом: Черняев, после вторичного кровопролитного штурма, первый был отбит с большим для нас уроном, взял Ташкент со стотысячным населением, с сильною крепостью и первоклассным базаром, главный торговый узловой пункт всего Сырдарьинского бассейна.

Тут между западносибирским и оренбургским округами разгорелся спор, кому должны принадлежать обширные, вновь завоеванные страны?

Сам Крыжановский покинул сатрапию на берегу Урала и прилетел на передовую линию. Чуть было не возник серьезный конфликт, но судьба свыше устроила все иначе и именно так, как никто не ожидал. Черняев, получивший Георгия, был произведен в генералы и отозван в Петербург, все вожди, герои наступательного движения, получив разные, более или менее почетные назначения и награды, отозваны тоже. Завоеванные территории не были присоединены ни к Оренбургскому, ни к Западносибирскому округам, а повелено было сформировать новый, совершенно независимый туркестанский военный округ и генерал-губернаторство с назначением главою всего этого сложного организаторского дела – генерал-адъютанта Константина Петровича Кауфмана. Это случилось в 1867 году, менее чем через два года после падения Ташкента, два года, не прошедших праздно для дела безусловно уже необходимых расширений и округлений границ нового генерал-губернаторства. Округлили – Ходжент, Ура-Тюбе,

Джюзак (так. – Э.Ш.), Яны-Курган... Но уже отнюдь ни шагу далее!» (Каразин 1907: 533–534).

Черняев, на подходе к Ташкенту, должен был сначала взять Чимкент, который возглавлял Алимкул, порицавший киргизов за равнодушие к интересам мусульманства и покорность русским. Для острастки он взял восьмидесятилетнего старика, привязал к дулу пушки и выстрелил – мол, так будет с каждым. Наглядность возымела противоположное действие – киргизы побежали к русским, к Черняеву. Но русский полковник принимал только вооруженных туземцев. А эти были с плохонькими саблями, большинство без ничего, но они обещали оказывать помощь.

«Чем же вы можете помочь нам? – спросил Черняев. – Криком! – отвечали они» (Терентьев 1906: 285).

Этот год завоевания Ташкента можно считать годом рождения мифа «Ташкент – город хлебный», или туркестанского манка:

«До самой Москвы – шутка ли, далеко как! – дошли слухи, что на Сыр-реке и в море Аральском столько-то-де рыбы красной водится, что хоть загребай ее голыми руками; вот и составила компания купеческая, и называлась эта компания “товарищество рыбных промыслов на Арале и заготовки впрок рыбного товара”. Больших барышей тогда от этой компании ожидали» (Каразин 1905: 7/153) («С севера на юг»).

Неверовская повесть «Ташкент – город хлебный» родилась из того, что носилось в воздухе. Среди простых, голодных, обезземеленных крестьян уже давно жил миф о среднеазиатском Эдеме.

Купцы, чиновники, военные ехали в Туркестан делать состояние, карьеру:

«Первый раз я проезжал этою дорогою (речь идет об Орско-Казалинском почтовом тракте. – Э.Ш.) осенью 1867 года. Это был год реформ вновь завоеванного края. Понадобились офицеры, чиновники, всякий рабочий люд – и понадобились в огромном количестве. И вот все это скопилось в Оренбурге, приготавливаясь к степному путешествию. Все гостиницы были

переполнены; по почтовым дорогам тянулись почти непрерывные ряды экипажей. Большинство проезжающих были люди семейные, а потому можно себе представить, с какими запасами путешествовали они, переселяясь в край отдаленный, в котором, по крайней мере, на первое время трудно, даже невозможно было достать что-либо удовлетворяющее европейскому требованию комфорта. Шутники говорили, что в осень 1867 года было *“великое переселение народов из виленских канцелярий в ташкентские”*» (Каразин 1874b: 566) («Амударьинская ученая экспедиция»: Каразин приводит отрывок из «Путевой книжки одного туриста»);

«...И хозяйка, и гость тщательно рассматривали карту, мать слушала сквозь слезы, а полковник говорил ей: “Видите, моя дорогая, это очень еще далеко. Громадные, еще мало исследованные пространства отделяют нас от ее северных границ” <...> В добрый час, в добрый час!.. ...Молодым офицерам лучше начинать свою службу на окраинах, в истинно боевом кругу... чем коптеть здесь, в Петербурге...» (Каразин 1905: 5/72) («Наль»);

«Словно бесконечное зеленое море, развернулись перед их глазами сады, долины Ташкента с его живописными дачами, с белеющимися куполами православных церквей... чаще и чаще земелькали русские фигуры, слышалась русская речь...

– Ну, ей же ей, словно в нашей Орловской губернии» (Каразин 1905: 17/94) («Голос крови»).

Ташкент представлялся новым – туркестанским – Эльдorado:

«Да, капитальные залежи, такие, что стоит над ними повозиться... А в каменном угле нужда предстоит великая, такая, что без него, пожалуй, ничего не пойдет.

– Лесов мало?

– Какие леса, всё сады... Не станет же сарт рубить на дрова деревья, которые рассаживал поштучно. Валит он только те, что попорчены, их на небольшой обиход хватает... Ну, а заводская деятельность – это совсем другая статья...» (Каразин 1993: 62) («Погоня за наживой»).

Совсем скоро после прихода русских в Туркестан пришло удовлетворение от сделанного и от того, что еще возможно в будущем. В одном из первых романов Каразина «На далеких окраинах» (1872) русский офицер произносит в собрании коллег речь, пафос которой сводится к тому, что Россия послала в Туркестан «поток умственных сил», расцвели «наука, искусство, торговля» – к услугам дикого народа (см.: Каразин 1905: 1/258–259). Каразин явно без симпатии к своему персонажу и его речи воспроизводит этот спич, превратившийся в расхожий стереотип, один из основных в туркестанской колониальной мифологии.

Другое дело – крестьяне. Оказывается, то пропитание, которое им, обезземеленным, давал русский лес, было для них перекрыто: ни грибов, ни ягод, ни дров – всеми этими дарами природы пользоваться было запрещено. Крестьяне, получив разрешение на выезд и подъемные, ехали осваивать новые земли. Об этом пишет Каразин в комментариях к роману «С севера на юг» (1874).

«Вот по такой-то хорошей степи и шел наш обоз; залюбовывались дорожные люди, глядя вокруг, и не один раз в голову им западала завистливая мысль:

– Эх, кабы нам здесь и остановиться! <...>

– Уж коли здесь так хорошо, что же там, дальше, куда идем мы? Там уж совсем воочию царство небесное!» (Каразин 1905: 7/8) («С севера на юг»).

Каразин в примечании дает исчерпывающую историко-социологическую справку:

«Переселение на Сырдарью и другие земли Средней Азии, занятые нашим оружием, началось уже давно. <...> Положение их (крестьян. – Э.Ш.) стало весьма затруднительным и вызвало неизбежно правительственную меру, вследствие которой “недостаточность пахотной земли исключительно в лесных губерниях” служит достаточным поводом к разрешению переселения и выдачи пособий переселенцам. <...> Прямая выгода этого переселения должна была отразиться и на новом крае, где роскошные земли, бывшие до сих пор мерт-

вым капиталом, получили, наконец, возможность разработки» (Каразин 1905: 7/9) («С севера на юг»).

Вот и преддверие «ташкента», земли благодатной:

«Эвона, брат, как здесь! У нас в лесной стороне, на Волге, в энту пору еще на санях ездят... Морозы стоят какие.

– Благодать Господня, одно слово! Самые те страны это и есть, куда птица разумная, перелетная, от нашей зимы спасается!

– Нет, та страна еще подальше будет; мне давеча на базаре верный человек про то сказывал, та сторона подальше! (Каразин 1905: 7/184) («С севера на юг»).

Колониальный дискурс в России сложился задолго до туркестанского проекта. Пушкинский рассказчик-путешественник из «Путешествия в Арзрум», наблюдая военных на других российских окраинах, пишет:

«Военные, повинувшись долгу, живут в Грузии, потому что так им велено. Молодые титулярные советники приезжают сюда за чином ассессорским, толико вожделенным. Те и другие смотрят на Грузию как на изгнание» (Пушкин 1948: 458).

Перед нами один из стереотипов колониального дискурса, который вскоре обретет (и останется таковым на протяжении всего XIX в.) парадигму делания карьеры (или авантюрных прожектов) на колониальных окраинах, одновременно воплотившись, благодаря М.Е. Салтыкову-Щедрину, в сатирический образ «господ ташкентцев»¹¹⁴:

«Вот и церковь орская пропала из глаз; прощай, Русь! Надолго ли? – вздохнул Ледоколов, привстав в тарантасе, и оглянулся назад.

– А что загадывать – обживетесь; придется по душе – может, и на всю жизнь останетесь, а нет – что же, вы к тому краю не пришиты: в том же тарантасике и назад приедете, – говорил спутник...» (Каразин 1993: 65) («Погоня за наживой»);

«Кабаков-то там, трактиров разных видимо-невидимо про этот случай понастроено... гульба, брат, с бабами всласть! Пожил это с неделю, опять к кунакам своим в кочевья... Воль-

¹¹⁴ См. главу «Ташкентцы».

ная жизнь! Ни патенту от тебя не требуется, ничего! Другой раз в двадцать годов про паспорт твой никакая собака не донюхается; и при такой слободе – что хошь! Можно и другие какие дела обработать хорошие...» (Каразин 1905: 7/93) («С севера на юг»).

Общий хор клонувших на манок завоевателей нарушается редкими голосами скептиков: «Вы, – говорит, – что только делать над собою хотите, головы вы неумные. Бросите, говорит, свою родную сторону, храмы Божьи, могилы отцовские. Молитвы все пере забудете в стране той, идолянской; там, говорит, нечисть и мрак, злато дьявольское... роду нашему, людскому, на смущение!» (Каразин 1905: 7/26) («С севера на юг»).

А когда пришли, наступило разочарование, но назад ходу не было: «Совсем изменилась степь супротив прежнего; дорога пошла твердая... <...> Вот и земля пахотная видна; чуть-чуть нацарапана, совсем дрянно, неумелыми, непривычными руками. Только ухмыльнулись мужики, на эту пашню гляючи. <...> Тетка Арина, эка дрянь баба, до вытья охотница, начала сначала было потихоньку, да как заголосила вдруг, разом во всю глотку» (Каразин 1905: 7/103–104) («С севера на юг»). Теперь очевидно, откуда почти такое же разочарование случилось у героя повести Неверова «Ташкент – город хлебный».

«Представление о востоке как о сказочной стране, где господствуют исключительно фантазия и чувство, постепенно отходит в область преданий; все более и более одерживает верх сознание, что на востоке люди живут и действуют под влиянием тех же побуждений, как и на западе, что в обоих случаях ход исторической жизни определяется преимущественно, хотя и не исключительно, экономическими условиями» (Бартольд 1896: 53).

ОРИЕНТАЛИЗМ КАРАЗИНА

По прочтении каразинской художественной прозы и публицистики бросается в глаза разность авторской позиции. В публицистике, в очерковых текстах Каразин категоричен: Восток – дик. В художественных текстах, написанных на основе очерковых, Каразин звучит совсем по-другому: появляется остраненность, позиция встать на сторону туземца, даже критические ноты в адрес той стороны, которую он, Каразин, представляет.

Уже в художественных текстах, современных Каразину, стали появляться расхожие стереотипы туркестанского текста. Так, в лесковском «Очарованном страннике» (1873) Иван Северьянович Флягин рассказывает о татарской жизни в степи, используя такой набор культурных сигнатур: «...там до самого Каспия либо солончаки, либо одна трава да птицы... хан Джангар там и царюет, и у него там, в Рынь-песках, говорят, есть свои шихи, и ших-зады, и мало-зады, и мамы, и азии, и дербыши, и уланы...» (Лесков 1989: 2/248); «...Там собралось много ших-задов и мало-задов, и мамов и дербышей...» (Лесков 1989: 2/267).

Ших- и мало-зады – так слышит русское ухо простого человека суффикс *-заде* – структурную часть имени ирано- и арабоязычных народов, означающую принадлежность к роду, или сын такого-то; *и мамы* – производное от *имам* – мусульманский священник (о *дербыше* речь шла выше).

Классический ориентализм весьма полно иллюстрирует следующий фрагмент из очерка о выставке В.В. Верещагина, современника Каразина по хронотопу – во всех смыслах: «Выставка верещагинских картин имела двойной интерес: художественный и этнографический; длинный ряд мастерских рисунков, эскизов, картин... уносил зрителя в другую жизнь, на далекий, фантастический восток, со всей его ленью, со всеми его кровожадными инстинктами, живописными лохмотьями и религиозным фанатизмом» (Нива 1875: 42).

Ориентализм прозы Каразина представляется, по большей части, классическим: писатель изображает иную культуру, нравы, быт – с сочувствием и заинтересованностью, исходящими от субъекта повествования. В изображении наиболее экстремальных ниш бытия и быта Востока появляется критический анализ, исходящий от человека европейской культуры.

Классический ориентализм – это отношение Запада к Востоку, но это вовсе не диалог: «глубокое неравенство между сторонами было главным принципом любых отношений между имперскими учеными и “просвещенными туземцами”» (Тольц 2013: 40).

Русский дворянин, офицер, присягнувший Императору, участник туркестанских походов, отмеченный наградами за храбрость, Каразин, тем не менее, в литературном творчестве не совсем соответствует своей миссии классического колонизатора. В отдельных фрагментах художественного повествования он критикует жестокость колонизаторов, становится на сторону туземцев – народов, ставших колонизируемым объектом.

В ориентализме Каразина прописаны две точки зрения участников процесса, колонизаторов и колонизируемых, находящихся по обе стороны военного и этнокультурного противостояния: взгляд туземцев на русских и восприятие русскими туземного населения.

В «Брокгаузе и Эфроне», в статье о Н.Н. Каразине, есть суждение об особенностях его прозы: «В своих литературных произведениях К. больше стремится к эффектности и занимательности, чем к художественной и этнографической правде» (ЭСБЕ: 14/425–426), что было растиражировано вплоть до 1930-х гг., когда имя Каразина еще упоминалось: «У К. заметно пристрастие к кричащим эффектам...» (ЛЭ 1931: 5/108).

Такая оценка представляется и ошибочной, и недостойной, и несправедливой по отношению к Каразину. Напротив, писатель стремится к объективности, воспроизводя ментальные конфликты в контексте колониационного процесса.

Обратимся к текстам писателя, чтобы увидеть, каково **отношение туземных жителей** к непрошеным гостям:

«Много народу вашего едет в степь нынче, – произнес киргиз...<...> Киргиз вздохнул. – Отчего они все такие сердитые? <...> – Чем? – Известно чем! – Он почесал спину. – Дерутся больно.

– А как же вас не бить? – Бурченко засмеялся и хлопнул киргиза по плечу.

– Хе-хе, – осклабился ямщик. – Что же это, все начальники едут?

– Начальники.

– Большие?

– Нет, маленькие, большие после поедут.

– Вот беда будет!!» (Каразин 1905: 2/69) («Погоня за наживой»);

«...Как заявил один из киргизов, ведущий переговоры, “вашему брату, русскому, нельзя верить ни на вот столько”, причем он показал на своем пальце, насколько именно нельзя верить русскому» (Каразин 1905: 2/114) («Погоня за наживой»);

«До лагеря двадцать верст, да каких верст – тутошних, клюкою мереных... народ дикий. Ишь, какими волками глядят на нас! А там, при усиленном возбуждении парами ароматов Востока и прочего... чик – и готово!» (Каразин 1905: 5/19) («Наль»);

«Ибрагим-бай суетился, но степенно, усаживая гостей на мягкие свертки одеял и подкладывая подушки... А тут уже сидели все важные лица города, молчаливо покачивая громадными чалмами, равнодушно, даже апатично глядя и на русских гостей, и на угощение» (Каразин 1905: 5/119) («Наль»);

«Народ стоял сплошной стеною, угрюмо смотрел на русских и не двигался с места. <...> – Баловать их не следует! – заметил Шолобов, – расчистить дорогу! – обратился он к подоспевшим джигитам» (Каразин 1905: 5/21) («Наль»);

«На плоской крыше, свесив босые ноги, сидел седой, как лунь, старик, в громадной светло-зеленой чалме. Он неистово

размахивал руками и охрипшим от напряжения голосом кричал что-то, обращаясь к нашим. <...> – Он говорит... Он просто ругается... называет нас, конечно, проклятыми и грозит, что святой Ишан, наверное, разобьет нас параличом за то, что мы идем в его владения!» (Каразин 1905: 5/22) («Наль»);

«За нами Аллах, за ними шайтан! – произнес старик, – Аллах сильнее шайтана...» (Каразин 1905: 14/97) («Двуногий волк»);

«В самом Самарканде жители относились к нам чрезвычайно дружелюбно. Мы еще и не подозревали, до какой степени притворна эта миролюбивость» (Каразин 1905: 9/80) («Ургут»);

«Дорогою Нурмед успел заметить, что жители не питали дружественных чувств к русским и деятельно готовились к энергической обороне. На каждом перекрестке устраивали сильные завалы: стук топоров раздавался в вечернем воздухе. <...> ...Озлобленные жители, взобравшись на плоские крыши сакель, свирепо глядели вдаль, на белевшиеся далеко на горизонте русские палатки» (Каразин 1905: 9/88–89) («Ургут»);

«Кажется, все шло хорошо; русские сидели себе спокойно в своем Яныкургане, они нас не трогали. Мы их тоже. Что же они теперь копошатся? Куда идут они? Что им нужно? Неужели они хотят весь свет забрать себе?! Экие ненасытные!..» (Каразин 1905: 9/168) («Старый Кашкара»).

В мифологии повседневности рождаются фантазмагорические тексты, гипертрофирующие образ русского пришельца, образ врага, – что также естественно, о чем свидетельствуют механизмы рождения отрицательных фольклорных образов. Так, дьявол, шайтан, нечисть – таковы модификации врага в устных нарративах туземцев, воспроизведенных Каразиным:

«Другой раз Юсуп в большом обществе... рассказывал про русских такие небылицы и так красноречиво описывал разные нелепости их обрядов и обычаев, что даже сам увлекся своею бранью, ругался напропалую, подбирал для “белых рубах” самые обидные сравнения и, наконец, пустил в Бато-

гова дынной коркою...» (Каразин 1905: 1/175) («На далеких окраинах»);

«И что только за лошадь у этого Юсупа: просто сам шайтан в ней сидит!

– Да в ней, и правда, черт сидит, да может, еще и не один... Ты слышал, небось, как Юсуп говорил, что он ее из-под русского батыра взял?

– Ну, так что же?

– А то, что ежели у них только в руках побывает – ну, и готово» (Каразин 1905: 1/199–200) («На далеких окраинах»).

Каразинские наблюдения, воплощенные в ткани художественного повествования, подтверждаются словами этнографа Наливкина: «Когда наши войска приближались к Чимкенту и Ташкенту, среди здешних туземцев ходили, как им казалось тогда, достоверные, слухи о том, что русские не похожи на обыкновенных людей; что у них лишь по одному глазу, помещающемуся посередине лба; что у них такие же хвосты, как у собак; что они необычайно свирепы, кровожадны и употребляют в пищу человеческое мясо» (Наливкин 2012: 62) – таков, в свою очередь, один из оксиденталистских мифов.

В одном туземном нарративе враг метаморфичен: сначала рассказчику почудились в увиденных фигурах звери, потом они вдруг оказались «бабами», а в итоге воронами, разрывающими на части падаль. «Вот какая дьявольская сторона стала! <...> Все от русских...» (Каразин 1905: 1/203) («На далеких окраинах»).

«По дороге навстречу попадались киргизы... <...> Равнодушно смотрели они на русский тарантас; Ледоколову показалось даже, что из-под густой тени бараньих малахаев сверкают далеко не ласковые взгляды. Киргизы неохотно давали дорогу экипажу, хотя в степи места для разезда было немало. – Ишь, волками какими смотрят, – заметил Ледоколов» (Каразин 1905: 2/63) («Погоня за наживой»);

«Ну, давай деньги! – подъехал вплотную к тарантасу один из помогавших киргизов. Бурченко расплатился.

– Мы смотрели: будешь ты бить ямщика или не будешь?

– За что же бить-то?

– Ваши ведь все бьют наших. Ну, так вот мы и смотрели. За то и помогли, что не бил, а стал бы бить, мы бы...» (Каразин 1905: 2/66) («Погоня за наживой»).

Теперь о **восприятии русскими туземного населения**. Вот вполне стереотипный взгляд ориенталиста-колонизатора, выраженный на разные лады:

«...Здесь ведь глубокая Азия!.. Шайки разбойничьи бродят на каждом шагу, население беспокойное, к нам настроение враждебно» (Каразин 1905: 17/21) («Голос крови»);

«Эти косоглазые все на один покров» (Каразин 1905: 14/35) («Двуногий волк»);

«...У вас в степи не совсем спокойно нынче?

– Пустяки-с, “косоглазые” пошаливают, однако все это, при должных мерах, одни пустые страхи!» (Каразин 1905: 2/31) («Погоня за наживой»);

«Сарты вообще очень тщеславны – это их характерный признак – и любят гордиться высокими связями и знакомствами» (Каразин 1905: 5/117) («Наль»);

«Полноте! Вы забыли, где мы; разве можно считать оскорблением, если дикарь на каких-нибудь забытых островках ударил случайно заезжего европейца, если осел лягнет своего жоака, если, наконец, вас из-за решетки обругают в доме сумасшедших?» (Каразин 1905: 1/57–58) («На далеких окраинах»);

«Это тоже музыка?! – не то насмешливо, не то всерьез обратился Шолобов к своему молодому товарищу.

– Да! – не сразу ответил тот. – Музыка дикая, первобытная, но, бесспорно, музыка... Уж во всяком случае более, чем наши ротные песенники, которых ты так любишь!

– То свое...

– Это тоже свое – для них... Да и для нас тоже с тобою, поверь, не совсем чужое!

– Да у тебя, вишь, все азиаты! – вмешался доктор. – По-твоему, и Россини, и Шекспир... И там черт лысый – все одного рода...

Наль улыбнулся и спокойно сказал:

– Все человечество отсюда...

– Это с Ишан-Дауда, что ли?

– Нет, вообще... Там подальше... Южнее... Знаешь, за теми горами, до которых мы скоро-скоро доберемся... и которые нас, конечно, не удержат... от...» (Каразин 1905: 5/38) («Наль») (курсив мой. – Э.Ш.) – в этом диалоге представлены две точки зрения: колонизаторская и глобально-культурная (носитель которой – главный персонаж романа, Наль, имеющий индийские корни).

«Мулла вон говорил вчера в мечети: “Слушайте русских, – служите хорошо Ак-Падишаху!..” Глупый народ, не понимает хорошенько.

– Я бы этих мулл перевешал, лучше бы было! – заворчал Глухарев» (Каразин 1905: 5/100) («Наль»);

«Видел я сегодня Ибрагим-бая... Говорил он мне, что знает такого старика, что может помочь больному – без лекарств всяких, а так просто, наговором что ли. Не знаю, право; я, конечно, всему этому не верю. Но ведь кто знает, ведь вреда собственно не может быть никакого. <...> – Оно так, – заметил отец Никанор, – но то были старцы христианского исповедания, а тут знахарь – мусульманской веры, а может, и того худше» (Каразин 1905: 5/102) («Наль»);

«А хорошо: знаешь, мне тоже начинает нравиться этот Восток... ковры... виноград... тепло... нега...» (Каразин 1905: 5/120) («Наль»);

«...Что здесь за жизнь? Сказано: Азия – дичь!» (Каразин 1905: 5/139–140) («Наль»).

Помимо полярных взаимоотношений, Каразин отмечает и иные – **коллаборационистские**. Таковыми в первые годы колонизации была прослойка туземцев, которых Каразин называет *джигитами* (одно из значений слова):

«Джигиты – это очень характерное явление в Средней Азии. Это, на первый взгляд, просто “продажные шпаги”, которым положительно нечем заниматься в мирное время, как только воровством и разбоем.

В военное время начинается их бенефис. С первого боевого выстрела все то, что уцелело на свободе и не сделалось добычей тюрьмы и палача, пристраивается около стороны, имеющей большие шансы на успех. Они служат побеждающим в высшей степени усердно и преданно, но эти два качества мгновенно испаряются, едва только победитель делается побежденным. Во всяком случае, джигиты – народ весьма полезный, подчас даже необходимый. Никто, как они, не сумеет сделать нужную, опасную разведку; никто, как они, не проникнут в самый стан врагов ради сбора сведений, рискуя головою, не только ради одной корысти, но и из молодечества, ради почетной выслуги. Они превосходные проводники, ибо до тонкости знают страну, все ходы и выходы; когда понадобится – переводчики; притом прекрасные лагерные слуги. Джигит – и конюх, и оруженосец, и повар, и маркитант... Он носитель комфорта.

Джигит умеет очень даже быстро стать необходимостью; но его надо держать в руках – и на рыцарскую преданность его, как бы она ярко ни высказывалась, полагаться не особенно» (Каразин 1905: 5/16–17) («Наль»).

Отношение каразинского повествователя-рассказчика к происходящему в Туркестане колеблется – от симпатий к патриотизму местного населения до выражения имперского колониального дискурса: «В городе все готово, – одна беда: есть между нашими такие собаки, что народ мутят... Говорят, будто за белым царем жить лучше. Говорят, что и веру не трогают, и от солдатчины навек избавление, и податей меньше... Вот там есть один, – Ибрагим-бай называется, – тот с генералом даже арак пил... Многие видели, он и здесь вот поджидает гостей... Встречу им готовит, будто эмиру самому... Предатель – одно слово!

– Ибрагим-бай хороший человек, он ведь про русских правду говорит... это точно...» (Каразин 1905: 5/48) («Наль») – именно эта интенция станет основополагающей в рождении ориенталистского канона русского и впоследствии советского Востока.

Каразинскому повествователю попадались и космополиты, идеальные носители всечеловеческих ценностей – таковым был туркмен Сяркей (см. главку «Каразин и Лесков»).

Точка зрения колонизатора на концепцию завоевания Туркестана, тем не менее, в каразинской прозе господствующая, в приведенном ниже фрагменте сконцентрирован текст, который можно считать сгустком тех ориенталистских и оксиденталистских мифов, которые тиражируются до сих пор:

«Трудная и вместе с тем завлекающая своею загадочностью задача лежала перед горстью пионеров. Но зато пионеры эти были особенные.

Это были борцы, закаленные в боевых трудах и лишениях, наученные долгим и суровым опытом, отважные в своем стремлении вперед, непоколебимо стойкие, когда приходилось удерживать занятое.

Это были солдаты, которые за долгую службу давно уже забыли свои деревни и все, что у них дома; жились, сроднились с номерами своих частей; в них видели все свое, вне их – чужое. Это были люди, которые не то чтобы не дорожили своими головами, но умели смотреть смерти прямо в глаза, считая ее только “простою случайностью”. В боевом отношении каждый солдат был мастер своего дела, охотник, не массовый ноль строя, а вполне сознательная единица.

Одним словом, это были кадры нынешних “старотуркестанских” батальонов. <...> ...Население одного какого-нибудь небольшого азиатского городка чуть не втрое превышало численность всех наших сил, а перед нами была вся Азия, со своими, еще гордыми, не терпевшими поражений, могучими ханствами.

Азия нас не знала. Она считала Россию страной бедною, лежащею где-то очень далеко на севере, страной вечного холода и голода. На наши отряды Азия смотрела не иначе, как на кучки искателей приключений, рыскающих по свету ради хлеба и добычи. Ее озадачивала смелость этих авантюристов, их боевое искусство, наносящее поражение за поражением грозным полчищам эмиров; она объясняла этот наш

успех то гневом Аллаха, то знакомством нашим и дружбою с чертом “шайтаном”, но нисколько не сомневалась в окончательном, венчающем дело успехе правоверных над несносными гяурами.

Местности, уже занятые нами, сохраняя полную жизненную связь с независимыми ханствами, смотрели на это занятие как на временное пленение, не переставали относиться к нам как к непримиримым врагам и постоянно готовы были к предательскому восстанию в тылу.

Относительный успех нашего наступления вызывал уже повсеместно грозный признак “хазавата” (священной войны), и фанатическое население, наэлектризованное пылкими речами мулл, а главное, странствующих уличных проповедников, юродствующих “дивона”, готово было ежеминутно, как один, восстать и ринуться на дерзкого осквернителя их священной почвы.

Да, это было время трудное, опасное, но увлекательно интересное; время, о котором до сих пор еще добром поминается в боевых туркестанских кружках, и многое, случившееся в это время, давно уже приобрело себе ореол легендарности, много лиц осенилось славою былинных героев... Все мелкое, заурядное сгладилось в памяти живущих, сохранились только общие, крупные черты, и эти черты невольно казались особенно размашистыми, не вмещающимися в скромные рамки современного» (Каразин 1905: 5/14–15) («Наль»).

Следующее мнение каразинского повествователя вновь вызывает сомнение в категоричности политической позиции Каразина-колонизатора: «Смутное время стояло над бухарским ханством. Для завистливого глаза русских мало их необъятного царства; они ворвались в самое сердце Средней Азии, заняли Самарканд, прошли в Катта-Курган и во все стороны разослали свои отряды. Мозафар не хотел этой войны: он знал заранее гибельные для него последствия ее, но его втянули в нее фанатики-муллы, которые пылкими речами разожгли легко увлекавшийся народ, и народ потребовал битвы» (Каразин 1905: 1/137) («На далеких окраинах»).

Явно симпатизирующий главному герою романа «Наль», Каразин выстраивает сюжетную интригу таким образом, что обреченному на казнь Налю в ряду других обвинений предъявляются следующие: «Он как будто не наш, как будто чуждый нам человек. Он любит Азию, мечтает об Индии... Он говорит на всех туземных наречиях и беспрепятственно, заметьте также, *бесконтрольно* сносится с туземцами» (Каразин 1905: 5/204); «...тут еще семейная переписка, разобранная и внимательно прочтенная двумя штаб-офицерами-следователями, раскрыла глаза: – Да в нем и русской крови нет ни капельки! – решили прозорливые следователи» (Каразин 1905: 5/199). В этом фрагменте Каразин выступает разрушителем стереотипов ориентализма.

Итак, ориентализм Каразина по сути своей – классический, но с новыми обертонами. «Классическим» можно считать фрагмент из лесковского «Очарованного странника», где Иван Флягин озирает взглядом окружающий мир «Востока» и мечтает о родной стороне: «Так вы и в десять лет не привыкли к степям?»

– Нет-с, домой хочется... тоска делалась. Особенно по вечерам, или даже когда среди дня стоит погода хорошая, жарынь, в стану тихо... <...> Знойный вид, жестокий; простор – краю нет; травы, буйство; ковыль белый, пушистый, как серебряное море, волнуется... Зришь сам не знаешь куда, и вдруг пред тобой отколь ни возьмется монастырь или храм, и вспомнишь крещеную землю и заплачешь» (Лесков 1989: 2/263–264).

Каразинские же персонажи (да и сам писатель Каразин) побывав раз на Востоке (как по принуждению, так и вольно), все время стремятся вернуться в этой край (мотивы возвращения разные: кто за наживой, кто – изучать, а кто и будучи очарованным).

КАРАЗИН — СОВРЕМЕННОКИ И ПРЕЕМНИКИ

КАРАЗИН И КУПЦЫ

Хлудов

Известный московский предприниматель рубежа XIX – XX вв., Николай Александрович Варенцов в своих мемуарах, написанных в 1930-е гг., вспоминает династию купцов Хлудовых: жизнь многочисленной семьи была сдобрена байками, криминальными загадочными историями, активно тиражировавшимися тогдашней молвой. При этом Варенцов неоднократно напоминает, что Хлудовы, точнее, один из представителей династии, Михаил Алексеевич, изображен в романе Н.Н. Каразина «На далеких окраинах». Варенцов, чья полнокровная жизнь выпала на рубеж веков, упоминает Каразина как писателя, широко известного, не давая никаких дополнительных справок.

Так как нас в большей степени интересует личность, ставшая прототипом каразинского персонажа, то уделим внимание именно ему, а не остальным Хлудовым, описанным Варенцовым.

Михаил Алексеевич Хлудов в воспоминаниях Варенцова предстает таким: «...был субъект патологический: где бы ему ни приходилось жить, везде оставлял за собой ореол богатства, удивлявший всех. Несмотря на его безумные кутежи, безобразия, в нем проглядывало нечто, что увлекало людей, им интересовались, с любопытством старались разобраться в его личности; его беспредельная храбрость и непомерная физическая сила, которую он употреблял ради только своих личных переживаний, удивляли всех; поражало его магическое влияние на хищных зверей, подчинявшихся ему и дрожащих при одном его взгляде.

Мне думается, если бы его духовная жизнь была бы в сфере более высших переживаний и вождедений, из него мог бы

получиться великий человек, но, к сожалению, все его духовные силы поглощались низменными чувственными желани-ями, именно: пьянством и развратом.

Михаил Алексеевич особенно сделался известным в Средней Азии, где он был с войсками при завоевании ее; его помощь при снабжении армии продуктами, которое удавалось только благодаря его удалству, была ценима командным составом. Мне пришлось быть в Азии в 1891 году, много лет спустя после Хлудова, и разговоры о его приключениях и удалстве не прекращались, меня водили даже показывать тот дом, где он жил. Каразин в своем романе “На далеких окраинах”, описывая его, называл его Хмуровым» (Варенцов 2011: 209).

Эпатажным в семье Хлудовых был не один Михаил Алексеевич, молва объединила под Хлудовым его отца и братьев, собирательный образ которых стал прототипом Хлынова в «Горячем сердце» А.Н. Островского и Ивана Федосеевича в «Чертогоне» Н.С. Лескова. О Хлыновых упоминает В.А. Гиляровский в книге «Москва и москвичи», Л.Н. Толстой в дневниках.

Знаменитый актер Л.М. Леонидов, вспоминая свое детство, пишет о походе в цирк: «Выходит Танти (клоун. – Э.Ш.) со своей не менее знаменитой, дрессированной свиньей. Он потом в Москве ее за десять тысяч рублей продал купцу Хлудову, который пригласил на ужин своих друзей, и была подана в зажаренном виде дрессированная свинья. Много под нее было выпито водки. Сам Танти был приглашен на ужин. Вся Москва об этом говорила. Но Танти был и в жизни талантлив. Он, оказывается, обманул Хлудова, которого Островский вывел в “Горячем сердце” под видом Хлынова. Про Хлудова ходили разные анекдоты. Раз приходит к Хлудову довольно известный литератор просить денег не то на издательство, не то просто займы. Предлагают подождать в гостинной. Сидит, ждет, альбомы с фотографиями рассматривает. Вдруг открывается дверь; писатель глянул и обомлел: перед ним живой тигр. <...> Тигрица Сонька подошла к нему, обнюхала его и легла у ног литератора, зевнула и как бы задремала. <...>

Пришел хозяин и со словами: “Пошла вон, Сонька!” – прогнал ее» (Леонидов 1960: 45).

Мемуарист М.К. Морозова вспоминает родственников своего мужа, матерью которого была В.А. Хлудова. «Я уже упоминала, что М.А. обладал исключительно живым, вернее бурным характером. Все проявления его характера были бурными, как гнев, так и веселость. Вообще Михаил Абрамович (так. – Э.Ш.) по складу своего характера и вкусам был похож на Хлудовых, семью своей матери. Хлудовы были известны в Москве как очень одаренные, умные, но экстравагантные люди, их можно было всегда опасаться, как людей, которые не владели своими страстями» (Морозова 1997: 199). К Хлудовым часто обращались за помощью, среди прочих – Л.Н. Толстой. «Лев Николаевич иногда заходил к Варваре Алексеевне (Хлудовой. – Э.Ш.), и она всегда старалась помочь крупными суммами денег в тех делах, о которых он просил ее» (Морозова 1997: 202).

Н.С. Лесков по настоянию Суворина переделывает «Чертогон», в частности, пишет своему издателю: «...переделал, как *хочется Вам*. Главное: картина хлудовского кутежа, который был в *прошлом году* и на нем Кокорев играл. Что живо прочтется. Сказано теперь толковее...» (Лесков 1957: 654). «Говоря о хлудовском кутеже, Лесков из ряда представителей московской купеческой семьи Хлудовых скорее всего имеет в виду миллионера, основателя нескольких хлопчатобумажных торговых фирм и собирателя древнерусских рукописей и книг А.И. Хлудова (1818–1882), который и является прототипом героя повести – Ильи Федосеевича» (Лесков 1957: 654).

Словом, Каразин выводит в романе «На далеких окраинах» реальное лицо под именем Михаила Ивановича Хмурова (а что касается прочих текстов Каразина, Хлудов предстает как имя собирательное, родовое). Вот его внешний облик времен жизни в Средней Азии – по текстам Каразина: «Хмуров был в суконном кафтане русского покроя, перетянутом золотым поясом с цветными эмалевыми бляхами» (Каразин 1905: 1/20); «Хмуров имел привычку скоро сходиться на

ты...» (Каразин 1905: 1/21); был щедрым: «...Хмуров угощал все общество замороженным шампанским» (Каразин 1905: 1/25), для окружающих Хмуров – мерило широты человеческой природы: «Этот не Хмуров, этот зря тратиться не станет...» (Каразин 1905: 1/25); дамский угодник: «Хмуров усердно обчищал пыль с черного платья амазонки, пустив в ход свою меховую шапочку, что оказалось очень удобным» (Каразин 1905: 1/255); бросается опрометью отбивать своего приятеля у банды барантачей: «Хмуров уже налетал. <...> Хмуров почти в упор выстрелил из своего револьвера. <...> Он был весь в крови и без шапки. Он поправлял пальцами волосы, спутанные ветром, и размазывал по лицу кровавые узоры. Впрочем, это была не его кровь. Правда, его стукнули прикладом по голове, удар, который сбил с него шапку, удар, от которого раскололся приклад и отлетел в сторону... легкие приклады азиатских ружей чрезвычайно непрочны...» (Каразин 1905: 1/167–168); любил привлечь к себе внимание, быть в центре компании: «Хмуров, полулежа на турецком диване, рассказывал многочисленным слушателям, как они в бытность свою в Бухаре, вдвоем с приказчиком Громовым, вооруженные только бутылкою шампанского, тьфу – бишь – револьвером в триста шестьдесят пять выстрелов (особенной американской системы) защищались от сорокатысячной армии бухарского эмира.

– Я – бац! бац! бац!.. – говорил Хмуров. – Передние повалились, задние – тягу, потеха, право! Громов вдогонку – хлоп! Я опять – бац!.. Посылают за артиллерией и возобновляют атаку. – Эка врет, эка врет, – ворчит сквозь зубы Спелохватов, до слуха которого доносятся отдельные фразы интересного рассказа» (Каразин 1905: 1/33); «Хмуров не то что бы был пьян, а просто ломался» (Каразин 1905: 1/34).

Однако гвоздем сюжета о Хлудове/Хмурове как в реальной жизни, так в повествовании Каразина была удивлявшая всех его страсть к хищникам, к умению управлять ими.

Вспоминает Варенцов: «Из-за любви к сильным ощущениям он [Хлудов] имел ручных тигров, свободно разгуливаю-

щих по его громадному особняку, наводя на посещающих его ужас. Бывали случаи, когда они перескакивали через каменный забор хлудовского сада и попадали в соседний сад дома Борисовского, наводя на гуляющих там детей и взрослых панику.

В доме Хлудовых случился пожар, приехавшие пожарные быстро вбежали в дом и были встречены двумя тиграми, обратившими их в бегство. Как-то по какому-то делу к М.А. Хлудову приехал Н.А. Найденов, лакей проводил его в кабинет хозяина, тот закурил папиросу, спокойно ожидая прихода Хлудова. Дверь распахивается – и вместо хозяина является тигр, спокойно направляющийся к нему; нужно представить себе, что пережил в эти минуты Найденов, не отличавшийся большой храбростью; дома говорили, что ему после этого посещения пришлось сделать ванну» (Варенцов 2011: 209–210). Жалоба брандмайора и Найденова генерал-губернатору вынудила Хлудова избавиться от тигров: один был сдан в Зоологический сад, второй пристрелен хозяином – поговаривали, что ночью Хлудов проснулся, когда почувствовал, что тигр лижет его расцарапанную руку. Держал он в доме также волка, медведя. Ему приписывали гипнотические способности умирять хищников, которые распространялись и на людей: однажды забастовавшие рабочие требовали к себе руководство компании, все попрятались, вышел к рабочим Хлудов, и через минуты между ним и забастовщиками наладились мирные отношения, хозяин повел рабочих в ближайшее питейное заведение (см.: Варенцов 2011).

В главе романа «На далеких окраинах», названной «Оргия у Хмурова», описано подобное же приключение: в зал, полный гостей, хозяин и слуги ввели тигра. «В отворенных настежь дверях показалась круглая голова с торчащими короткими ушами. Желтоватые, мигавшие фосфорическим блеском глаза прищурились от потока непривычного света.

Первое мгновение всем показалось, что тигрица проскользнула в комнату одна, совершенно свободная, и холодный пот заиграл под рубашками у полупьяных храбрецов;

но потом все ясно рассмотрели, как толстая цепь, продетая в кольцо сыромятного ошейника, была намотана на сжатой в кулак руке Хмурова; кроме этой цепи, веревка, пропущенная сквозь то же кольцо, была в руках здорового Аслан-бая. У последнего за поясом засунут был слегка искривленный туземный нож в оправе из змеиной кожи, а высокий приказчик, обойдя вокруг дома, высунулся из двери, робко протягивая Хмурову пару револьверов на всякий случай.

– Положи на стол, – отрывисто произнес Хмуров. – Господа, позвольте вас познакомить: сия дама прислана мне от кашгарского бея... – бравировал он, скользнув рукою по цепи и глядя животное за пушистою щекою, как глядят кошек, если хотят заставить их мурлыкать. <...> Началось совершенно неожиданное представление. Замоскворецкое *“нашему ндраву не препятствуй”* на этих далеких окраинах нашло свое новое применение.

Все сидели и стояли совершенно неподвижно, как кого застало появление зверя. <...> Под влиянием нервного напряжения хмель испарялся из опьянелых голов; многие уже протрезвели окончательно» (Каразин 1905: 1/42–43).

Однако случилось непредвиденное: подвыпивший офицер вдруг бросился к тигрице и дернул ее за хвост. Тигрица резко вскочила, отбросив Хмурова, который ударился о ломберный столик, тигрица встала в позу, готовясь к прыжку, как бы высматривая, на кого бы броситься. В это время огромный пес Хмурова, запертый в соседней комнате, чтобы не встретиться с тигрицей, почуяв опасность для своего хозяина, выломал дверь и сцепился со зверем. «Собаку... спасайте... Гектора! – кричал Хмуров, весь разбитый, подымаясь с полу...» (Каразин 1905: 1/45). «Машка», тигрица, была сражена тем самым туземным ножом. После этого происшествия «Хмуров у себя в спальне усердно клал земные поклоны и считал двадцать восьмой, двадцать девятый... Он непременно хотел досчитать до сорока» (Каразин 1905: 1/46).

Кстати, в дневнике Л.Н. Толстого есть запись: «Я как во сне, как Хлудова, когда знаю, что ходит тигр и вот, вот...»

(Толстой 1952: 49/93), Толстой имел в виду вторую жену Хлудова, которая «польстилась на его богатство, но жизнь у нее была не из легких: вечная боязнь за свою жизнь не только от тигра, которого, как она сама говорила, муж клал зачастую в постель, укладывая тигра между собой и женой, но от постоянного ожидания всякой выходки пьяного и бешеного мужа...» (Варенцов 2011: 215).

Упомянут легендарный Хлудов и в романе Каразина «Голос крови» – как честный, справедливый, способный разделить чужую беду, и тоже под фамилией Хмуров, в своей аутентичной роли – как глава предприятия «Хмуров и компания». Сюжетная интрига романа связана с убийством главного агента хмуровской фирмы – была украдена огромная сумма денег. Фирма несет убытки и вправе распорядиться, переписав пропавшую сумму на наследницу, дочь убитого.

Хмуров распорядился неожиданно для хлопотавших за девушку: «Люди хорошие и сердце имеют», – говорит один из ходатаев за дочку убитого.

«Ведь покойник-то Горкин как им служил! Ведь он, можно сказать, не одну сотню тысяч сберег им и удвоил. <...> Говорят, сами не могут – ждут Михаила Алексеевича. <...> Приехал! (Хмуров. – Э.Ш.) “Знаю, говорит, почтеннейший Иван Акимович, знаю! <...> Я Федором Петровичем более чем был доволен, что уже и говорить: не только правая рука моя был, еще меня учил многому... Грех пополам!.. ” То есть как это, думаю, пополам? Восемьдесят тысяч, это значит будет сорок. Да если и домишко, и все продать, бумажонки какие собрать и деньги, что в банке, я ведь ничего не утаил, – так дай Бог, чтобы на пятнадцать тысяч набралось!.. Где же остальные добыть?.. Опять же девушка нищею, бездомною сиротою должна остаться! Соображаю это, да и говорю Хмурову: “Не тяжело ли сиротским плечам будет?.. Вы бы Бога-то вспомнили!..” А он: “Да я, говорит, Его и не забываю. Я ей отца вернуть не могу, ей тоже моих денег вернуть неоткуда, – вот и грех пополам! Вот я в каких смыслах...” Повеселел я! Ну, говорю, Михайла Васильевич, руку!.. Поцеловались... <...> Не худо бы,

Михайло Васильевич, документ по сему поводу, мало ли что может после выйти?! <...> тут он встал сейчас, сказал: “И это понимаю”, подошел к конторке и принялся писать. <...> И читаю: “Глубоко ценя верность и долгую службу нашей фирме покойного отставного майора Федора Петровича Горкина и соболезнуя от души его тяжелой кончине, последовавшей ради службы фирмы, я, главный представитель сей фирмы, Михайло Васильевич, сын Хмуров, сим заявляю: все счета с покойным фирма считает правильно законченными и никаких претензий к имуществу и всему, что останется в пользу наследников Горкина, не предъявляет и впредь предъявлять не имеет. В чем и дается сие удостоверение с приложением торговой печати фирмы, моей именной и за моею собственноручною подписью”» (Каразин 1905: 17/69–71).

Фигура реального прототипа – Хлудова – настолько мифологизировалась в повседневности конца XIX в., став обобщенной и вобравшей в себя черты и отца Хлудова, Алексея Ивановича, и сына, Михаила Алексеевича, и его братьев, в частности, Василия Алексеевича, что в каразинской прозе, по законам фольклорной действительности, с беспечностью стали варьировать детали в именовании персонажа: обратите внимание на разные отчества в предыдущем фрагменте («*Михаил Алексеевич*», «*Михайла Васильевич*»). С одной стороны, конечно, это могло быть редакторской небрежностью, однако с другой – эти детали не столь важны, важна сама личность, ее типические черты, узнаваемые читателем. Для сравнения: записанные фольклористами баллады содержали подобные «редакторские» огрехи: внутри одного сюжета герою то 12, то 19, то 90 лет, то он Василий, то Илья, то Андрей и т. д. (Балашов 1963: 12).

Легендарный купец Хлудов упоминается в других произведениях Каразина и под реальным именем, так, в рассказе «Джигитская честь», описывая амуницию молодого джигита в превосходных тонах, рассказчик сообщает: «...через плечо, на тонком ремешке, шашка, не простая – здешняя, а черкесская, вся в серебре с чернью, и бирюзою ободки на ножнах

обозначены. Подарил ему эту пашку купец Хлудов, московский, с которым Хафиз раза два на охоту в горы ездил, да раз от барангачей вдвоем от десятерых отбивались и отбились» (Каразин 1905: 9/182–183).

В рассказе «Три дня в мазарке» на станции, среди постоянцев, упомянуты приказчики Хлудова: «Орда бунтует! – пояснил другой. – Мы вот приказчики, у Хлудова, Михайлы Иваныча, таперича нам дозарезу надеть к шестому числу на место поспеть, а никак невозможно...» (Каразин 1905: 9/198).

С одной стороны, феномен Хлудов/Хмуров для своего времени был настолько значим и прозрачен, что в текстах Каразина происходит абберация: называя по фамилии купца, вспоминая его эпатажные и благородные поступки, писатель жонглирует фамилиями, реальной и вымышленной, – не суть важно. Так, в романе «Погоня за наживой», желая показать смену генерации в Туркестанском проекте, выход на сцену новых купцов, с более откровенными стяжательскими и меркантильными интенциями, Каразин неоднократно отсылает читателя к прошедшим временам – эпохе первых туркестанских побед, говоря о людях, что они «из старых, черняевских» (Каразин 1905: 3/248; 349), служивших в «черняевских отрядах» (Каразин 1905: 3/295), и, конечно же, поминая времена Хлудова/Хмурова, говоря о том, что эпоха его ушла: «Вы у Хмурова прежде служили...» (Каразин 1905: 2/59), «...крупная фирма Хмурова (она рушилась еще до моего приезда)...» (Каразин 1905: 3/155); рассуждения нувориша новой, послехмуровской волны: «Вот Хмуров, например, человек уже совершенно пустейший: авантюрист и больше ничего, а какво пошел, какво! Европейская известность. От иностранных держав орденские награды получал. Портрет вон во “Всемирной Иллюстрации” напечатан был: сидит это в русском кафтане, тигр лежит у самых ног, значит, в полном повиновении» (Каразин 1905: 3/164). Мифологизация предпринимателя распространилась на локальное пространство его обитания: «Проехали улицы, выбрались из-под остатков триумфальной арки хмуровской архитектуры...» (Каразин 1905: 3/261).

«Эка пройда, эка пройда! Кабы нашему такого! – говорили про него (авантюристе с криминальными историями. – Э.Ш.) приказчики распадающейся фирмы Хмурова» (Каразин 1905: 3/344).

Захо

И другие знатные купцы, связавшую свою жизнь с Туркестаном, в большей или меньшей степени, фигурируют в прозе Каразина. Захо, Дмитрий Николаевич, ташкентский Первой гильдии купец, торговал бакалеей и мануфактурой, готовым платьем (Варенцов 2011: 792): «...Все эти наши Захо, Федоровы, Тюльпаненфельды, Филатовы и компания...» (Каразин 1905: 3/155) («Погоня за наживой»).

Два предпринимателя, по сути – хрестоматийные «господа ташкентцы», обдывая свои торговые махинации, приговаривают: «...от нас же зависит, чтобы дела наши лопнули окончательно (видите, как я откровенен): стоит только нам придерживаться той подрывательной деятельности, которой держатся все эти Захо и прочие» (Каразин 1905: 3/157) («Погоня за наживой»).

Ниже приведены отрывочные упоминания из каразинской прозы о Захо, их ценность в том, что они описывают реально существовавшего человека, участника развития Туркестанского края:

«Извините... Я, собственно, ехал к вам... к тебе, – поправился Перлович, обращаясь к Хмурову, – а пока – в город, по одному делу (он склонился к Хмурову и понизил голос). Ну, так вот, видишь ли, надо повидать кое-кого.

– Кого, кого? – наступал Хмуров.

– Захо, да еще вот Федорова.

– Стой! этих жидов ты сегодня у меня увидишь... такой ансамбль соберется...» (Каразин 1905: 1/21);

Захо жалуется на туземных купцов, поднимающих цены на караванных верблюдов: «Послушайте, Захо, – сказал Перлович, подойдя к говорившему. – Не вы одни жалуетесь на эти неудобства. Вон и тот, и этот, – (Перлович ткнул пальцем

по разным направлениям) – все одна и та же песня; а между тем совершенно от нас зависит переменить обстоятельства к лучшему...

– Позвольте, как же это от нас?..

– У меня есть проект; если мы, негоцианты, обсудим его все сообща, то, может быть, и придем к каким-либо результатам» (Каразин 1905: 1/33–34);

Перлович – махинатор, вор и убийца, персонаж не одного романа Каразина – принимает гостей, ташкентских предпринимателей, ведет себя неадекватно, на что Захо реагирует: «Ты ничего не заметил? – спрашивал Захо своего товарища, тяжело влезая на седло и умащиваясь.

– Это насчет чаю-то?

– Нет, не то, а совсем другое... Мне вот уже второй день кажется, что, судя по некоторым признакам, Перлович или рехнулся, или близок к этому» (Каразин 1905: 1/151) («На далеких окраинах»);

«...В комнате, красиво обставленной в полуазиатском, полувосточном вкусе. Тут же находились Захо, Федоров; ждали Хмурова, да он почему-то не приехал. Еще человек пять гостей собрались к Перловичу побеседовать. Все общество завтракало. <...> – А ведь пошел в гору, – подмигивал глазами на хозяина Захо, отведя зачем-то в сторону одного из гостей, во фраке и военных панталонах с красным кантиком. <...>

– Я и по-английски, и по-немецки, и по-итальянски веду свои мемуары, – рассказывал капитан Дрянет, – я даже написал по-арабски трактат о значении шелководства как орудия... или, правильнее сказать, ступени в разливе цивилизующих начал.

– Для кого же это вы писали по-арабски-то? – спрашивал Захо, недоверчиво улыбаясь» (Каразин 1905: 1/252–254) («На далеких окраинах»).

И еще в ряде несобытийных фрагментов, в различных второстепенных поворотах сюжета упомянута личность Захо, в общем-то, не являющаяся собственно персонажем каразинских сюжетов. Скорее всего, назначение этого внесюжетного

персонажа объясняется желанием автора придать повествованию правдивость, документальность, так как личность ташкентского предпринимателя была у всех на устах, и не только в те «туркестанские» времена. Эхо Захо докатилось до 60–70-х гг. XX в.: в Ташкенте стояли здания гостиниц, построенных Захо, – это имя присутствовало в устной речи русского Ташкента. Здания были разрушены на волне модернизации города после землетрясения 1966 г.

Значимость личности Захо для туркестанского текста подтверждается современниками Каразина, в частности воспоминаниями Н.А. Варенцова: «Фамилия Захо мне хорошо была известна, как крупного купца, владельца универсального магазина и большой недвижимости в Ташкенте.

Д.Н. Захо на меня произвел приятное впечатление: с длинной красивой бородой, черными глазами, хотя немного лукавыми, но добрыми, он был немного выше среднего роста и родом грек. Цель его приезда была познакомиться со мной, чтобы в будущем получить через меня кредит в Торговом банке; об этом я догадался потом, гораздо позже.

Собираясь уезжать и прощаясь, Дмитрий Николаевич взял с меня слово, что я обязательно приеду к нему, и прибавил: “У меня бывает почти весь город, можете встретить всех нужных для вас лиц; проведете время, я надеюсь, скучать не будете, после обеда у меня всегда карты, если не любите карты, найдете интересное общество”» (Варенцов 2011: 299).

Н.А. Варенцов посетил Захо, и не раз, он описывает гостеприимный дом предпринимателя и его хлебосольство; Захо настоял на том, чтобы Варенцов ежедневно обедал у него, – так и случилось: во время этих посещений Варенцов познакомился со многими знатными людьми города, а также заезжими, среди которых упоминает Свена Гедина (или Хедина), «путешественника по глубоким и мало исследуемым странам Средней Азии» (Варенцов 2011: 300).

А так описывает Д.Н. Захо наш современник, Б.А. Голендер: «...Искатель счастья, приехал в Ташкент в 1868 году и открыл в качестве “собственного дела” маленькую табачную ла-

вочку с товаром не более, чем рублей на двести. Дела его, однако, пошли так хорошо, что уже через год он состоял пайщиком “беспроектной лотереи” с волшебным фонарем-панорамой и платой по полтиннику за вход с человека. Любителей картинок и грошовых выигрышей было так много, что Д.Н. Захо еще через год смог взять подряды на поставку канцелярских принадлежностей для государственных учреждений, а к концу XIX века в центре Ташкента возник целый квартал, принадлежавший торговому дому Д.Н. Захо... <...> Все тому же Дмитрию Захо принадлежали фешенебельная гостиница¹¹⁵ и ресторан “Швейцария”, фасады которой, украшенные инициалами владельца, выходили на Иканскую улицу...» (Голендер 2007: 124). Дмитрий Захо много жертвовал городу Ташкенту; так, на его деньги была построена колокольня кафедрального собора (см.: Абдуллаев 2011: 24). Так что личность Захо было знатной – без упоминания его имени русский Туркестан в каразинском исполнении не был бы полноценным.

Филатов

«Александр Вульфзон, сняв с себя сюртук, в одном жилете, разгружал ящики с портером, присланные ему от Филатова, из Ташкента...» (Каразин 1905: 13/161) («В камышах»).

В прозе Каразина Филатов упоминается в ряду других первых русских предпринимателей Туркестана. Это была знаковая фигура тех времени и места, забытая в советское время и почитаемая в Узбекистане ныне; в частности, в Самарканде, в центре города, стоит отреставрированный «Дом Филатовых», где размещен дегустационный винный зал и музей вин Средней Азии.

Вспоминает Н.А. Варенцов: «Дмитрий Львович Филатов был маленького роста, с длинной бородой, сам себя называл – хитро улыбаясь – Черномором, тем намекая на составившуюся про него славу любимчика дам, но мне казалось, что он сам ста-

¹¹⁵ В советском фильме «Пароль – отель “Регина”» (1983) действие происходит в гостинице, которая принадлежала до революции Д. Захо и так и называлась – «Регина».

рался этим рекламировать себя среди любопытных ташкентских дам, любительниц экстравагантностей. Он жил открыто с одной красивой дамой, отбитой им у ее мужа Вараксина, что еще более утвердило за ним славу как любимчика дам.

Д.Л. Филатов начал свою карьеру как и Д.Н. Захо, они были маркитантами при русских войсках, двигавшихся в Ташкент. Это общее дело связало их, и они остались на всю жизнь друзьями.

При занятии Ташкента и дальнейшем завоевании Средней Азии Захо и Филатов все время работали вместе, к ним в это время деньги текли безостановочно: офицерство, получая большие оклады во время войны, швырялось деньгами на покупку дорогих вин, закусок, остальное проигрывало в карты. После окончания войны Д.Н. Захо поселился в Ташкенте, выстроил дом, завел торговлю, а Д.Л. Филатов поселился в Самарканде, накупил земель, развел виноградники и начал делать вино, славившееся как лучшее в Средней Азии» (Варенцов 2011: 300–301).

Филатов был первым и признанным виноделом Туркестана, удостоенный российскими и зарубежными наградами (см.: Назарьян 2010: 101–113).

Первушин

«Голубоватое пламя спиртовой лампы чуть-чуть облизвало дно другого серебряного кувшина с красным вином, – не местным, первушинским, а настоящим лафитом...» (Каразин 1905: 3/153) («Погоня за наживой»).

«Весьма недурное вино; *Первушин*, положительно, совершенствуется» (Каразин 1905: 1/11) («На далеких окраинах»);

«...Они пили красное вино местного первушинского приготовления. Стаканы были почти допиты, бутылка, не убранная еще со стола, была совершенно пуста» (Каразин 1905: 1/24) («На далеких окраинах»).

Имя Первушина не забыто в Ташкенте – оно живет, но не в официальной топонимике, а в фольклорной: один из

переулков города называют *Переушка* – это модифицированная *Первушка*, или Первушинский переулок, называвшийся так очень давно в честь И. Первушина, о котором напоминает современный ташкентский краевед: «В 1866 году отпрыск солидной московской купеческой семьи – в то время совсем молодой Иван Иванович Первушин – получил от отца доверенность на ведение дел в Туркестанском крае. Он начал с устройства мануфактурных магазинов в Ташкенте, запустил здесь шелкомотальную и табачную фабрики, построил первый винзавод. Для обеспечения производства сырьем фирма Первушиных в окрестностях города... развела собственные табачные, виноградные и хлопковые плантации. И.И. Первушин организовал также большие закупки хлеба в России и регулярное караванное сообщение Оренбург – Ташкент. Уже в первый год ташкентская фирма “И.А. Первушин и сыновья” вложила в торговлю и промышленность Туркестана более миллиона золотых рублей. Доверие к торговому дому Первушиных было столь велико, что в первые годы существования Туркестанского края, когда еще здесь не было банков и почтово-телеграфных учреждений, именно эта фирма выполняла многие кредитные и банковские операции со средствами частных лиц. И.И. Первушину принадлежит также честь называться первым спонсором разведки и эксплуатации полезных ископаемых Туркестана. <...> Большие прибыли позволили Первушиным вкладывать средства и в строительство общественных сооружений. До наших дней сохранилось историческое здание военного госпиталя... Нынешний кафедральный собор в Ташкенте ведет свое начало от госпитальной церкви св. Пантелеймона, которая строилась тоже на средства фирмы Первушиных» (Голендер 2007: 121).

КАРАЗИН И ЛЕВ ТОЛСТОЙ

Впечатляющая своей реалистичной образностью, проза Каразина при его жизни была довольно резонансной. Так, при чтении каразинского романа «Погоня за наживой», на-

писанного в 1876 г. и не ставшего хрестоматийной классикой, в сознании современного читателя не может не всплыть фрагмент из повести Л.Н. Толстого «Крейцера соната» (1889). Сцену внезапного возвращения Позднышева из уезда, когда он застаёт свою жену с предполагаемым любовником, – точно-точно, до мельчайших деталей, – находим в каразинской «Погоне за наживой», где Ледоколов застаёт-таки свою жену с любовником. Толстому не мог не быть знаком этот роман Каразина, публиковавшийся в петербургском журнале «Дело».

Вот сопоставление двух фрагментов из романов Толстого и Каразина:

Л.Н. Толстой.

«Крейцера соната» (1889)

Был первый час. Несколько извозчиков стояло у крыльца, ожидая седоков по освещенным окнам (освещенные окна были в нашей квартире, в зале и гостиной). Не отдавая себе отчета в том, почему есть еще свет так поздно в наших окнах, я в том же состоянии ожидания чего-то страшного **взошел на лестницу и позвонил**. Лакей, добрый, старательный и очень глупый Егор, отворил. **Первое, что бросилось в глаза, в передней была на вешалке рядом с другим платьем его шинель**. <...>

Я не мог продохнуть и не мог остановить трясущихся челюстей. <...> Я чуть было не зарыдал, но тотчас же дьявол подсказал: «Ты плачь, сентиментальничай,

Н.Н. Каразин. «Погоня за наживой» (1876)

Целых три недели пришлось ему не видеть своей жены – ему надо было уехать по делу. <...> Поздно ночью, почти перед рассветом, слез Ледоколов с извозчика и постучался в ворота; быстро **взбежал он по лестнице**, чуть не разбив себе носа в потемках, и остановился перед своею дверью. <...> ...Дотронулся до ручки звонка. Все тихо, ничего не слышно. Он **позвонил** еще раз, громче.

– Кто там? – послышался за дверью испуганный голос горничной.

– Отвори, это я, – тихо произнес он. <...> Ледоколов начал раздеваться, девушка торопливо зажигала свечу...

Ярко вспыхнул огонь и осветил испуганное лицо горничной; глаза ее широко раскрылись, она вскрикнула и выронила свечку из рук.

а они спокойно разойдутся, улик не будет, и ты век будешь сомневаться и мучаться». И тотчас чувствительность над собой исчезла, и явилось странное чувство – вы не поверите – чувство радости, что кончится теперь мое мученье, что теперь я могу наказать ее, могу избавиться от нее, что я могу дать волю моей злобе. И я дал волю моей злобе – я сделался зверем, злым и хитрым зверем. <...> **...Мне стало жутко**, когда я почувствовал, что остался один и что мне надо сейчас действовать. Как – я еще не знал. **Я знал только, что теперь все кончено**, что сомнений в ее невинности не может быть и что я сейчас накажу ее **и кончу мои отношения с нею** (Толстой 1933: 27/69–70) (выделено мной. – Э.Ш.).

Ледоколова как обухом ударило но голове. Как ни мгновенно блеснул свет, **он успел увидеть, он видел... Да, то, что он видел, было ужасно!**

Он видел на вешалке чужую шинель, он ясно ее разглядел, с капюшоном, с военным воротником; металлические пуговицы так ярко, так отчетливо блестели на сине-сером сукне.

– Огонь зажги, – прохрипел он.

Послышалась торопливая возня и шорох; спички не загорались; наконец снова была зажжена свеча... <...> Ледоколов быстро прошел через все комнаты и остановился перед дверью спальни – дверь была заперта. <...> **Опустив голову, схватившись за сердце обеими руками, он пошел в кабинет; у него сил не хватило дотащить до своей двери: он прислонился к стене и судорожно вцепился в какую-то драпировку.**

Замок щелкнул. Чьи-то шаги, гремя шпорами, быстро прошли к передней.

С этой ночи он уже не видел более своего ангела (Каразин 1905: 2/9–11) (выделено мной. – Э.Ш.).

Личное любовное фиаско Ледоколова, нашедшего единственного выход, как спасение от самоубийства, – отправиться в Ташкент (напомню еще раз, что роман Каразина опубликован в 1876 г.), – не могло не быть одной из предпосылок

сюжетного поворота у Толстого в «Анне Карениной» (биография Вронского) (последние главы романа Толстого опубликованы в журнале в 1877 г., книга вышла в 1878 г.).

Знакомство и общение Толстого и Каразина – исторический факт (Каразин был иллюстратором произведений Толстого), однако информации сохранилось немного; есть свидетельство их переписки. Так, Толстой в письме к дочери (от октября 1893 г.) упоминает Каразина: «...получил от Каразина письмо с просьбой сказать свое мнение об иллюстрациях Севера, и посылает несколько экземпляров альбома» (Толстой 1953: 66/408). Ответ Толстым был послан, но ни письма, ни его содержания не сохранилось.

Сходство ситуаций в романах писателей¹¹⁶, а именно заимствование Толстым каразинского фрагмента – вещь очевидная как по сути, так и по хронологии. С другой стороны, ситуация с отъездом в Ташкент на фоне личного фиаско была весьма типичной для конца XIX в. Например, Н.А. Варенцов вспоминает свои ташкентские впечатления: «Был на вечере Василий Александрович Шереметев, в красивой офицерской форме конного гвардейца. Он был на редкость красивый человек, с правильными чертами лица, хорошо сложенный и с красивыми глазами. Василий Александрович был в родстве с графами Шереметевыми, но происходил от другой линии, не был графом; его мать была при дворе, пользовалась расположением императрицы. Василий Александрович рассказал на этом вечере, как он попал в Ташкент.

Сделавшись офицером, увлекся жизнью, начал кутить и безумно тратить деньги, чем взволновал свою мать; она, опасаясь, что он спустит все состояние, обратилась к государю Александру III с просьбой обуздать ее сына. Государь вызвал Шереметева и сильно отчитал и потом сказал: “Я тебя отправляю на службу в Ташкент, к моему другу генералу барону Вревскому и это делаю только из расположения к твоей матери, но помни: если получу жалобу от барона на твое беспутное

¹¹⁶ О влиянии Л.Н. Толстого на прозу Каразина см. главу «Война. Туркестанский пленник».

поведение, то знай, что ушлю тебя в такое место Российской империи, которое ни на какой карте географической не обозначено» (Варенцов 2011: 304).

Еще один пример из самого высшего императорского круга – ссылка в Ташкент великого князя Николая Константиновича на вечное поселение – из-за любовных непотребств, так сочла царская семья, – тоже укладывается в этот типологический ряд. «В Ташкенте познакомился с великим князем Николаем Константиновичем, сосланным туда государем за покражу фамильного бриллиантового колье у своей матери» (Варенцов 2011: 45); «К нему приехал великий князь Николай Константинович, сосланный в Ташкент за разные дебоши в Петербурге...» (Варенцов 2011: 303).

И.А. Гурвич проговаривает непопулярный аспект в истории литературы – «писатель – писатель», имея в виду внутрилитературные связи, основанные на вертикальной градации литературных рядов. «Во всякой более или менее развитой литературе большой художник, как правило, окружен “средними” писателями, и вторые для первого – питательный канал и резонирующая среда. Разнообразна, как замечено, “муравьиная работа” рядовых авторов: тут и “подготовка новой идеи” и ее распространение... <...> “Обыкновенные таланты” нередко нащупывают, а то и открывают для разработки те тематические, проблемные пласты, которые позднее будут глубоко вспаханы классикой. В самих писательских замыслах “подготовка”, понятно, не заложена; подготовительная работа фиксируется исследователем, но писателем, по логике вещей, не планируется и не осознается. <...> ...Освоение беллетристических накопленных происходит по-разному: большая литература и включает их в свой актив, и переосмысливает, и освещает полемическим светом; переменчиво сочетаются приятие и неприятие, “благодаря” и “вопреки”» (Гурвич 1991: 61–63).

Так проза Каразина, или отдельные ее фрагменты, стала для Толстого той «подготовительной работой» – вне сомнения (так же, как внутрилитературные связи «Каразин – Чехов», «Каразин – Лесков»).

КАРАЗИН И ЧЕХОВ

Каразинский Лопатин («Погоня за наживой»), предприниматель, нувориш конца XIX в., выписан так выпукло, объемно, вширь и в глубину психологизма, Лопатин, скупающий все движимое и недвижимое, а также ловко распоряжающийся в своих интересах попавшими в материальные затруднения людьми, – этот образ не мог не стать для читателей своего времени образом-символом и, вполне закономерно, – одним из истоков-прототипов чеховского Лопахина из «Вишневого сада» (1903).

Еще одна каразинская находка, ставшая хрестоматийной благодаря чеховскому Гаеву из «Вишневого сада: в романе «На далеких окраинах» (1872) умирает при загадочных обстоятельствах офицер Батогов (намеренно отравлен опиумной сигарой), гарнизон заинтригован загадочной смертью. Однако офицеры ведут досужие разговоры, собираются на поминки, звучит голос из бильярдной: «Красного в угол и по желтому карамболь!» (Каразин 1905: 1/269). В повести «В камышах» (1873) главный персонажа, Касаткин, представлен в кризисный для него момент: рушится его счастье – собственно читатель видит начало его умопомешательства. Касаткин забрел в трактир, из бильярдной доносятся реплики, отбивающие ритм скуки гарнизонной жизни, никак не гармонирующие с его трагическим состоянием: «“Желтого” режу в “среднюю”!» (Каразин 1905: 13/35), «Красного в угол и карамболь по белому!» (Каразин 1905: 13/39). Такими же бильярдными репликами пользуется чеховский Гаев, прикрывая свое смущение и необходимость ответа.

Каразинская деталь, заговорившая в рассказе Чехова «Крыжовник»:

*Каразин. Погоня
за наживой (1876)*

Все живое дремлет и спит,
забывшись от этой мертвящей
жары всюду... Ни одной собаки не

*Чехов. Крыжовник
(1898)*

Иду к дому, а навстречу
мне рыжая собака, толстая,
похожая на свинью. Хочется

видно на улице... дремлет только одна паршивая рыжая собачонка и зализывает во сне свою искаленную лапу. Большая, жирная свинья с полудюжиною поросят одна только бродит по опустелым улицам и, глухо, внушительно крякая, тычет своим рылом во все, что только ни найдет любопытного (Каразин 1905: 3/186).

ей лаять, да лень. Вышла из кухни кухарка, голоногая, толстая, тоже похожая на свинью, и сказала, что барин отдыхает после обеда. Вхожу к брату, он сидит в постели, колени покрыты одеялом; постарел, расплнел, обрюзг; щеки, нос и губы тянутся вперед, – того и гляди, хрюкнет в одеяло (Чехов 1986: 10/62).

Каразинская реминисценция у Чехова:

Каразин. «Погоня за наживой» (1876)

Мертвая тишина, тоска, скука.

Серое знойное небо, серая даль, серые бесконечные чащи джиды, колючего терновника, серые сыпучие пески, серая лента дороги, на которой давно уже не видно ни одного живого существа, и покойным, мягким, двухвершковым слоем лежит солонцеватая пыль, бережно храня полукруглые следы верховой лошади, расплзшийся след верблюдов, прошедших здесь чуть не трое суток тому назад. Серые, однообразные линии крепостного вала, скучный казенный фасад одноэтажной казармы, покривившийся полосатый флагшток и безжизненно висящая на нем запылившаяся тряпка.

А неподалеку, сквозь редящую чащу, – мутная, ленивая река, словно дремлющая в своих

Чехов. «Дама с собачкой» (1898)

Приехал он в С. утром и занял в гостинице лучший номер, где весь пол был обтянут серым солдатским сукном и была на столе чернильница, серая от пыли... <...> Гуров не спеша пошел на Старо-Гончарную, отыскал дом. Как раз против дома тянулся забор, серый, длинный, с гвоздями.

«От такого забора убежишь», – думал Гуров, поглядывая то на окна, то на забор. <...> Он ходил и все больше и больше ненавидел серый забор...<...> Он сидел на постели, покрытой дешевым серым, точно больничным, одеялом...<...> Анна Сергеевна, одетая в его любимое серое платье,

печальных берегах, словно втихомолку прокрадывающаяся мимо Забытого форта, боясь как-нибудь потревожить бесконечный сон его обитателей (Каразин 1905: 3/186).

Безусловно, такие сопадения могут быть произвольными. Однако, думаю, не в этом случае. Каразин был у всех на устах, его читали, романы публиковались из номера в номер – с продолжением (прежде писали: «Продолжение будет», «Окончание будет»). Тем более, что Чехов был знаком с Каразинным. Сохранился чеховский текст «Обеды беллетристов», где, в частности, сказано:

«Вчера, 12 января (1893 г. – Э.Ш.), почти все наши беллетристы, пребывающие теперь в Петербурге, собрались в “Мало-Ярославце”, чтобы отпраздновать Татьянин день – годовщину старейшего из русских университетов, и положить начало “беллетристическим” обедам, которые, как говорят, будут повторяться ежемесячно, исключая летнего времени. Обедающих было 18... (перечисляются фамилии писателей, среди них – Н.Н. Каразин. – Э.Ш.) <...> Обед прошел весело... отличные отношения... существуют у наших беллетристов...» (Чехов 1987: 16/259).

В романе «С севера на юг» есть персонаж, по прозвищу Мутило, или дядя Василий, аферист и мошенник. Когда нажитое нечистым путем приобрело видимые окружающим объемы, у дяди Василия появляется отчество – Ионыч. Каразин пишет: «Шибко зашагал в гору дядя Василий, другим, глядя на него, даже стало завидно, не всем, конечно, а многим. Были и такие даже из этих завидующих, что давно уже, лет по десяти жили в этих краях, всякие дела обдeldывали, большими оборотами орудовали, а не успели столько загрести жару, как дядя Василий, без малого два года всего сюда пожаловавший... На базаре да в трактирах, где спервоначалу его Василием кликали, а то и попросту Васьюкою, теперь уже и не величали иначе, как Василием Ионычем, купцом, а кирги-

зы, народ темный, в чинах не сведущий, те его за начальство считали, потому раз видели, как он с самим Головым в дрожках проехался. <...> Говорили про него, будто видели, как он мешок с тремястами хивинских червонцев пересчитывал...» (Каразин 1905: 7/231–233).

Конечно, отчество чеховского Старцева («Ионыч», 1898) *Ионыч* и каразинского Василия может быть простым совпадением, однако зная о знакомстве двух писателей, о немалой прижизненной популярности Каразина, признанного мэтра, бывшего много старше Чехова, можно предположить, что сюжет каразинского образа впечатлил Чехова – в итоге его Старцев становится именно Ионычем, в архетипе образа которого считывается если не аллюзия, то парадигма. Безусловно, авторские интенции этих образов разные: проходной персонаж у Каразина и наделенный экзистенциальным смыслом чеховский персонаж.

Чехов, по словам исследователя, как никто из крупных писателей XIX в. не пренебрегал текущей литературной продукцией, в зрелые годы его занимали судьбы писателей-«спутников» не меньше, чем в молодости, из чего следует «обилие точек соприкосновения, общих тем, мотивов, интонаций у Чехова и беллетристов 70–90-х гг.; чеховское вне Чехова – чуть ли не массовое явление, в прозе подобного прежде не было. <...> Творчество Чехова таит в себе отголоски многих произведений современных ему беллетристов, более того: Чехов, по-видимому, не раз впрямую отправлялся от каких-то конкретных литературных фактов второго ряда (мотивов, сцен и т. п.). Что для нас прочно соединено с именем классика, то порой генетически восходит к беллетристическому опыту» (Гурвич 1991: 77–78); «...Чему беллетрист нашел экстенсивное применение, то большой художник сделал орудием проблемного образотворчества; для историка литературы, а тем более для культурного сознания вопрос: “кто выше, кто художественнее?” – отделен от вопроса: “кто первый?” – и с учетом этого “присваивается” имя принципу, форме, стилю» (Гурвич 1991: 80).

И.А. Гурвич, чеховед, приводит примеры тонких, явных и неявных, чеховских схождений, заимствований у беллетристов, своих современников. Однако фамилии Каразина среди них нет. Тем не менее вывод, к которому приходит исследователь, сполна подытоживает сделанные здесь находки: «Что у беллетриста может показаться случайной находкой, тому большой художник придает значение необходимого компонента образной системы – стилистически оригинальной системы. Возможно, Чехов с тем и взял “чужое”, чтобы сделать его “своим”, но тогда надо признать, что цели он достиг не путем какого-либо преобразования заимствованной конструкции, а путем включения ее в силовое поле стилиобразующего контекста; большего не потребовалось. Стиль Чехова хранит в своей структуре отложения опробованных беллетристической конструктивных решений – конкретных, но не индивидуальных» (Гурвич 1991: 83).

КАРАЗИН-ЛИТЕРАТОР И ХУДОЖНИКИ

В 1873 г. В.В. Верещагин создаст живописную работу «Смертельно раненный». На раме авторская надпись: «Ой убили, братцы... убили... ой смерть моя пришла». Несколько ранее Каразин публикует повесть «В камышах», в эпилоге которой описан штурм одного из кишлаков Средней Азии. Там есть фрагмент, изображающий раненого русского солдата на носилках, который кричит: «Легче, голубчики мои! Легче, родимые!.. ой, ой!.. Смерть моя пришла!» (Каразин 1905: 13/169). Первоначально эти слова из повести «В камышах» были напечатаны в журнале «Нива» за апрель 1873 г. (вся повесть – в № 2–16). Похожая фраза есть и в романе Каразина «На далеких окраинах»: «Вы бы меня братцы, к самой реке положили, – мечется раненый, – то есть всю бы вылакал... Ох, батюшки, ой, смерть моя пришла... слышишь, дядя, там у меня ладонка... в жилетке рупь зашит...» (Каразин 1905: 1/245). Публикация этого романа завершена в ноябрьском журнале «Дело» за 1872 г. (№ 9–11).

Приведенные примеры свидетельствуют, что проза Каразина находилась в авангарде литературы 1870–1890-х годов и тем или иным эхом отзывалась в творчестве писателей и художников, вошедших впоследствии в первые ряды как литераторов, так и живописцев (а уж Верещагин и Каразин шли рука об руку – не будучи друзьями, но во время Туркестанского похода находились рядом, по сути изображая одни и те же события).

«В довоенные времена, когда советская критика называла иногда вещи своими именами, Каразин считался самым талантливым писателем колониального жанра» (Дудаков 2000: 384).

К.С. Петров-Водкин, побывавший в Средней Азии и поработавший там в Самкостарисе (Самаркандская комиссия по охране памятников старины и искусства), создал свою «Самаркандию» – впечатления от древнего города: цветовые образы, запахи восточных яств, плодов, воздуха, пыли; от старинных зданий, в окрасе которых Петров-Водкин увидел символически осмысленное и заговоренное желание: «Да ведь это вода! Это заклинание бирюзой огненности пустыни! В угадании этого цвета в мозаике и майолике и есть колористический гений Востока» (Петров-Водкин 1923: 35). «Этот перелет ультрамарина, сапфира, кобальта огнит почву, скалы, делая ничтожной зеленцу растительности, вконец осеребряя ее, – получается географический колорит страны в этих двух антиподах неба и почвы» (Петров-Водкин 1923: 32).

Что привело Петрова-Водкина в Самарканд? – должны быть какие-то внутренние послылы для поездки. Предположим, что поначалу художник познакомился с неимоверно популярными работами Каразина – как изобразительными, так и литературными. Наталкивает на такое знакомство один из фрагментов каразинской прозы, возможно, ставший импульсом для рождения знаменитого «Купания красного коня» (1912):

«Вдруг сзади нас послышался всплеск воды, словно раздавшейся под каким-то грузным телом, гортанный голос... –

Ого... Го-го... Джаным... Го-го! – И фыркanye горячащейся лошади...

Мы взялись за штучеры. Холодная дрожь невольно пробежала у меня по спине.

На высоком вороном жеребце, рассекавшем воду своею сильною грудью, плыла совершенно голая женщина, только металлические браслеты выше локтей и длинные серьги в ушах блестели на ее смуглом, лоснящемся теле. Волосы, заплетенные в мелкие косички, были подобраны кверху и связаны в общий пучок... Эта женщина была атлетически сложена, во всех ее движениях, в посадке на коне было столько грации, столько красоты и какой-то могучей, стальной воли...

Амазонка плыла на неоседланной лошади, она пригнулась к шее коня и плескала ему воду на голову; конь тряс головою, поводил ушами и, раздув широко красные, тонкие ноздри, жадно хватал губами блестящую, серебристую струю...

Вот он описал большой круг, – пересек еще не успокоившуюся борозду на поверхности реки, выбрался на более мелкое место и стал... Наездница соскочила в воду, точно русалка, изгибаясь своим эластическим телом.

Луна своим светом так и заливала и коня, и наездницу... Я стоял в лодке неподвижный, словно очарованный, и не сводил глаз с этого чудного зрелища» (Каразин 1905: 6/171).

Возможно, Петров-Водкин, осмысляя глазами художника новую реальность, ретроспективно выстраивает и рожденное уже в прошлом полотно: «Пространственность еще только мерещится. В ней переломы и культуры, и самого облика человеческого, но как труден путь к ней – окован в трехмерии кубизма аппарат мой...» (Петров-Водкин 1923: 25).

«Атлетическое» голое тело, купание коня, «красные» ноздри – эти детали присутствуют у Петрова-Водкина в его знаменитой картине; возможно, они сознательно или опосредованно навеяны каразинским прозаическим фрагментом из повести «Тигрица».

КАРАЗИН И САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

Колониальный автор, Каразин не только фонтанирует оригинальными находками. Он заимствует основную интенцию своей прозы у Салтыкова-Щедрина, в частности, из его цикла «Господа ташкентцы», главная мысль которого заключена в заглавии – ироничное величание *цивилизаторов* (слово из щедринского лексикона), сатирическое изображение нуворишей или тех, кто стремился стать таковыми по приезде из Ташкента. Не случайно Каразин прозрачно и прямо называет свой роман – «Погоня за наживой». Повторю слова Салтыкова-Щедрина, сказанные им в адрес цивилизатора: это тот, «который придет, старый храм разрушит, нового не возведет и, насоривши, исчезнет, чтоб дать место другому реформатору, который также придет, насорит и уйдет...» (Щедрин 1970: 10/267).

Каразин развивает щедринский «цивилизаторский проект»: «Весьма любопытная сторона... <...> Ну да и край же, я вам доложу, золотой край для всяких торговых предприятий; то есть за что ни возьмись; и ежели при этом еще деньги – ффа! Все это внове, нетронутое, запускай руки по самые локти, гребни знай... Ну, да вот вы сами увидите...» (Каразин 1993: 35);

«Я никак не ожидала, что в такой глуши, в такой дикой стороне можно было так комфортабельно устроиться! – ясно был слышен голос Фридерики Казимировны» (Каразин 1993: 230).

Проезжающий господин, потенциальный цивилизатор, делится на станции своим опытом общения с туземным населением: «...в чем собственно состоит эта спасительная опытность? <...> – Нагайка? – Она самая. Вот вам альфа и омега путевой премудрости» (Каразин 1993: 46).

В романе «Погоня за наживой» есть деталь – рассылаемое приглашение на бал; помимо информации о времени и месте, «добавлялось, что бал этот имеет, между прочим, целью слияние национальностей, победителей и побежденных, а посему первые приглашались по возможности способство-

вать достижению этой благой цели, занимая туземных гостей и *объясняя им главнейшие преимущества цивилизованной общественной жизни* перед их полудиким, варварским бытом» (Каразин 1993: 248) (курсив мой. – Э.Ш.). Выделенное курсивом – не раз встречающееся разъяснение русской миссии на Восток в текстах, адресованных русскому читателю, свидетельство критического отношения к ней писателя.

Салтыков-Щедрин дал старт *барану* как паттерну туркестанского текста, сделав из него манок для русских. В «Господах ташкентцах» в небольшом фрагменте слова *баран*, *баранина* повторены много раз:

«Помилуйте! да какой вам еды лучше! *баранина* есть, водка есть... выпил рюмку, выпил другую, съел кусок... <...>

– Что вы! да разве вы не слышали, какая у них там *баранина*... <...>

А уж там-то, на месте-то какое житье! *баранина*, я вам скажу... <...>

– Однако, я слышал, что *баранину* можно достать отличную... <...>

– И! что вы! да там, говорят, такая *баранина*... <...>

– Народ простой, непорченный-с. Опять, сказывают, что у них даже простая *баранина* от многих недугов исцеляет! <...>

Проповедовать – можно! Только вот сказывают, что они по постам *баранину* лопают, – ну, это истребимо с трудом! Одним словом, все заканчивают свои речи *бараниной*, все надеются на *баранину*, как на каменную гору. <...>

– Если эта *баранина* хоть в сотую долю так вкусна, как об ней говорят, то я уверен, что через полгода в стране не останется ни одного *барана*! Увы! такова судьба цивилизующего начала! Оно истребляет туземных *баранов* и, взамен того, научает обывателей удовлетворяться духовною пищею! Кто в выигрыше? кто в проигрыше? те ли, которые уделяют пришельцу частицу стад своих, или те, которые, в возврат за это, приносят с собой драгоценнейший из всех плодов земных – просвещение?» (Щедрин 1970: 10/45–47) (курсив мой. – Э.Ш.).

Щедрин иронично перечисляет «углы», из которых раздается «баранина»: первый, второй... восьмой угол. Шквальная обойма «баранины» – намек на традиционный «артефакт» восточной окраины, персонажа ойкумены.

При упоминании о заимствованиях, обоюдных, – у Каразина и его современников, здесь подчеркивался год первой публикации того или иного произведения. «Господа ташкентцы» публиковались с 1869 по 1873 гг., роман Каразина «Погоня за наживой» – в 1873 г., тем очевиднее влияние Щедрина на Каразина:

«...Как приедешь, пиши, обо всем пиши – все, что как там есть, насчет жизненных удобств и прочее. Не может быть, в самом деле, чтобы там только одна баранина была?» (Каразин 1905: 2/15) («Погоня за наживой»). Заимствование это или нет – сказать сложно. Возможно, тогдашний ассоциативный образ о Туркестане – *баран* – из журнального дискурса набирал обороты, становясь сигнатурой туркестанского текста.

Пишет автор травелога конца XIX в.: «Внутренняя торговля... по преимуществу *меновая*, она имеет мерилom своей ценности *трехлетнего* барана, т. е. животного, достигшего уже такого возраста, после которого цена его не быстро увеличивается» (Уралов 1897: 39).

В романе «С севера на юг», публиковавшемся в 1874–1875 годах, Каразин превращает этот манок – барана – в детективный сюжет.

Новые русские переселенцы соблазнились чужим – крадут у киргизов барана. «Давно уже наши скоромятины не пробовали, глаза разгорелись, зубы просто защелкали» (Каразин 1905: 8/280). Решив, что у киргизов этого добра, баранов, много, что, может, уже и счет потерян, да в писании сказано: «“поделись с неимущим от избытков своих, воздастся за то тебе сторицею. Ему же, киргизу, значит, выйдет из того выгода”. Сцапали они тогда барашка одного, порядочного таки, голову отмахнули, чтобы не орал, да в лодку, рогожею покрыли и прочь поскорее поплыли» (Каразин 1905: 8/280–281). Первый раз пронесло, случился и второй – выкрали сразу трех

баранов, и тоже удачно. «И завелось у наших с той поры такое положение. В неделю чтобы два раза беспременно. А дни чтобы менять, потому орда приноровиться может» (Каразин 1905: 8/285).

Однако киргизы выследили русских и собрались судить их по своим законам и традициям, – так русские переселенцы постепенно возвращались в реальность. Хотя манок о Туркестане – земле обетованной – притягивал в тот край еще не одно поколение «господ ташкентцев»:

«Делов-то в этой стороне много, хороших делов; коли человек с головой, он в три года силу-капитал достать может. А первое дело, что никто тебе не указчик – к примеру, по купечеству: поехал ты это в степь, угнал верст за двести; едешь по аулам один, птица вольная. “Косоглазые” тебя это принимают с почетом, потому ты гость, “кунак”, по-ихнему купец; мяса-то это нажрешься у них, баранины, кумысу налакаешься. А тут не зевай, брат, дела обдeldывай... Где за рубль, где за полтора, а где и в промен на что, почитай задаром, баранов скупаешь... Наберешь десяток-другой в город, хошь примерно в тот же Казалинск гонишь, к базарному дню. Что купил за рубль, получай пятерку, за что платок какой кумачный в шесть гривен али сережки в пятнадцать копеек – получай в десять раз супротив плаченого...» (Каразин 1905: 7/92–93) («С севера на юг»).

То, что пророчил Салтыков-Щедрин, ни разу не побывав в Туркестанском крае, вполне реализовалось – свидетельствует писатель советской поры: «Здесь процветает такой произвол, о котором не помышлял даже Щедрин» (Алматинская 1969: 1/193).

Рецензент туркестановедческой книги¹¹⁷ в журнале «Дело» за 1871 г. пишет, не без сарказма, о ее авторе и ему подобных, «которых года два тому назад не дурно изобразил один из наших беллетристов и которые с криком “жрать” стремятся в Среднюю Азию на тамошнюю баранину. <...> ...

¹¹⁷ Костенко Л. Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности. СПб., 1871.

Капитан Костенко занял целых двадцать страниц своей книги... почтовыми дорожниками, подробным указанием путей, ведущих в обетованную землю баранины»¹¹⁸ (Дело 1871: 111).

«Щедринский» баран отозвался в русской литературе ХХI в. Сухбат Афлатуни пишет о том самом пространстве, которое колонизовали в XIX в.: «Наступил 1991-й. Год белого Барана. <...> “Белый баран пронесет нашу страну над пропастью”... <...> Баран пронес страну над пропастью. Но страна, которую он донес на другой край, была уже другой» (Афлатуни 2011); «Шел год очередного Барана, одни говорили – водяного, в других газетах – каменного, или глиняного, или черного, какая разница? Год Барана завис, как антициклон, над ними, и следующий год будет тоже годом Барана, и сле-следующий тоже...» (Афлатуни 2011). Так замыкается полуторавековой текст (равный времени пребывания Туркестана в составе империи), рождая культурно-экзистенциальный сюжет, в центре которого – баран.

От вожделенного «господами ташкентцами» барана осталась баранья косточка. На востоке ходит молва о специфическом ритуале угощения неугодных гостей пловом: в щепоть с рисом, предназначенную гостю, вкладывается маленькая баранья косточка. Так, каразинская героиня произносит проклятье: «Ах, чтоб ей костью бараньей подавиться» (Каразин 1905: 6/29). «...Весь обеденный этикет состоит в том, что хозяин от времени до времени расколет кость для гостя или положит своими пальцами в его рот кусок жира» (Дело 1877: 100).

Отозвалось проклятье – в рассказе Александра Грищенко «Ребро барана» (2009): «Георгий ненадолго пережил тетку: погиб при странных обстоятельствах, в разгар знаменитого “хлопкового дела”, – подавился насмерть на министерском торжестве, вроде когда плов ел. Привезли его домой с распахнутым, незакрывающимся ртом, а из глотки торчала баранья косточка, – так и хоронили, прикрыв лицо платком» (Гри-

¹¹⁸ Тем не менее, вопреки желчной рецензии, Л. Костенко в своей книге выражает respectable отношение к народам и культуре Средней Азии.

щенко 2009: 141). Эта самая косточка, вынесенная в заглавие в виде «ребра барана», становится главной интригой сюжета. В контексте рассказа косточка превращается в символ: кто успел – уехал из Туркестана, не успел – косточкой. Так аукнулась щедринская «баранина» времен исхода – «косточкой». Круг замкнулся.

Баранья косточка «заговорила» еще раз – в повести Сухбата Афлатуни «Пенуэль» (2007). Действие происходит в первые годы советской власти в Туркестане. Герой повести беседует с юношей-танцором, бачой: «А он говорит: умерли товарищи. И отец-мать умерли. И братья умерли. И ты умер. Какая теперь разница? <...> Я даже рассердился: что заладил одно и то же? Кто тебя такому учил? А он: трава научила. Дерево научило. Баранья кость научила. Какая еще, говорю, баранья кость? На дороге лежала, говорит, подобрал. Теперь с ней разговариваю. У нее голос моей матери. Она меня учит» (Афлатуни 2007).

Так иносказательно, посредством колониального символа, обозначен хронотоп – время присутствия Туркестанского края в составе русской культуры.

Внутрилитературные связи, а именно «писатель – писатель», о которых речь шла в главке «Каразин – Лев Толстой», имеют еще одну направленность, более распространенную, когда писатель «второго» ряда (или беллетрист) идет за лидером современной литературы. «Связующие нити тянутся и от второго ряда к первому, и в обратном направлении...» (Гурвич 1991: 67). Это наблюдалось при рассмотрении темы войны в творчестве Каразина, который, не скрывая, наглядно демонстрировал в своей прозе толстовский дискурс. Эту тенденцию обнаруживаем в следовании Каразина за Салтыковым-Щедриным. «Видообразование через равнение на лидера укореняет художественные достижения, заверяет их ценность; заметнее делаются вехи развития, его предпосылки» (Гурвич 1991: 68). «...Именно поэты второстепенные создают литературную традицию. Они-то превращают индивидуальные признаки великого литературного произведения (в

данном случае щедринских «Господ ташкентцев». – Э.Ш.) в признаки жанровые, индивидуальную комбинацию признаков фиксируют как каноническую для данной эпохи. Они способствуют шаблонизации литературного жанра...»¹¹⁹.

Сам М.Е. Салтыков-Щедрин в связи с этой проблемой – подражание и заимствование – писал: «...Пренебрежение к подражателям может сделать ущерб... критическому исследованию в том отношении, что оставит без разъяснения те характерные черты школы, для изучения которых подражатели всегда представляют материал гораздо более разнообразный и яркий, нежели сами образцы» (Щедрин 1970: 9/344).

КАРАЗИН И ЛЕСКОВ

В романе «С севера на юг» есть фрагмент – описание тюрем, или камер предварительного заключения, построенных русскими в Средней Азии. Это были далеко не зинданы, туземные тюрьмы. Из зиндана убежать было невозможно – это могила¹²⁰, где смерть наступала естественным образом, без казни – от мучений, голода, насекомых, зловония: на кости, трупы предыдущих узников спускали обреченных новых.

Русские тюрьмы Каразин описывает так: «Попался раз Дабуй-барантач (разбойник. – Э.Ш.). Долго на него зарились, шибко досадить успел. Поймали, наконец, изловчились, обрадовались. Ну, думают, за все теперь выместим. Припомним тебе все твои пакости. Заперли его в казематку крепостную, часовых приставили, а он в первую же ночь и улег. Стали тюрьму оглядывать: ан под стенку ход прорыт, словно нора лисья, прямо взади казематки, к обрыву береговому. И чудно, право, как: земли даже не видать вывороченной. Вот он, значит, каким манером удрал: подрылся» (Каразин 1905: 8/319).

На этом примере автор не останавливается – он предлагает еще и еще случаи, похожие на первый: о внезапности исчезновения арестованных (Каразин 1905: 8/320–321), что-

¹¹⁹ Жирмунский В.М. Байрон и Пушкин. Л., 1978. С. 227 (цит. по: Гурвич 1991: 69).

¹²⁰ См. главу «Война. Туркестанские пленники».

бы прийти к выводу: «Уйти, значит, только тот не может, кто сам не захочет... Ну, таких и запирать не для чего...» (Каразин 1905: 8/322).

Весь этот пассаж о русских среднеазиатских тюрьмах, построенных из самана (кирпича из глины, перемешанной с соломой), смеем предположить, не мог не впечатлить Николая Лескова. Каразинский роман «С севера на юг» публиковался в книжках журнала «Дело» в 1874–1875 годах. В 1882 г. Н.С. Лесков публикует рассказ «Путешествие с нигилистом», где есть фрагмент¹²¹, сродни каразинскому, в котором описывается странное, таинственное исчезновение из тюрьмы заключенного. «...Стали везде по камерке смотреть – ни дыры никакой, ни щелочки – ничего нет...» (Лесков 1989: 7/172).

Литературное описание туркестанских тюрем подтверждает фрагмент из воспоминаний Г.П. Федорова, служившего при генерал-губернаторе Кауфмане: «Кауфмана очень озабочивало правильное устройство мест заключения. В крае было выстроено несколько тюрем, но порядки в них были неважные, главным образом по неимению людей, знакомых с делом тюремной организации. Кауфман командировал меня в европейскую Россию для осмотра лучших тюрем и для ознакомления с тюремным бытом, режимом и хозяйством. Я осмотрел все московские, петербургские и варшавские тюрьмы, а также одиночную тюрьму в Седлеце. Самую интересною оказалась Шпалерная тюрьма, известная под именем “дом предварительного заключения”. Крестов тогда еще не было, а вместо них существовали исправительные арестантские роты гражданского ведомства, в которых практиковалась система мастерских, при общем молчании работающих арестантов, и разъединение их на ночь в особые кельи. На мой вопрос, каких результатов достигает эта система, начальник тюрьмы ответил, что самых отрицательных, ибо арестанты свободно разговаривают и даже поют в мастерских за недостатком надзора, а по ночам, благодаря отмычкам, устраивают настоящие клубы с картежной игрой. Работая в

¹²¹ См. с. 54 в данном изд.

слесарной мастерской, каждый арестант имеет возможность смастерить себе отмычку, и начальник тюрьмы показал целый большой сундук, наполненный отобранными отмычками» (Федоров 1913: 54–55).

Проза Каразина для читающей аудитории 1870–1890-х годов не была маргинальной, она не могла пройти мимо взыскательной писательской публики. Поэтому обоюдные влияния (Каразина и писателей-современников) налицо.

Поражают по силе страстности два женских образа в русской литературе этого периода: у Лескова – Катерина Измайлова (1864), у Каразина – героиня повести «Тигрица» (1876), созданная под влиянием Лескова или нет, но точно встраиваемая в типологический ряд героинь русской литературы.

Тема страстных чувств, граничащих с абсурдом, с безнравственностью, волновала многих современников Каразина: героини Тургенева («Вешние воды», «Дым»), Достоевского («Идиот», «Братья Карамазовы»), Лескова. Они не умещаются в Прокрустово ложе житейской рациональной логики, их поведение противоречиво, алогично.

Название повести Лескова «Леди Макбет Мценского уезда» наталкивает на мысль о чем-то необычном: с одной стороны – грандиозный шекспировский характер, с другой – русское захолустье. Соединение шекспировских страстей с жизнью в русской провинции – задача, за которую берется Лесков. Если шекспировская Леди Макбет, жена правителя, участвующая в борьбе за власть, отличается коварством, решительностью, способностью совершать злодеяния, готовностью идти на все, до конца, вплоть до уничтожения других и себя, – становится символом женского злодейства, то лесковская Леди Макбет, Катерина Измайлова, более сложный и внерациональный символ.

На пути Катерины Измайловой появляется мужчина, молодой, сильный, здоровый, как и она, не ведающий страха и сомнения. Их сводит чувственная страсть. У Шекспира страсть сопровождается внеличными влечениями: желанием получить чин, должность. У Лескова этого нет, ситуация, им

воссозданная, тривиальна: влекомые чувственной страстью, сходятся два молодых человека. Однако в тривиальной ситуации нетривиально поведение героини. Она при содействии любовника убивает людей, которые ей мешают: свекра, мужа, ребенка, который мог бы стать свидетелем их любовных утех. Она совершает злодеяние: убивает своими руками, душит мальчика. Таких женщин в русской литературе до Лескова не было. И в западной литературе аналогии найти трудно. В финале, уже на каторге, куда они с Сергеем попали после суда, она совершает еще одно преступление: убивает свою соперницу и гибнет сама. Важно в этой, на первый взгляд, будто бы уголовной хронике то, как это показано. Лесков создает особый человеческий характер – сильный, с шекспировской готовностью идти до конца. Катерина Измайлова не чувствует греха, стоит в стороне от моральных рассуждений. Сила ее характера сочетается с отсутствием моральных разрешений и запретов, она вне морали, для нее нет ничего святого. Страсть – вот двигатель ее поступков.

Однако в изображении Лескова Катерина Измайлова и привлекательна и ужасна одновременно. Лесков прибегает к «услугам» простодушного рассказчика, который повествует, не возмущаясь, не поражаясь. Благодаря чему читатель симпатизирует героине, но, «включая» нравственный кодекс, ужасается ей, – так стиль повествования позволяет взглянуть на изображенную картину под разными углами зрения. С одной стороны – преступление, с другой – страсть.

По прочтении каразинской «Тигрицы» героиня повести по силе страсти, в ней воплощенной, становится вровень с Катериной Измайловой. Но собственно страсть этой восточной красавицы, тигрицы, иного рода – не сексуальная, как у Лескова, а страсть материнской мести за свое дитя. И имя ей дано не без намека, как и у Лескова, – Агреаль, что значит «чистокровная верховая»; здесь все: и ее завораживающая всех красота среднеазиатской амазонки, ум, хитрость, и «чистокровность», присутствующая в ее ментальности: ее ребенок, выношенный ею, но зачатый от врага, – для нее не

ребенок. Ни вскармливать его, ни ласкать она не собирается. Это лишь часть ее хитроумного, хотя и затаянного по времени плана мести: ударить своего врага так, чтобы он ощутил сполна горечь утраты.

А предыстория этой мести такова: русский офицер, участник туркестанских походов, преследовал с группой солдат туркменских беженцев, дабы вернуть их в то поселение, откуда они бежали. Когда их догнали, пришлось вступить в бой с джигитами, сопротивлявшимися русским. Когда защитников, воинов-мужчин, не осталось, на арбу встала во весь рост молодая женщина с ребенком на руках – в позе: убивайте меня и мое дитя. Русские солдаты кричали, что они не тронут, чтобы она слезала с арбы и шла домой. Внезапно ребенок выскользнул из рук матери и попал под копыта лошади, которую при всем желании наездник остановить не мог, – им был русский офицер Наземов.

Женщина, потерявшая сына, сутками сидела, не выпуская из рук мертвое тело ребенка, никому его не отдавала. Но потом попросила, чтобы ей привели Наземова, виновника гибели ее сына, и отдала ему ребенка со словами: он твой. Красавица осталась при русском отряде, умело, намеренно и ненавязчиво влюбила в себя Наземова, который летал от счастья. Пришла надобность ехать в Россию, он позвал с собой Агреаль. Она согласилась, вскоре забеременела, родила мальчика. Кормить наотрез отказалась, ссылаясь на плохое самочувствие. Ребенку наняли деревенскую кормилицу, крестили – мать не сопротивлялась, наоборот, всячески способствовала вживанию ребенка в русскую культуру, чем удивляла Наземова, который с опаской наблюдал за своей невенчаной женой (венчаться она наотрез отказалась, мотивируя это нежеланием терять свою свободу). Ребенку не было и года, когда Агреаль заскучала по теплым родным краям, уговорила Наземова вернуться. А по приезде на родину связалась со своими родственниками, которые пришли в ночи и помогли ей совершить то, что она задумала сразу после смерти своего первого сына: убила мальчика, рожденного от русского отца, ребенка, которого она не считала

своим, сказав, что теперь они квиты: ты убил моего сына, а я – твоего. Интрига сюжета повести состоит в нагнетании странных, загадочных, немотивированных, с точки зрения европейца, поступков красивой Агреаль.

Животная, мстительная страсть закодирована в заглавии повести – «Тигрица», которое недвусмысленно прокомментировано в самом повествовании, где взгляд Агреаль сравнивается с тигриным: «Взгляд ее не был обыкновенным, естественным взглядом... В нем отражалась какая-то особая внутренняя сила... Какое-то могучее чувство одушевляло его и придавало ему это чарующее, пронизывающее насквозь выражение... <...> Мне случалось не раз в густых зарослях “Сыра” и “Аму” лицом к лицу встречаться с тигрицей... Я встретился раз с такою, которая отыскивала по следу своих, только что выкраденных из логовища детенышей... Она была убита; пуля из берданки оказалась сильнее ее отваги, ее острых зубов, ее железных когтей, но я никогда не забуду того взгляда, который бросило на меня умирающее животное... <...> Теперь же подобный взгляд... напоминал мне о неотразимой, беспощадной мести...» (Каразин 1905: 6/147–148).

В каразинской прозе содержится немало самоцитаций: одна из глав романа «Наля» названа «Тигрица» (ч. 2, гл. X) – это заглавие относится к девушке по имени Гуль-Гуль, ее появление на пути главного героя стало роковым, приведшим к трагедии. Гуль-Гуль страстно влюблена в Наля, ради встречи с ней тот забывает о военной дисциплине, о том, что он должен находиться в крепости в ожидании штурма. И каково было его разочарование, когда он увидел, что Гуль-Гуль столь же страстно относится к другому, тоже ее возлюбленному – военному противнику Наля. Когда те решили выяснить отношения в рукопашном поединке, Гуль-Гуль удобно расположилась, чтобы наблюдать за боем своих возлюбленных. «Теперь только бы ей хвостом заиграть!» (Каразин 1905: 5/167) – мелькнуло в голове у Наля. И ведь Гуль-Гуль не предала его, она действительно любила и того и другого – но такое положение вещей было вне понимания Наля.

Другой лесковско-каразинский типологический ряд напрашивается при сопоставлении излюбленного Лесковым образа праведника из «Несмертельного Голована» и персонажа из рассказа Каразина «Тюркмен Сяркей». Оба текста гармонируют, будучи названы по именам главных персонажей – подобная номинация, конечно, не ведет ни к какой типологии, однако после сопоставления и Голован, и Сяркей становятся вровень.

Предваряя публикацию рассказов о русских праведниках, Лесков поведал читателю, при каких обстоятельствах пошел на поиски праведников: на это его подвигло суждение А.Ф. Писемского о человечестве, который говорил: «ни о чем, кроме мерзости, не вижу», «что вижу, то пишу, а вижу я одни гадости» (Лесков 1989: 2/4). «Мне было ужасно, и несносно, – пишет Н.С. Лесков, – и пошел я искать праведных, пошел с обетом не успокоиться, доколе не найду хотя то небольшое число трех праведных, без которых “несть граду стояния”, но куда я ни обращался, кого ни опрашивал – все отвечали мне в том роде, что праведных людей не видывали, потому что все люди грешные, а так, кое-каких хороших людей и тот, и другой знавали. Я и стал записывать» (Лесков 1989: 2/4).

Лесковский Голован пользуется уважением горожан, к нему идут за советом, он мог «сделать и все прочее, что только человеку надо», бог его «любил и миловал» (Лесков 1989: 2/113). Каразинский «тюркмен Сяркей был самый желанный гость в каждом ауле. Все – и стар, и млад – радовались его приходу, печалились его уходом» (Каразин 1905: 16/158).

Все уверяли, что женщина, которую Голован любил в молодости и впоследствии призрел, Павла, живет с ним «во грехе», называли ее «Голованов грех», но, как выяснилось через многие годы, «грех» был домыслом окружающих, а Павлу он действительно любил, живя с ней под одной крышей: только «они жили по любви *совершенной*» (Лесков 1989: 2/134), жениться по юридическим законам они могли, так как муж Павлы официально давно сгинул, но не могли «по закону

своей совести» (Лесков 1989: 2/135) – муж Павлы под чужим именем жил в одном с ними городе.

«Тюркмен Сяркей не был никогда женат. Самые злые языки степных сплетниц не могли бы уязвить его репутации, не могли бы указать ни на одну женщину, связанную с ним каким бы то ни было романическим эпизодом, но, несмотря на это, у него было много детей. У него было их столько, ровно столько, сколько у всех обитателей степи было вместе.

Это потому случилось, что все дети были его дети, он их всех любил ровно и настолько, что, во всяком случае, ни один настоящий отец не мог бы любить более.

И столько этих поколений детских выросло на его глазах, выходило из рамок его заботливости и попечений, уступая свое место новым легионам крохотных, полуголых, чума-зых питомцев» (Каразин 1905: 16/158).

Лесковского Голована подозревали в сговоре с нечистью: он якобы похитил *безоар*-камень, спасающий от всех болезней, но прощали ему этот грех, так как Голован накормил, отпугнул и изгнал «язву» из города, бросив ей «шмат своего тела» (Лесков 1989: 2/112), подозревали в волховстве, в обладании талисманом: Голован, как человек из народа, прибег не к лекарством, не к лекарям, когда почувствовал, что «язва», чума, собралась его одолеть, а к радикальному методу: отрезал ту часть тела, которая только-только подверглась заражению.

Праведность и святость, по Лескову, в открытости и расположенности к человеку вообще, вне зависимости от его убеждений, религиозных пристрастий. Горожанам, «которые крепко держались своего стада и твердо порицали всякую иную веру, – особились друг от друга в молитве и ядении, и одних себя разумели на “пути правом”» (Лесков 1989: 2/114), Голован казался «сумнителен в вере». Он водился со всеми: «даже жиду Юшке из гарнизона он давал для детей молока» (Лесков 1989: 2/114), что в быту людей, прилежащих христианству, было недопустимо. Любя же и уважая Голована, люди находили тому оправдание: якобы он, дружа с Юшкой, хотел добыть «“иудины губы”», которыми можно перед судом отол-

гаться, или “волосатый овощ”, который жидам жажду тушит, так что они могут вина не пить» (Лесков 1989: 2/114).

На каразинского тюркмена Сяркея косо смотрели муллы, «поучавшие народ и правившие нравственной “чистотою истинной веры пророка”. Сяркей сам был сторонником веры Корана и добрый сын пророка, но как-то умел добродушно и тонко подсмеиваться над охранителями веры и находить вечное противоречие в словах святых мулл и их поступках.

Он был посвящен и в некоторые тайны природы: он знал много целебных трав и средств, удачно лечил людей, детей преимущественно, а также овец, лошадей и верблюдов. Для тех и других аптеки его и методы лечения были совершенно одинаковы.

За это к его уже имеющимся двум почетным титулам добавлялся третий: “хаким” (мудрец)» (Каразин 1905: 16/158).

Лесковский Голован был «по слободам и за коровьего врача, и за людского лекаря, и за инженера, и за звездоточия, и за аптекаря. Он умел сводить шелуди и коросту <...> вынимал соленым огурцом жар из головы; знал, что травы надо собирать с Ивана до полу-Петра, и отлично “воду показывал”, то есть где можно колодец рыть» (Лесков 1989: 2/113).

Сяркей знал природу пустыни, все признаки перемены погоды в ней, знал, как спастись от песчаных ураганов летом и снежных буранов зимой; знал все созвездия в небе и умело пользовался ими, передвигаясь по пустыне, ему ведомы были все степные вершки и кочки, настолько, что его «советами пользовались кызыл-кумские киргизы в своих перекочевках» (Каразин 1905: 16/159).

В отношении к инородцам, как и Голован, Сяркей был открыт: «Когда на эти пустыни грозило еще нашествие русских, когда к русским относились здесь со страхом, недоверием и ненавистью, тюркмен Сяркей не разделял этих чувств; он всегда говорил, что все люди, как люди, хороши; а между всеми, кто бы они ни были, одинаково есть и злые, и добрые, а добрые всегда сильнее злых, всегда верх возьмут» (Каразин 1905: 16/159–160).

Однажды Сяркею выпало спасти обоз с женой капитана, направлявшейся через снежную пустыню к мужу с двумя малолетними детьми. Двое суток мать и дети находились в сугробе, смерть была неминуема, но на помощь пришел Сяркей: откопал погибающих и увез в аул-зимовку. Муж, отчаявшийся в безрезультатных поисках, отслужил панихиду по усопшим, запил горькую. А по весне Сяркей доставил на место пропавшую семью в целости и сохранности, ничего взамен, в награду не попросив, а скромно скрывшись с чужих глаз. А награда его ожидала: комендант форта «послал обо всем форменное донесение с приложением ходатайства “о награждении вышеозначенного киргизина Сяркея бронзовою медалью за спасение, для нехристиан установленною”» (Каразин 1905: 16/164). Видно, что медаль до него не дойдет, как она никогда не появится на груди у другого лесковского праведника Рыжова из «Однодума», по единой причине – отсутствию тщеславия.

Однако вскоре случился характерный эксцесс: во время неудачной переправы через реку расвирипевший капитан Скобленный, тот самый, чью жену и детей не так давно спас Сяркей, под горячую руку схватил первого попавшегося киргиза и начал его избивать, срывая свое зло на безответном маленьком человеке. Когда с того слетела шапка, все увидели, что это был Сяркей. Капитан сторал от стыда, захлебываясь в слезах отчаяния и прося прощения у кочевника, не обращая внимания на любопытствующих окружающих и потерю своего престижа. Однако Сяркей ни словом не попрекнул своего истязателя, напротив, еще больше чувствовал себя виноватым. Все, кто когда-то соприкасался с этим маленьким смешным человеком, похожим на обезьяну (Каразин 1905: 16/152), становились лучше, честнее, справедливее.

К повествованию о Головане напрашивается жанровая номинация – житие, ведь Голован предстал однажды одному из лесковских персонажей в видении наяву – в образе Христа, пересекающего водную гладь как посуху (на деле оказалось все просто: это Голован приплыл на воротах). Помимо аскезы и мучений, сопровождающих жизнь житийного свя-

того, необходимо страсотерпство за веру, что за Голованом и не было замечено. Аналогично можно сказать и о тюркмене Сяркее – да и какое житие, ведь Сяркей – иноверец, хотя и повествуется о нем в русской литературе. Однако при некоторой условности принять житийный канон все же возможно, именно в его рамках изображены праведники – лесковский Голован и каразинский Сяркей. Подобный внерациональный и внеканонический, но возможный в искусстве прецедент будет реализован еще раз (в 1920-х гг.) и тоже в туркестанском тексте: житие восточного юноши – в клеймах иконы «Раждение с гранатом» Усто Мумина (А.В. Николаева)¹²².

Лесков заключает повествование о Головане: «Он сам почти миф, а история его – легенда». Образ Голована построен на архетипе культурного героя, который научает смертных всевозможным ремеслам, привносит в их жизнь благо, порой жертвуя собой. По законам мифа, культурный герой не умирает, если же случается смерть – то как этап перед следующим возрождением. Остов, или архетип, лесковского героя именно таков. Как бы противопоставляя его обычным смертным, рассказчик пишет: «Голован был нечувствителен к атмосферным переменам... Холод его не брал» (Лесков 1989: 2/99), «сам “несмертельный” кипел в работе с утра до поздней ночи. Он был и пастух, и поставщик, и сыровар» (Лесков 1989: 2/100), «Голован был нужный и полезный слуга, потому что он умел все, – он был не только хороший повар и кондитер, но и сметливый и бойкий походный слуга» (Лесков 1989: 2/101). Словно мифический герой, способности которого были гипертрофированы по сравнению с простыми смертными, Голован производил в своем молочном хозяйстве уникальные продукты: «сливки “не текли”, то есть если оборачивали бутылку вниз горлышком, то сливки из нее не лились струей, а падали как густая, тяжелая масса. Продуктов низшего достоинства Голован не ставил, и потому он не имел себе соперников... <...> Голован поставлял также в клуб отменно крупные яйца от особенно крупных голландских кур, которых водил

¹²² См. кн.: Шафранская 2014.

во множестве, и, наконец, “приготовлял телят”, отпаивая их мастерски» (Лесков 1989: 2/98); «Он так хорошо умел рассказывать сто четыре священные истории...» (Лесков 1989: 2/100–101). К аналогии с каразинским персонажем: Сяркей «знал историю всего края. Не было ни одной песни, ни одной сказки, ни одной легенды, которая была бы ему неизвестна, и на всех пирах и празднествах ему, как певцу, поэту, барду степей, отводилось почетнейшее место» (Каразин 1905: 16/158).

Во время чумы Голован «безбоязненно входил в зачумленные лачуги и поил зараженных не только свежую водою, но и снятым молоком» (Лесков 1989: 2/107). Как бы вопреки установке мифа, Голован *погиб* при пожаре, спасая людей. Но, получив при жизни прозвище *Несмертельный*, Голован и после смерти величается *несмертельным*. Каразинский Сяркей стал «добрым гением пустыни», о котором рассказчик обещает поведать еще не раз, «ибо рассказ “о хорошем человеке” и старому, и малому всегда на радость и пользу» (Каразин 1905: 16/169).

КАРАЗИН И ЧЕРНЫШЕВСКИЙ

Один фрагмент прозы Каразина рожден не без влияния Чернышевского, его романа «Что делать?». Чернышевский – знаменитый современник Каразина – не мог не всплыть в сюжете о разумных эгоистах, о свободном союзе двух независимых людей.

Речь идет о фрагменте из романа Каразина «На далеких окраинах».

В Туркестанский край попадает любящая друг друга, до поры до времени, пара: Марфа Васильевна с мужем, командированным инженером. Романное действие, в котором участвует Марфа Васильевна, происходит в Ташкенте. Молодая барыня ведет жизнь светскую: прогулки верхом, рауты гарнизонного масштаба, любовные интрижки с местными офицерами. А как же муж? С мужем Марфа Васильевна еще в Петербурге, накануне заключения брака, как бы в шутку, составила брачный контракт, состоявший почти из трехсот параграфов.

«Основным же мотивом этого договора была полнейшая гарантия независимости той и другой стороны, главной и единственной связью которых становилось их взаимное чувство» (Каразин 1905: 1/60).

На каждую фривольную выходку жены муж реагирует вполне адекватно, однако Марфа Васильевна всякий раз кстати приводит тот или иной пункт их брачного договора: «Послушай, в статье шестой сказано...» (Каразин 1905: 1/61); «...Статья четырнадцатая нашего добровольного взаимного договора гласит...» (Каразин 1905: 1/58).

Откуда взялась такая эмансипированная Марфа Васильевна? Не трудно догадаться – из швейной мастерской. «Ему нравилось это красивое личико со строго очерченным профилем, с веселыми, темными глазками, эта стройная, словно выточенная фигурка... и много еще чего нравилось ему такого, что неудержимо влекло его к этой прелестной девушке, склонившейся над швейною машиною и скидывавшей глазами только для того, чтобы развеселить всю работающую братию. Когда ее нет, все тихо и скучно в этой большой комнате с приземистыми сводами: монотонно жужжат машины, во весь рот зевают молчаливые работницы; но она пришла и села на свое место – все ожило, словно под влиянием волшебной палочки, и не слышно стукотни машин, не слышно даже брюзгливого ворчания мадамы в чепце за этим серебристым смехом и бойкою болтовнею развеселившихся тружениц» (Каразин 1905: 1/58).

Так неожиданно продлился в Туркестанском крае сюжет о «новых людях» Чернышевского – в сатирическом ключе. Пишет И.А. Гурвич: «Импульсы шли не только от книги («Что делать?» – *Э.Ш.*), освященной огромным авторитетом ее создателя, но и от самой действительности: судьбы “новых людей” были тогда историческими судьбами, они складывались и ломались при свете дня. Идущие за Чернышевским и дополняли его рассказ, и повествовали о переменах в умонастроении и общественном быте после “Что делать?”... <...> ...Перевес получают изобразительные решения, хотя в чем-то и подсказанные, но в главном не предсказанные книгой-образцом. Идея

“нового человека” и сама видоизменялась и воплощалась разнообразно. <...> ...То была ветвь беллетристики: чувствовалась схематизация, клишировались сюжетные ходы и программные заявления, исходящие от героя» (Гурвич 1991: 71–72).

КАРАЗИН И ВАМБЕРИ

Арминий Вамбери совершил путешествие по Средней Азии в 1863 г. Первое русское издание книги «Путешествие по Средней Азии» по итогам вояжа – в 1865 г. Главная тема повествования – дервиш.

Вамбери комментирует (уже во втором издании книги, в 1873 г.) свою встречу с одним влиятельным беком, который якобы единственный из всех признал в нем европейца, но не схватил его за это. И приводит запись о себе – со слов русского чиновника Ланкенау, который якобы через несколько лет после Вамбери встречался с этим беком и спрашивал его о венгерском ученом-дервише. Текст, опубликованный Вамбери, скопирован им из одной французской газеты. Вамбери пишет: «Чрезвычайно интересен рассказ о состоявшейся позднее встрече Рахмета Бия, получившего тогда уже повышение и ставшего инаком, с русским чиновником господином фон Ланкенау, членом комиссии, которая должна была заключить мирный договор с Рахметом как полномочным представителем эмира. Господин фон Ланкенау поместил об этой встрече в июне 1872 г. во французской газете очаровательный, но незаслуженно лестный для меня фельетон, из которого я здесь хочу привести соответствующий отрывок.

“Во всем ханстве, – говорит господин фон Ланкенау, – он (Рахмет) был единственным, кого отважный Вамбери не обманул своим переодеванием. Этот путешественник говорит, что, когда он представился Рахмету, управлявшему тогда в отсутствие эмира всей Бухарой, он не без робости и дрожи смотрел в глаза пронизательного наместника, сознавая, что его тайна была угадана последним или близка к разгадке.

Когда мы однажды позже спросили Рахмета-инака, не помнит ли он святого пилигрима-хаджи, хромого, с очень сму-

глым лицом, который лет 5 назад был в Бухаре и Самарканде, он ответил, улыбаясь: “Хотя каждый год в эти святые места приходит много паломников, я все-таки догадываюсь, кого вы имеете в виду. Этот паломник был очень ученый хаджи, гораздо более ученый, чем все другие бухарские мудрецы”.

Мы сказали ему, что это был европеец, и показали книгу Вамбери, из которой перевели место, где знаменитый путешественник говорит о самом Рахмете.

“Да, я это знал, – ответил Рахмет, – но я знал также, что это не вредный человек, и не хотел погубить такого ученого мужа. Муллы ведь сами были виноваты, что не угадали, кто находится среди них”»¹²³ (Вамбери 2003: 137).

¹²³ О том же в английском источнике: «The first information came from the Russian diplomatist, Herr von Lankenau, who, shortly after the victory of the Russian arms at Samarkand, was sent by General Kauffmann to Bokhara to negotiate with the Emir, Mozaffareddin. Herr von Lankenau settled the principal conditions of the peace between Russia and Bokhara, and then spent some time in the Khanate near the Zerefshan.

He had also been an eye-witness of the events that had taken place there, including the revolt of the Crown Prince of Bokhara, Kette Töre, who was overcome in 1869; and four years later, when he returned to Germany, he published some of his experiences in the *Frankfurter Zeitung* of June, 1872, entitled, *Rachmed Inak, Moral Pictures from Central Asia; from the Russian of H. von Lankenau*. In No. 11 of the above-named paper we read the following: “In the whole of the Khanate he (viz., Rachmed Inak) was the only person not deceived by the disguise of the foolhardy Vambery. This traveller says that when he presented himself before Rachmed, who was then managing the affairs of the whole of Bokhara, in the absence of the Emir, he could not look that sharp-sighted governor in the eyes without fear and trembling, knowing that his secret was either discovered or in danger of discovery. When we once asked Rachmed Inak (a title bestowed on him later) if he remembered a pious pilgrim Hadji, with a very dark face, and lame, who had gone to Bokhara and Samarkand five years before, he replied, smiling, ‘Although many pilgrims go to those holy places every year, I can guess which one you mean. He was a very learned Hadji, much more so than all the other wise men in Bokhara.

Внимательный читатель Каразина без труда опознает этот текст, «приватизированный» господином Ланкенау, – об этой истории повествует каразинский рассказчик в очерке «Рахмед-Инак, Бек Заадинский», который был опубликован в мартовской книжке «Дела» за 1872 г. Господин Ланкенау повторяет слово в слово каразинский текст, но Вамбери по прошествии времени цитирует не Каразина, а Ланкенау.

Вот фрагмент из Каразина: «Этот путешественник говорит, что когда он представлялся Рахмеду, правившему тогда всей Бухарой за отсутствием эмира, он не мог без трепета (см. и ср., как у Вамбери. – Э.Ш.) смотреть в глаза пронизательно-го наместника, зная, что его тайна разгадана последним или, по крайней мере, близка к разгадке. Когда мы спрашивали Рахмеда-инака (второй титул, отвечающий титулу главнокомандующего, был дан ему уже впоследствии), не помнит ли он одного хаджи-богомольца, очень смуглого и хромого, проходившего лет пять тому назад в Бухару и Самарканд? – Он нам отвечал, улыбаясь:

“We now told him that the pilgrim was a European, and showed him Vambery’s book, translating to him the part in which the noted traveller speaks of Rachmed himself.

“I was quite aware of the fact,” answered Rachmed, “but I knew too that he was not dangerous, and I did not want to ruin such a learned man. It was the Mollahs’ own fault that they did not guess whom they had with them. Who told them to keep their eyes and ears shut?”

Now this Rachmed (more correctly Rahmet), whom I mentioned before (see page 207), appears to have risen in rank since my departure from Central Asia, for Herr von Lanckenau speaks of him as “Bek” (governor) of Saadin, a district in the Khanate of Bokhara. I find it quite natural that he should have remembered me, but his statement that he spared my life on account of my erudition must be taken cum gram salts. I do not wish to affirm that I was not suspected by a good many; the number of efforts made to unrpask me prove the contrary; but no one really detected me on account of my fortunate talent for languages, just as in Turkey and Persia I was hardly ever taken for a European. Had the people of Bokhara discovered my identity I should certainly not now be in a position to write ray memoirs!» (Vambery. The story of my struggles. Vol. 2. 1904. P. 461–462)

– Хотя много каждый год приходит всяких богомольцев к этим святым местам, но я догадываюсь, о ком вы меня спрашиваете. Этот богомалец был очень ученый хаджи, гораздо ученей прочих бухарских мудрецов!

Тогда мы ему сказали, что это был европеец, и показали ему книгу Вамбери, переводя то место, где путешественник говорит о самом Рахмеде.

– Я это знал, – говорил Рахмед, – но я также знал, что он не вредный человек, и не хотел губить такого ученого мужа. А муллы были сами виноваты, что не догадывались, кто находился между ними; вольно же им было залеплять свои мозги и глаза грязью!» (Каразин 1905: 9/ 140).

Отличие текстов Каразина и «Вамбери-Ланкенау» – лишь в некоторых отдельных словах, что объясняется переводным вариантом второго текста (вместо каразинского «богомольца» – *пилигрим и паломник*; вместо «не без трепета» – *не без робости и дрожи*; и другие незначительные расхождения).

Каразин публикует свой очерк в *марте*, Ланкенау – в *июне* 1872 г. Чем объяснить такой откровенный плагиат некоего господина Ланкенау, присвоившего себе каразинский текст? Ответа нет.

Очевиден факт, что Каразин знал о существовании Вамбери; Вамбери же о Каразине – вряд ли, если судить по этой загадочной истории.

Сам Вамбери с момента публикации его «Путешествия»¹²⁴ становится слагаемым туркестанского текста. В России публикуются не только его книги, но и о нем (в СССР) – вплоть до 1930-х гг., когда собственно и происходит переориентация идеологического вектора. Помимо прочих, это книги для детей и юношества¹²⁵.

¹²⁴ Также таких работ Вамбери, как «Очерки Средней Азии» (на русском языке – в 1868 г.), «История Бухары, или Трансоксании, с древнейших времен до настоящего» (на русском языке – в 1873 г.), «Очерки жизни и нравов Востоке» (на русском языке – в 1877 г.), «Моя жизнь» (1914), «Приключения Арминия Вамбери, описанные им самим» (1931).

¹²⁵ *Рубакин Н.А.* Вамбери. Среди опасностей: Приключения

Вот, помимо уже упомянутого фрагмента, еще ряд примеров – из XIX и XXI вв.

Автор очерка в журнале «Нива» пишет о ценности информации, добытой у бывших хивинских пленных и чрезвычайно полезной, по его словам, для русских, начавших освоение Туркестанского края. По мнению журналиста, эта информация куда важнее, чем та, которую представил миру венгерский ученый-путешественник: «Для поддержания сношений с Хивою такие сведения на первых порах для русских надобно считать более необходимым, нежели политические известия Вамбери, который, путешествуя в Хиву под видом пилигрима и опасаясь быть узванным, не мог усвоить себе основательного на все предметы взгляда» (Михайлов 1873: 466). (Удивительна устойчива, неизменна парадигма псевдопатриотизма: взгляд безграмотного русского пленного куда ценнее взгляда ученого, но иностранца.)

«...Вамбери стал известен нам и как публицист, недоброжелательный нашим завоевательным успехам в Средней Азии, постоянно бивший в набат для возбуждения опасений Англии по этому поводу. <...> Везде, кстати и некстати, он сует читателю ту мысль, что цивилизаторская миссия в Средней Азии принадлежит Англии, а не варварской России. <...> Эта-то мнимо скромная, лукавая, инсинуирующая манера Вамбери как публициста скоро всем надоела, даже органам европейской печати, явно недоброжелательным России» (МС 1877: 434), – пишет, следуя официальной парадигме, автор заметки «Дервиш-филолог» в журнале «Нива» за 1877 г., выполняя тогдашний социальный заказ. Однако после этой церемониально-политической преамбулы следует текст во славу Вамбери как ориенталиста: «Сообщения Вамбери о Бухаре и Самарканде, конечно, интересны; но, кажется, главный интерес его книги об Азии составляет описание бытовой стороны азийских кочевников. В беседах с ними Вамбери является тонким и опытным психологом, и отто-

знаменитых путешественников. СПб., 1913; *Тихонов Н.С.* Вамбери: Повесть для юношества. Л., 1926; *Пименова Э.К.* Жизнь и приключения Арминия Вамбери. Л., 1928.

го ему так удалось изучить обрядовую и бытовую сторону ислама, в чем убеждает сравнительно недавно выпшедшая в свет его книга “Der Islam”...» (МС 1877: 435);

«Один из самых ярых противников нашей политики в Центральной Азии, человек, постоянно ополчавшийся на всякую попытку нашу к наступательному движению, – Вамбери... и тот, несмотря на свою ненависть к беспрестанно возрастающему влиянию русских в центрально-азиатских землях, по собственному его выражению, был поражен этим походом (речь идет о Хивинском походе. – Э.Ш.). Этот человек вполне может служить авторитетом; сам, на своих, так сказать, плечах испытывший всю тяжесть степных путешествий по безводным пространствам, – он не мог себе представить, как могли пройти значительные отряды войск с багажом и артиллериею там, где даже небольшие купеческие, верблюжьи караваны с трудом пробираются, испытывая всевозможные лишения» (Нива 1973: 40/635–636). Текст о Хивинском походе опубликован в журнале «Нива» анонимно, а проиллюстрирован гравюрой с картины Каразина (очерк и картина – 1873 г.). Можно с уверенностью предположить, что текст принадлежит Каразину. Достаточно сопоставить текст очерка с фрагментом из романа «С севера на юг» – о наступлении русских на Хиву. В обоих сделан акцент на одних и тех же мотивах: вороватость и свободолюбие турмен, необходимость платить подать русским военным властям, черта туркмен идти до конца и проч.

Фигура и имя Вамбери возвращаются в русский дискурс XXI в., Вамбери становится символом колониальных метаморфоз и авантюр: «...Как только я сорвал с головы платок, все закричали: “Джасус! Джасус!” И набросились на меня с тумаками и палками. <...> Я знал, что означает это слово. Из прессы знал. Так палестинцы называют тех, кто сотрудничает с израильскими спецслужбами. Джасус по-арабски значит “шпион»» (Карив 2013: 216). Этот фрагмент из романа «Однажды в Бишкеке» (2013) – аллюзия на экстремальное путешествие Арминия Вамбери, что подтверждается неоднократным упоминанием имени путешественника в прозе Аркана Карива.

КАРАЗИН И АЛМАТИНСКАЯ

Анна Владимировна Алматинская (Држевицкая), основатель ташкентского РАППа (ТАПП), во всех смыслах – плод туркестанской миссии. Родилась в семье сосланного в Туркестан русского офицера, детство провела в военных гарнизонах. Ее творчество пронизано туркестанской темой и каразинскими образами, мотивами, интенциями. Вошла в историю литературы как писатель соцреалистического направления со своим главным романом «Гнет», который писала более четверти века. Роман насыщен каразинскими реминисценциями, аллюзиями, порой заимствованиями.

«Древницкий... обратился к офицеру:

– Как ни говорите, а клад я здесь нашел.

– Клад? Надеюсь, поделитесь со мной, если только это не заношенные портянки времен штурма Зерабулакских высот» (Алматинская 1969: 1/276) – как известно, именно Каразин прославил штурм Зерабулакских высот¹²⁶;

«...Теперь туркмены будут поспокойнее.

– Пора им уgomониться. Четыре года прошло после взятия Геок-Тепе, – заметил Древницкий.

– Непокорный, гордый народ, ну и, того, храбрый, не чета туркам. Помните, Виктор Владимирович, как нам туго приходилось под Геоком?» (Алматинская 1969: 1/322–323) – Каразин пишет картину «Штурм Геок-Тепе».

«Так вот почему вы, полковник, очутились *на далекой окраине...*» (Алматинская 1969: 1/325) (курсив мой. – Э.Ш.);

«Я верю в близкую зарю. Громкий набат герценовского “Колокола” пробудил матушку Русь. Это только здесь, *на далекой окраине*, особенности обстановки пока еще не позволяют организовывать кружки...» (Алматинская 1969: 1/335) (курсив мой. – Э.Ш.);

«Положительно угасает патриотизм... И сюда, *на далекую окраину*, доносится ветер крамольных идей...» (Алматинская 1969: 1/382) (курсив мой. – Э.Ш.).

¹²⁶ Разность огласовки в топонимах приводится в авторских вариантах.

Первенство в назывании Туркестанского края эффе- мизмом «на далеких окраинах», которое было широко расти- ражено, принадлежит Каразину. В 1897 г. в книге «На верблюдах» Уралов цитирует Каразина: «Заблестел русский крест *“на далеких окраинах”*...» (Уралов 1897: 5) (курсив мой. – Э.Ш.).

Устами персонажа романа «Гнет» говорит Алматинская: «Каразин не только статьи в газеты пишет – романы занят- ные. А его рисунки на местные темы – экзотика!» (Алматин- ская 1969: 1/348).

Сцена из романа Каразина «Погоня за наживой», в которой герой застаёт жену с любовником, уже приводилась в сопоставлении с толстовской «Крейцеровой сонатой». Впе- чатлила эта сцена и Алматинскую:

Каразин. «Погоня за наживой»

«Поздно ночью, почти пе- ред рассветом, слез Ледоколов с извозчика и постучался в ворота; быстро взбежал он по лестнице, чуть не разбив себе носа в потем- ках, и остановился перед своею дверью. <...> Ледоколов начал раздеваться, девушка торопливо зажигала свечу... <...> «Поздно ночью, почти перед рассветом, слез Ледоколов с извозчика и постучался в ворота; быстро взбежал он по лестнице, чуть не разбив себе носа в потемках, и остановился перед своею дверью. <...> Ледоколов начал разде- ваться, девушка торопливо за- жигала свечу... <...>

Он видел на вешалке чу- жую шинель, он ясно ее разгля- дел, с капюшоном, с военным

Алматинская. «Гнет»

«Древницкий решил объ- ясниться с женой. Как-то раз, выбрав время, он к завтраку вернулся домой.

Оказывается, опоздал. В столовой еще не были убраны тарелки, графин водки, вино и рюмки. <...>

...Снял фуражку, отстег- нул шапку и, держа ее в руках, шагнул в гостиную. Там на ди- ване сидела парочка “голуб- чиков”. Пистолетов, откинув свою чубатую голову на спин- ку дивана, пощипывал стру- ны гитары, а нарядная Маша, положив ему на плечо голову, слушала, полузакрыв глаза.

Они были так погружены в свои лирические переживания,

воротником; металлические пуговицы так ярко, так отчетливо блестели на сине-сером сукне.

<...> Ледоколов быстро прошел через все комнаты и остановился перед дверью спальни – дверь была заперта.

– Это ты, Дмитрий? – раздался голос жены. Что-то холодное, сухое звучало в этом вопросе; Ледоколу даже показалось, что это говорит другая женщина, вовсе ему не знакомая.

– Отвори, отвори. Отвори-те! – Он в испуге принялся трясти дверную ручку.

– Послушай, Дмитрий, – говорила она ему, подойдя к самой двери, – иди в свой кабинет, затворись там и не делай глупейшего скандала; это самое лучшее, что я могу тебе посоветовать. Опустив голову, схватившись за сердце обеими руками, он пошел в кабинет; у него сил не хватило дотащиться до своей двери: он прислонился к стене и судорожно вцепился в какую-то драпировку. Замок щелкнул. Чьи-то шаги, гремя шпорами, быстро прошли к передней (Каразин 1993: 17–18).

Эти два фрагмента (Каразина и Алматинской) не столь схожи, как предыдущие (Толстого и Каразина), однако интенции образов (Ледоколова и Древницкого, их жен) совпадают.

что не слышали шагов и звона шпор, пока не стукнула шашка о порог. Древницкий чуть не выронил ее из рук, настолько поразила его представшая перед ним картина.

Заметив нехстати явившегося хозяина, Пистолетов вскопчил и, густо покраснев, растерянно глядел на Древницкого, на его черные сдвинутые брови. Рука, державшая гитару, дрожала.

Голова Маши, потеряв опору, откинулась на спинку дивана. Маша, побледнев, мяла в руках носовой платок.

Муж сурово взглянул на нее, перевел глаза на расстроенное лицо поклонника, молча шагнул в комнату и выразительно указал ему рукой на дверь.

Трусливо косясь на Древницкого и его шашку, Пистолетов, втянув голову в плечи, юркнул в столовую и, позабыв фуражку, выскочил из дома, чтобы больше туда не возвращаться» (Алматинская 1969: 1/364–365).

Алматинская заимствует у Каразина ряд сюжетных фрагментов: так, повторена сцена охоты на тигра. Если Каразин, человек военный, охотник, побывавший во всевозможных экстремальных передрягах, описывает свой собственный опыт, то Алматинская, ничтоже сумняшеся, копирует из Каразина:

Каразин. «В камышах»

«Яма, аршина в три в диаметре, прикрыта была сверху фашинами, связанными из камыша... <...> ...Касаткин влез в яму... <...> Касаткина попеременно бросало то в жар, то в холод. Темно и тесно было лежать ему в этой яме. “Как в могиле”, промелькнуло у него в голове ужасное сравнение... <...> Придавленный страшною тяжестью, Касаткин лежал на правом боку, силясь высвободить свою руку... Он чувствовал, как страшные лапы добирались до него, роясь в развалинах крыши. И тигр чуял под собою что-то живое, чуял врага и бесновался...

Наконец Касаткину удалось лечь навзничь; рука была свободна, – нож, где же нож?.. Он шарил онемевшими пальцами, он искал рукоятку... вот она!.. Нож был длинный, гиссарский, и долго не вытаскивался из притиснутых ножен... <...> Удар ножа пришелся как раз под левую переднюю лопатку зверя, прямо в сердце – и рухнул пораженный насмерть тигр,

Алматинская. «Гнет»

«Вскоре отыскали приготовленную яму, и охотник забрался в нее. <...> Сильно затекли ноги и устала спина, стыли от холода руки. <...> ...Раздалось яростное рычание раненого зверя, и его громадное тело обрушилось на прикрытые. Рыча, он бешено раскидывал камыш и ветки. Миг – и его задние лапы провалились в яму, тело зверя привалилось к телу охотника, а страшные когти передних лап продолжали раскидывать камыш, как легкое сено.

– Конеч! – мелькнуло в его голове. Но вдруг, словно издалека, прозвучал ясный старческий голос: “Теперь у тебя есть защита...”

Нечеловеческим усилием сдвинул он трепещущее бешенством тело зверя, и через мгновение хорошо отточенная сталь впилась в сердце зверя.

Острые когти разжались. <...> Когда их вытащили, тигр был мертв, а Силин, с ободраным плечом и двумя

навалившись на застонавшего охотника. <...> У Касаткина оказались проломлены два ребра, обнажено почти до самых костей левое бедро и, кроме того, на левом же боку и руке несколько глубоких рваных царапин когтями» (Каразин 1905: 13/ 108–112). сломанными ребрами, едва подавал признаки жизни» (Алматинская 1969: 1/198–199).

Роман Алматинской по тематике типологически родственен каразинскому роману «Погоня за наживой». Много раз издававшийся в советское время, роман «Гнет», насыщенный пропагандистским советским дискурсом, вряд ли был бы одобрен нынешней цензурой Узбекистана. К сожалению, и каразинская проза тоже вряд ли интересна была бы сегодняшним структурам РУ, занимающимся книгоиздательством; там, судя по всему, хотят забыть период, длиною почти в полтора века, как страшный сон.

КАРАЗИН — ФОЛЬКЛОРИСТ

Литературное творчество Каразина характеризует писателя не только как этнографа, документалиста, военного хроникера-летописца, но и как фольклориста.

Последнее – это не намеренный раскрас автором своей прозы устными шедеврами для придания ей «народности». Фольклорная составляющая его литературного творчества – именно этнографическая: он тщательно собирает, помимо особенностей быта, облика, нравов и проч., устные нарративы (всех фольклорных разновидностей), прецедентные тексты, песни, обряды. При этом в большинстве случаев, если запись сделана не им, дает ссылку на того, кто этот текст записал и перевел на русский язык. Таким образом, перед нами фрагменты полевой деятельности фольклориста. Опубликованные в структуре литературных произведений фольклорные тексты важны для самого автора, по его замыслу они являются важнейшими элементами картины Туркестанского края.

Надо отметить профессионализм Каразина-фольклориста: он не просто сообщает услышанный или записанный текст, он учитывает такую важную черту бытования фольклорного текста, как инклюзивность (термин Б. Путилова), что означает включенность всей фольклорной культуры и каждого отдельного произведения в общую жизнедеятельность народа (Путилов 2003: 73). Инклюзивность фольклора получила обоснование в концепции английского антрополога Б. Малиновского о функциональной теории культуры. Под *функцией* Малиновский понимает множество прагматических действий: «от простейшего акта еды до священного ритуала причастия...» (Малиновский 2005: 133).

Этот аспект деятельности Каразина должен стать отдельной проблемой исследования. Цель этой главы – лишь обозначить научно-творческое, фольклористическое направление в каразинской прозе, которое в дальнейшем, надеюсь, найдет своего исследователя.

Вот неоднократно приводимая Каразиным поговорка, ее варинаты: «Стать на хвост барантам» (Каразин 1905: 1/104) («как выражаются», – комментирует Каразин), или «как говорится: мордою в хвост» (Каразин 1905: 5/17).

Тотемической силы фигура Тимура не раз упомянута Каразиным: «Современный туземец – бродячий кочевник или заезжий торгаш при караване – разинув рот, осматривает это гигантское сооружение и недоумевает: человеческими ли руками возведены эти просторные своды, эти арки, в которых, не нагибаясь, можно проехать на самом высоком верблюде, и, по простоте своей, относит все это ко времени и деятельности великого Тимура – личности, давно уже принявшей гигантский, сказочный образ. <...> ...Все они так давно строены, что никаких следов не сохранилось, который раньше строен, который позже: разницы в сотни лет слились в общем итоге, и вот слагается легенда, что “герой хромоногий”¹²⁷ в одну ночь разбросал по безводным степям эти спасительные постройки» (Каразин 1905: 1/111) («На далеких окраинах»); «Легенда – давно забытая – говорила, что пещера эта служила святому отшельнику, пришедшему с далекого Юга, что отшельник этот великие чудеса творил, воскрешал мертвых, и сам Тимур однажды велел зарыть его в землю, распахать место погребения, посеять пшеницу, дожждаться зерна, убрать, смолоть и спечь хлеб, и тогда только разрыть могилу, так как *тот* обещал *сам* вкусить хлеба, на его могиле возвращенного. Так и произошло» (Каразин 1905: 5/92) («Наль»).

Топонимическое предание:

«...Небольшой кишлак “Урус”¹²⁸. В деревне этой не было ничего, что бы хотя сколько-нибудь оправдывало ее название. Такие же, как и все прочие, разбросанные по долине группы глинобитных построек с узкими проездами, с легкими, войлочными и плетеными навесами, с запасами клевера и топлива, сложенными в высокие кучи на плоских крышах

¹²⁷ Тимур-ленк (Тамерлан) значит: железный хромой (комментарий Каразина).

¹²⁸ Урус – русский (Э.Ш.)

сакель, и, наконец, с торчащими из-за каждой стенки рогатыми ветвями.

Обитатели этого кишлака были кровные узбеки, – по крайней мере, в настоящее время, – и положительно нельзя было встретить ни одного лица, которое, хотя бы одной чертою, напоминало бы русский тип.

Лет триста тому назад, говорит предание, в бухарском ханстве находилось много русских беглых; они просили, чтобы им отвели какое-нибудь место для поселения. Просьба эта была выполнена, но только под одним условием – принятия мусульманства.

Таким образом, в Заравшанской долине поселилось несколько десятков русских ренегатов; обзавелись они новыми семействами и зажили, по крайней мере, сначала, довольно хорошо, что называется, припеваючи» (Каразин 1905: 6/106–107). По прошествии ряда лет стали в округе этой русской деревни случаться грабежи и убийства. Со стороны туземцев пошли недовольства. Молва гласила, что русские опять стали молиться своему богу, выбрав себе «муллу-попа». Власти начали преследовать былых беглых русских. А тут один из походов бухарского эмира завершился неудачей – поражение приписали молитвам неверных, которых в отместку всех до единого вырезали. Но название кишлака сохранилось – «Урус».

Еще одно топонимическое предание – большой, в четыре страницы, текст (Каразин 1905: 8/396–399) о том, как пришла беда на каракалпакский народ от злых туркменов: каракалпаки водой жили, тем, что в ней водилось. А тут Аллах разгневался на них неизвестно за что. Забросят сети – то змеи в них, то жабы, то волосатые черви. Поняли каракалпаки, что конец их пришел. Повесили камни на шею и топиться. Но тут пришел Он, в лучах солнца, и сказал: идите, ваши сети лопаются от рыбы. И правда, улов был велик. То же и на следующий день. Когда опять явился Он, сказал: я прощу вас, если выполните то, что написано на камне, и исчез. Откуда ни возьмись появился огромный камень. Позвали муллу грамотного, прочитал: «Зовут меня Токмак; отсюда на запад, на выходе к

мору, на голом острове лежат на песке мои кости непогребенные. И с острова того не хотят уходить они, и под камень этот просятся» (Каразин 1905: 8/398–399). Отыскивали каракалпаки тот остров, с огромным трудом перевезли туда камень – похоронили святого. С тех пор тот остров Токмак-Ата зовется (отец Токмак)¹²⁹.

Придя на тамашу (вечер развлечений), русские гости услышали исполнение песни:

«Мотив песни был скучный и однообразный; вся песня состояла из коротких, отрывочных куплетов, между которыми певица вставляла иногда свои личные замечания. Она пела:

В большом курятнике жил петух со своими курами.

Петух был один, а кур у него было двадцать. <...>¹³⁰

Петуху было хорошо; он большего и не желал,

Куры же его думали иначе.

Петуху было весело. Он сидел посреди двора и только крыльями хлопал.

Куры скучали, ходили, повеся головы,

И все норовили подойти поближе к краю стены...

Им хотелось видеть, что делается на улице.

Смотрят, бежит мимо красная курица;

Она бежит, так посередине улицы и несется... <...>

– Стой, красная курица, ты куда и откуда? – спрашивают ее петуховы куры.

– Бегу я туда, куда хочу, и оттуда, откуда хочу. Я птица вольная, не то, что вы, несчастные, –

Отвечает им красная курица, а сама остановилась на минуту... <...>

– Нам бы тоже хотелось побегать по улице... вот так, как ты, да своего петуха боимся.

¹²⁹ Оказалось, что топоним Токмак весьма распространен как в географии, так и в фольклоре, см.: http://tokmakcity.org.ua/town/history/all_history/Zaselenie_Tokmaksogo_kraia_ch-11 (Дата обращения: 12.08.2014.)

¹³⁰ Пропуски в тексте песни на месте угловых скобок – это не пропуск самой песни, а опущенные комментарии исполнительницы.

– Дуры, – говорит им вольная курица, – оттого и боитесь!..

Сидите вы, глупые, взаперти и не знаете ничего, что на свете есть нового...

– Расскажи нам, коли ты знаешь, а мы будем слушать.

– Жил на свете большой коршун, все петухам сродни.

Сильнее его не было птицы, и делал он, что хотел.

Все его боялись и слушались, и по его приказу все делалось.

Петухам от того было хорошо, курам плохо...

Подуло ветром с зимней стороны, и принес этот ветер другого коршуна,

Гораздо посильнее и больше, чем первый.

Обломал он тому оба крыла, оборвал когти на лапах,

Согнал его с наместка, а сам сел на его место...

И велел он оповестить всем курам, что никто теперь над ними не властен.

Хочешь сидеть в курятнике – сиди, не хочешь – бегай по улице.

Кто слышал это, тот обрадовался, побежал,

Кто не слышал, тот и до сей поры, вот как вы, только из-за стенок глазееет.

– Ладно, – смекнули петуховы куры и стали переговариваться да на своего петуха поглядывать;

А тот спит себе в тени и ничего не слышит. <...>

Проснулся петух, гаркнул на весь двор, кур своих скликает,

А уже их и след замело ветром. Всех за собою сманила красная курица»

(Каразин 1905: 6/137–138).

Этот текст песни Каразин сопровождает паспортными данными: «Подстрочный, буквальный перевод, записанный доктором Авдеевым» (Каразин 1905: 6/137). Песня записана в Каттакургане¹³¹.

¹³¹ По поводу места действия в повести «Тьма непроглядная» С. Дудаков пишет: «Действие происходит в одном из туркестанских

Иносказательность песни легко прочитывается контекстом ее исполнения: слушатели пришли в туземный бордель, нарядные и красивые девушки развлекают гостей песнями. В песне аллегорически сообщается о смене «парадигмы» – с патриархальной на эмансипированную, все это случилось с приходом в край русских. Самой исполнительнице такое положение вещей по нраву.

Каразинский рассказчик из романа «Наль» описывает всенародный праздник в одном из городов Туркестанского края – это был день святого Ишан-Дауда. В тутовой роще, что недалеко от могилы святого и мечети, собирается народ со всех ближайших округ. Именно здесь, во время праздника – тамашы – Каразин только успевал наблюдать, фиксировать, запоминать все, что имело отношение к культуре края. Перед нами – концентрация всех народных забав и развлечений: «Здесь и трупы батчей-плясунов, и “машкара-базов” (актеров), дающих под открытым небом свои циничные представления, здесь и чайхане, и походные кухни со всякими сластями, и укромные лавочки продавцов “бузы”, которою можно упиться до полного опьянения, и тайные притоны с неизбежными опиумом, ганашеею и кукнаром, с доведенными до полного истощения, тенеподобными посетителями-курильщиками. Здесь и приюты для игры в кости и орлянку, где расчет частенько доходит до ножей и крови, и удалые скачки, и другие конные ристалища... В священной роще Ишан-Дауда в этот день можно было наслушаться сказок и песен бродячих поэтов-сказочников и священных проповедей фанатиков-дивона, одним словом, здесь собирается все, что только может соблазнить азиата; и не попасть в этот день сюда было бы громадным лишением для каждого правоверного.

Целью поездки наших офицеров также было желание посмотреть и послушать все, что творится в этом интересном пункте» (Каразин 1905: 5/18).

городов, можно предположить, что в Самарканде, по некоторым городским приметам...» (Дудаков 2000: 388). Еще один прокол Дудакова – в тексте упоминается именно город Каттакурган.

Каразин записал похоронный обряд кочевников: «Еще издали слышали мы какой-то заунывный гул, чрезвычайно похожий на наше причитание; когда мы приблизились, то ясно могли различить женский плач и всхлипыванье, шумный говор мужчин и однообразное, точно дьячковское чтение. Мы попали на похороны, обряд которых начался часа за два до нашего прибытия и был нами прерван, впрочем, ненадолго. <...> Оправившись и приведя в порядок свой костюм, я пошел тоже отдать дань покойнику, а главное, посмотреть, что там такое делается. <...> Страшная духота, несмотря на откинутый верх, наполняла эту горницу; женщины, молодые и старые, некоторые очень красивые, окружали покойника и жалобно причитали что-то непонятное; по временам они затихали и потом вдруг, как будто по сигналу, взвизгивали все хором, ударяя в грудь руками и раскачиваясь всем туловищем. <...> Между женщинами теснились ребятишки, толкаясь и ссорясь между собою, а около стенок чинно сидели мужчины, передавали из рук в руки сделанный из тыквы-горлянки и крашенный медью кальян и громко разговаривали о разных, как видно, посторонних предметах. Запах мускуса, которым обыкновенно душатся азиатские красавицы, дым кальяна, наконец, запах, собственно принадлежащий мертвому телу, – все это составляло тяжелую смесь, неприятно действующую на нервы. Из любопытства я подавил в себе это отвращение и, заняв место между мужчинами, решился дожидаться конца этой обрядности.

У ног покойника, на низеньком табурете, стояла большая деревянная миска, до краев наполненная вареным рисом, и другая, глиняная, с кислым молоком. То тот, то другой из присутствовавших подходили к этим блюдам и, забрав горстью рису, отходили на свои места, жуя и облизываясь. Мне это напомнило нашу похоронную кутью – недоставало только блинов и восковых свечей.

Через час покойного вынесли, положили на дворе на пучки камыша и приставили двух караульных с палками, дабы собака не оскорбила, во время всеобщего сна, памяти умершего» (Каразин 1872а: 81–83) (очерк «Из Центральной Азии»).

Из этого и ряда других фрагментов представляется важной информация о самом повествователе (альтер эго Каразина), который максимально нацелен на то, чтобы все увидеть и описать; это не праздное любопытство – это профессиональная заинтересованность этнографа, который, невзирая на неэстетичные, неприятные ему детали, тем не менее, доводит свою работу до конца.

В следующем фрагменте воспроизведен образ народного исполнителя, поэта-импровизатора: «Старик был слеп, из-под густых седых бровей темнели глубокие ямы с опущенными веками, длинный горбатый нос свешивался над беззубым ртом; высокий лоб был совершенно изборозжен бесчисленными морщинами.

Старик медленно опустился на подостланную под него баранью шкуру, взял длинную балалайку и начал перебирать струны своими костлявыми пальцами.

Все присутствующие с почтением относились к старику; молчание воцарилось повсюду, только слышалось тихое дребезжание струн и глухой шелест сдвигающейся плотнее толпы.

Это был известный по всему кочевому миру певец-импровизатор Гассан, о котором я слышал много еще прежде и которого, наконец, удалось мне видеть вблизи и слушать его импровизации.

Я жадно слушал этого степного Гомера и старался вникнуть в содержание и смысл его песни; и как я жалел, что не настолько знал этот язык, чтобы построчно записать все слышанное.

Он пел об известном агитаторе тридцатых годов (1830-х. – Э.Ш.) – Кенисаре¹³²; о его войнах с русскими, о его бегстве; о его несчастной любви, об измене его друзей и, наконец, о его геройской смерти...

Аблай-бий шепнул мне: “Он сам был все время с Кенисарой, и тогда уже он был седой старик”.

¹³² Кенесары Касымов – глава национально-освободительного движения казахов против русской экспансии. В 1841 г. сдался русским властям и был амнистирован (см.: ЦА 2008: 54–57).

А слушатели молча стояли и сидели вокруг, покачивая головами в такт пения, и не один тяжелый вздох вылетал из груди, сливаясь с однообразным напевом старца. <...> Грамотности нет и в помине (Каразин рассуждает о слушателях. – *Э.Ш.*), и потому, если случайно встретится личность, могущая с трудом разобрать только заголовок из первой страницы Корана, то ее считают ученойшей из ученых мира сего. Зато способность к сохранению преданий развита до необыкновенной степени; легенды и факты, относящиеся чуть ли не к временам Тамерлана, передаются с необыкновенной точностью, точно события, свершившиеся не более десяти лет тому назад. А живыми хранителями и распространителями преданий служат такие же странствующие певцы-импровизаторы, как Гассан, который пил кумыс в кибитке Аблая-бия после своих вдохновенных импровизаций» (Каразин 1872а: 94–97) (очерк «Из Центральной Азии») – в этом фрагменте из очерка Каразина представлена объемная картина *бытования фольклора* кочевников.

Наиболее популярный фольклорный жанр в прозе Каразина – *проповедь дервиша*. Помня, каким виделся дервиш Каразину (шпионом, фанатиком, ненавистником русских колонизаторов), понятны те тексты, которые услышаны и прокомментированы писателем (например, см.: Каразин 1905: 5/ 46).

НЕКРОЛОГ

В данной книге отсутствует описание биографии Каразина, основные факты которой легко находимы в сетевых источниках. Да и цель исследования была другой.

Однако считаю важным поместить здесь некролог, посвященный Каразину, – в нем подведен итог его деятельности, той самой, которой, в большей степени, посвящена эта книга. Некролог был опубликован в еженедельном журнале «Нива» в 1908 г. в № 52.

«Скончался крупный художник кисти и слова, Николай Николаевич Каразин. Кому не известно это имя? Кто не помнит эффектные, смело набросанные, полные живой фантазии и блеска его картины и рисунки? Каразина звали “русский Дорэ” – и это сопоставление не есть натяжка: у покойного художника было много общих черт со знаменитым французским рисовальщиком, любившим, как и Каразин, фантастические, величественные сюжеты.

Двадцать лет от роду он поступил на военную службу и участвовал в туркестанском походе. Интересная и своеобразная жизнь в далеких краях доставила Каразину богатый материал для будущих его работ, и, выйдя потом в отставку, Н.Н. Каразин прекрасно использовал этот интересный материал в целом ряде рисунков, повестей и романов. Большинство его беллетристических и художественных произведений посвящены туркестанскому и амударьинскому походам и жизни в этих отдаленных и своеобразных областях.

Прирожденный Н.Н. Каразину редкий талант иллюстратора очень скоро обратил на него внимание. Уже в 1871 году появились его первые рисунки и заставили говорить о себе, подкупая своим оригинальным, эффектным стилем. Позднее Н.Н. Каразин участвовал решительно во всех современных изданиях, где только требовался труд иллюстратора. Участвовал он и в нашей “Ниве”, и наши читатели, конечно, помнят его рисунки, украшавшие страницы нашего журнала

за все 40 лет его существования. Н.Н. Каразин был одним из первых сотрудников “Нивы” и с первых же лет ее существования принимал в ней самое горячее и деятельное участие и как художник и как писатель.

Не менее усердно иллюстрировал Н.Н. Каразин и отдельные издания. Вообще главным его талантом, несомненно, был талант иллюстратора. Н.Н. Каразин писал и большие картины, но специализировался собственно на акварели и, в особенности, на рисунках. В них всего ярче сказалось его изящное и смелое дарование.

Излюбленными его сюжетами были сюжеты этнографические и военные, но в них он вкладывал столько живой поэзии и воображения, что они казались иной раз сюжетами сказочного мира. Он создал свою собственную “каразинскую” манеру, производившую впечатление свежести и оригинальности.

Романы Н.Н. Каразина: “Двуногий волк”, “В камышах”, “На далеких окраинах” – представляют собою огромные картины, или, если хотите, иллюстрации, изображающие жизнь и быт далеких окраин. Эти картины-иллюстрации набросаны эффективной “каразинской” кистью. В них много свежей красочности, размашистости, эффектных контрастов, фантазии. О романах Каразина хочется сказать, что они не “читаются”, а “смотрятся”. И смотрятся с интересом и удовольствием.

Н.Н. Каразин был очень большой талант, и притом талант истинно русский: порывистый, страстный, увлекающийся. Работал Каразин с изумительной быстротой: о нем рассказывались целые легенды по этому поводу. И в течение своей долгой жизни (он скончался 67 лет от роду) он создал так много, что потребуются немало времени, чтобы, хотя лишь приблизительно, разобраться в его произведениях...» (Нива 1908: 923–924).

Эпилог

Несколько лет назад в блогосфере завязался диалог о русской колониальной литературе. Автор «Живого журнала» под ником *rus_turk* упомянул прозу Н.Н. Каразина как яркий образец такой литературы.

Журнал *rus_turka* – необыкновенный источник уникальных текстов для всех, кто интересуется Русским Туркестаном. «Здесь размещаются материалы (в первую очередь, выдержки из дневников и воспоминаний), касающиеся русского завоевания и колонизации Центральной Азии, от киргизских степей до туркменских оазисов и Памира, а также взаимоотношений этой части азиатской России с соседями – Ираном, Афганистаном, Китаем, Британской Индией. Для журнала подбираются тексты, в которых отражено восприятие их авторами культуры и быта различных социально-этнических групп (местных и пришлых) и их непростых взаимоотношений друг с другом» – так анонсирует свой журнал автор.

Не только напечатанные материалы, но и юзерпики автора журнала играют просветительскую роль: Чокан Валиханов, персонаж Павла Луспекаева – таможенник Верещагин из «Белого солнца пустыни», художник Василий Верещагин, персонажи картин В.В. Верещагина, портреты дервишей и иные типовые фигуры Туркестана с фотографий С.М. Прокудина-Горского.

С этого момента началось мое увлечение Каразиным. В Российской государственной библиотеке я заказала его собрание сочинений, чтобы убедиться, что они есть – все двадцать томов прозы, и удивиться: как же – есть, но мало кто об авторе знает. Последнее подтвердил опрос коллег-филологов. Выяснилось, что о Каразине знают искусствоведы, но как о художнике, а его литературное творчество в полном забвении. Тем не менее нашлись энтузиасты, издавшие в 1993 г. том избранных сочинений Каразина (о нем я упоминала в начале книги).

Немалое количество небольших по объему произведений Каразина не спеша оцифровывает упомянутый rus_turk и публикует в своем ЖЖ (все каразинские тексты существуют в старой орфографии). Если судить по откликам и комментариям читателей журнала rus_turka, проза Каразина вызывает немалый интерес.

По какому-то внерациональному сюжету сложилось так, что очень скоро я стала обладателем собрания сочинений Каразина, того самого, двадцатитомного, изданного П.П. Сойкиным в 1905 г. в виде книжного приложения к журналу «Природа и люди». Книги прибыли ко мне из Ростова-на-Дону, в каждом из томов стоит экслибрис: «Библиотека В.В. Добромыслова»¹³³, на полях есть редкие и аккуратные пометки простым карандашом (те самые маргиналии).

В прологе к данной книге речь шла о современных устных нарративах о президенте РФ, которого «приватизировала» фольклорная действительность современной Средней Азии. Случился историко-культурный кульбит: «очарованный странник» наоборот. Если поначалу очарованными странниками были Вамбери, Каразин, Верещагин и еще десятки туркестанских путешественников, то по прошествии времени очарованными остались отдельные из «туземцев». А. Эткинд в книге «Внутренняя колонизация. Имперский опыт России» обозначил одну ориенталистскую интенцию – речь идет о «чарах» колонизаторов – и проиллюстрировал ее на примере литературных текстов, подытожив следующим образом: «Империализм особенно токсичен, когда не просто действует грубым принуждением, а успешно добавляет к нему религиозную или идеологическую веру, силой и обманом заставляя эксплуатируемое население испытывать ее» (Эткинд 2013: 343); «Такой процесс сознательного, планируемого околдовывания мира должен опираться на верования народа, чтобы, преобразовав их, вести народ к новой жизни» (Эткинд 2013: 344).

¹³³ Возможно, что бывший владелец книг – автор кн.: В.В. Добромыслов. Иностранцы в России (1907).

Каразинская эмансипированная героиня-туземка обращается к рассказчику: «Отчего, – продолжала она, – отчего у вас, русских, все лучше нашего? Ведь Бог один и у вас, и у нас, только он вас не любит, потому что вы неверные... А все-таки у вас лучше... Ведь вас Бог не любит... да? А может быть, это все вздор? Может быть, это все наши муллы выдумывают, а?» (Каразин 1905: 6/103–104) («Ак-Томак»);

«Если Аллах поможет, послезавтра, к вечеру, будем под самым Ходжентом! – Там русские живут... – проговорила Ак-Томак, они хорошие люди, и не бьют нас, бедных женщин...» (Каразин 1905: 6/117) («Ак-Томак»).

В связи с «магией», исходящей от колонизаторов, уместно привести отрывок из анализа повести Д. Конрада «Сердце тьмы», сделанного А. Эткиндо: «...Курц построил свой бизнес на том, что внедрил в верования туземцев и заставил их обожать себя, как бога, и приносить ему жертвы. “Глушь его... приняла и полюбила”, и он полюбил ее. Их союз ознаменовали “какие-то дьявольские церемонии посвящения”. <...> Мы узнаем только, что Курц “имел власть чаровать или устрашать первобытные души дикарей, которые в его честь совершали колдовскую пляску” и что ритуал был как-то связан с их “избиением в широком масштабе”. <...> Он (Курц. – Э.Ш.)... доказывал, что белые “должны казаться им (дикарям) существами сверхъестественными”. <...> Когда просвещенные колонизаторы околдовывают мир ради “идеи”, такое колдовство требует насилия и ведет к нему» (Эткиндо 2013: 333–344).

Чем, как не чарами колонизаторов, покинувших Туркестанский край, можно объяснить этот «стокгольмский синдром», провоцирующий рождение нарративов о российском президенте? Это такие геополитические фантомные боли.

Не случайно Каразин подметил, что азиаты – любители политики: «Чего-чего нельзя было бы наслушаться вволю... Были разговоры политические – о ханах, разных правителях, о самом эмире даже... Азиаты вообще большие любители политических тем – перетолковывая все по-своему, освещая серьезные, часто величественные роковые события своим

юмором, доходящим иногда до злой и меткой сатиры... Ведь тут свобода: кругом мертвая пустыня, все свои, подслушать некому, риска никакого...» (Каразин 1905: 16/4) («Дауд – караван-баш»).

Случай, подобный среднеазиатской приватизации героя-тотема, – не беспрецедентный, эта парадигма весьма распространена в фольклоре. Помимо примеров, представленных в прологе, вот еще один – намеренный, «рукотворный», комический, сочиненный в соответствии с фольклорной моделью.

«В мае 1918 года вышел совершенно скандальный специальный номер (журнала “Новый Сатирикон”. – Э.Ш.) “О Карле Марксе”. На обложке под портретом Маркса была подпись: “Родился в Германии в 1818 г. Похоронен в России в 1918 г.”»¹³⁴ (Миленко 2010: 178).

В Московской области (г. Балашихе) стоит памятник Карлу Марксу (бюст на постаменте), окруженный по периметру (квадрату) металлической оградой. Внешне это напоминает кладбищенскую могилу. Хотя памятник находится не на кладбище, а в окружении городского ландшафта: здесь «Досуговый центр» (сбоку основоположника), «Гинекологическая консультация» (за спиной – фоном; надпись – крупными буквами), дорога с остановкой (перед лицом). В обыденности местный люд называет это сакральное место «могилкой Маркса», городские службы по весне красят голову серебрянкой, иногда можно видеть на «могилке» возложенные цветы.

Так официальная, хоть и почившая, идеология «в камне» и фольклорная действительность создают абсурд реальности.

Данное исследование – отнюдь не исчерпывающий анализ творчества Николая Николаевича Каразина. Каждая из глав, на мой взгляд, манок к отдельному тематическому исследованию прозы писателя XIX в. Хотелось бы верить, что такие исследователи появятся.

¹³⁴ Годы жизни К. Маркса: 1818–1883.

ПОСТСКРИПТУМ

В конце 2015 г. мне довелось побывать в Коканде, в резиденции-дворце Худояр-хана. Из рассказа девочки-экскурсовода, говорившей по-узбекски (по-русски она понимает, но говорить стесняется), ощутимо: Худояр-хан, последний правитель Кокандского ханства, в современной местной рецепции – вновь кумир, герой, тотем, мученик. (Интересно сравнить разные интернет-тексты: где пишут, что алчный и жестокий, а где – столько сделал! столько способствовал процветанию края!)

Верно ведь, страдалец. Жил, процветал. Пришли русские колонизаторы, все отняли, пустили по миру. Худояр-хан бежал от них (после безвыходного замирения), умер на чужбине, в Афганистане, совсем нестарым, нищим.

В прозе Каразина Худояр-хан упомянут многократно: он персонаж туркестанского метатекста, эмансипированная героиня Ак-Томак сбежала из гарема Худояр-хана, каразинские персонажи ссылаются на него, на его авторитет: что скажет Худояр-хан, как посмотрит Худояр-хан.

Этот пример – свидетельство катаклизмов, зафиксированных в туркестанском тексте.

ЛИТЕРАТУРА

Абдуллаев 2011 – *Абдуллаев, Е.* История Ташкентского Свято-Успенского кафедрального собора // Восток свыше. 2011. Вып. XXIII – XXIV.

Абдуллаев 2011а – *Абдуллаев, Е.* Туркестан, Розанов, Заратустра // Русский журнал. 01.09.2011. URL: <http://www.russ.ru/pole/Turkestan-Rozanov-Zaratustra> (Дата обращения: 13.08.2014.)

Алматинская 1958 – *Алматинская, А.В.* Гнет: Роман: В 2 ч. Ташкент: Гос. изд-во худож. литер., 1958.

Алматинская 1969 – *Алматинская, А.В.* Гнет: Роман: В 2 кн. Ташкент: Изд-во литер. и иск. им. Гафура Гуляма, 1969–1970.

Аржа Боржи-хан и небесная дева Ухин – Аржа Боржи-хан и небесная дева Ухин // Бурятские народные сказки. URL: <http://skazki.org.ru/tales/arzha-borzhi-han-i-nebesnaya-deva-uhin/> (Дата обращения: 24.07.2014.)

Аржа Буржа-хан 1973 – Аржа Буржа-хан // Бурятские народные сказки. Волшебнo-фантастические / Сост. Е.В. Баранникова, С.С. Бардаханова, В.Ш. Гунгаров. Улан-Удэ: БКИ, 1973. Т. 1. С. 229–233.

Аржи Буржи Хан 1959 – Аржи Буржи Хан // *Studia folclorica. Монгольские сказки / Под ред. и с предисл. проф. д-ра Ринчена. Улаанбаатар: ЭШХ, 1959. Т. I. Fasc. I.*

Афлатуни 2005 – *Сухбат Афлатуни.* Ташкентский роман // Дружба народов. 2005. № 10.

Афлатуни 2006 – *Сухбат Афлатуни.* Барокко: Рассказ // Звезда. 2006. № 3.

Афлатуни 2006а – *Сухбат Афлатуни.* Глиняные буквы, плывущие яблоки: Повесть // Октябрь. 2006. № 9. URL: <http://magazines.russ.ru/october/2006/9/a1.html>

Афлатуни 2007 – *Сухбат Афлатуни.* Пенуэль: Повесть // Октябрь. 2007. № 9. URL: <http://magazines.russ.ru/october/2007/9/af1.html>

Афлатуни 2009 – *Сухбат Афлатуни*. Остров Возрождения: Рассказ // Дружба народов. 2009. № 9.

Афлатуни 2011 – *Сухбат Афлатуни*. Год Барана: Макамы // Дружба народов. 2011. № 1. URL: <http://magazines.russ.ru/druzhba/2011/1/af5.html>

Бадлаева 2008 – *Бадлаева, Т.В.* История светских библиотек в Забайкалье (вторая половина XIX в. – февраль 1917 г.). Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2008.

Балашов 1963 – *Балашов, Д.М.* Русская народная баллада // Народные баллады. М.; Л.: Сов. писатель, 1963.

Бартольд 1896 – *Бартольд, В.В.* Об одном историческом вопросе // Среднеазиатский вестник. Ташкент, 1896. Ноябрь. С. 53–59.

Бартольд 1963 – *Бартольд, В.В.* Речь перед защитой диссертации // В.В. Бартольд. Сочинения: В 9 т. М.: Изд-во вост. литер., 1963. Т. 1. С. 604–610.

Басханов 2005 – *Басханов, М.К.* Русские военные востоковеды до 1917 г.: Библиографический словарь. М.: Вост. лит., 2005.

Белова 2005 – *Белова, О.В.* Этнокультурные стереотипы в славянской народной традиции. М.: Индрик, 2005.

Бёрк 2002 – *Бёрк, О.М.* Среди дервишей / Пер с англ. М.: Сампо, 2002.

Бобриков 2012 – *Бобриков, А.А.* Этнографический эпос. Туркестанский Верещагин // А.А. Бобриков. Другая история русского искусства. М.: НЛО, 2012.

Богданов 2001 – *Богданов, К.А.* Повседневность и мифология: Исследования по семиотике фольклорной действительности. СПб.: Искусство–СПб, 2001.

Брянцев 1959 – *Брянцев, Г.* Клинок эмира. Ташкент: Госиздат худож. литер., 1959.

Быков 2014 – *Быков, Д.* Вторая мировая глазами западных писателей. URL: <http://echo.msk.ru/programs/victory/1350772-echo/> (Дата обращения: август 2014.)

Вайль 2007 – *Вайль, П.* Карта родины. М.: КоЛибри, 2007.

Вайскопф 2003 – *Вайскопф, М.* Семья без уroda. Образ

еврея в литературе русского романтизма // М. Вайскопф. Птица тройка и колесница души: Работы 1978–2003 гг. М.: НЛЮ, 2003.

Вамбери 2003 – *Вамбери, А.* Путешествие по Средней Азии / Пер. с нем. З.Д. Голубевой; под ред. В.А. Ромодина; предисл. В.А. Ромодина. М.: Вост. лит., 2003.

Варенцов 2011 – *Варенцов, Н.А.* Слышанное. Виденное. Передуманное. Пережитое. М.: НЛЮ, 2011.

Верещагин 1883 – *Верещагин, В.В.* Из путешествия по Средней Азии // В.В. Верещагин. Очерки, наброски, воспоминания. СПб., 1883.

Волос 2013 – *Волос, А.Г.* Возвращение в Панджрут: Роман. М.: ОГИ, 2013.

Волчек 2014 – *Волчек, Д.* Путин родился в Бухаре: Тайное путешествие в Узбекистан // Радио Свобода. 30.04.2014. URL: <http://www.svoboda.org/content/article/25367797.html> (Дата обращения: 01.06.2014.)

Гартевельд 1914 – *Гартевельд, В.Н.* Среди сыпучих песков и отрубленных голов: Путевые очерки Туркестана (1913). М., 1914.

Гачев 2002 – *Гачев, Г.Д.* Национальные образы мира. Центральная Азия: Казахстан, Киргизия. Космос Ислама (интеллектуальные путешествия). М.: Издательский сервис, 2002.

Гинс 1913 – *Гинс, Г.* В киргизских аулах: Очерки из поездки по Семиречью // Исторический вестник. 1913. № 10.

Голендер 2007 – *Голендер, Б.А.* Коммерсанты старого Туркестана // Б.А. Голендер. Мои господа ташкентцы: История города в биографиях его знаменитых граждан. Ташкент, 2007.

Голендер 2007а – *Голендер, Б.А.* Мои господа ташкентцы: История города в биографиях его знаменитых граждан. Ташкент, 2007.

Грибоедов 1971 – *Грибоедов, А.С.* Соч.: В 2 т. М.: Правда, 1971. Т. 2.

Грищенко 2009 – *Грищенко, А.* Ребро барана: Рассказ // Октябрь. 2009. № 6.

Гурвич 1991 – *Гурвич, И.А.* Беллетристика в русской литературе XIX века. М., 1991.

Дандес 2003 – *Дандес, А.* «Кровавый навет», или Легенда о ритуальном убийстве: антисемитизм сквозь призму проективной инверсии // А. Дандес. Фольклор: семиотика и/или психоанализ: Сб. ст. / Пер. с англ. М.: Вост. лит., 2003. С. 204–230.

Дело 1877 – Рец. на кн.: Герман Вамбери. Очерки жизни и нравов Востока. 1876 г.: // Дело. 1877. № 2. С. 92–107.

Джераси 2013 – *Джераси, Р.* Окно на Восток: Империя, ориентализм, нация и религия в России / Авториз. пер. с англ. В. Гончарова. М.: НЛЮ, 2013.

Долгоруков 1871 – *Долгоруков, Д.Н.* Пять недель в Кокане // Русский вестник. 1871. Т. 91.

Достоевский 1972–1990 – *Достоевский, Ф.М.* Полн. собр. соч.: В 30 т. Л.: Наука, 1972–90.

Дудаков 2000 – *Дудаков, С.* Парадоксы и причуды филосемитизма и антисемитизма в России: Очерки. М.: РГГУ, 2000.

ЕЖ 1928 – Ложка и трусики: Письмо из Туркестана // ЕЖ. 1928. № 4. С. 16–17.

Еленевская, Фиалкова 2005 – *Еленевская, М., Фиалкова, Л.* Русская улица в еврейской стране: Исследование фольклора эмигрантов 1990-х в Израиле: В 2 ч. / Отв. ред. В.А. Тишков. М., 2005.

Жаботинский 2004 – *Жаботинский, В.* О железной стене: Речи, статьи, воспоминания. Минск: МЕТ, 2004.

Жизнь Викрамы 1960 – *Жизнь Викрамы, или 32 истории царского трона* / Пер. с санскрита, предисл. и примеч. П.А. Гринцера. М.: Вост. лит., 1960.

Зернова 1988 – *Зернова, Р.* Это было при нас. Иерусалим, 1988.

Кадио 2010 – *Кадио, Ж.* Лаборатория империи: Россия / СССР, 1860–1940 / Пер. с фран. Э. Кустовой. М.: НЛЮ, 2010.

Кадыри 2009 – *Кадыри, А.* Минувшие дни: Исторический роман. Ташкент: Sharq, 2009.

Калинин 2012 – *Калинин, И.* Угнетенные должны говорить: массовый призыв в литературу и формирование советского субъекта, 1920-е – начало 1930-х годов // Там, внутри: Практики внутренней колонизации в культурной истории России: Сб. статей / Под ред. А. Эткинда, Д. Уффельманна, И. Кукулина. М.: НЛО, 2012.

Каразин 1872 – *Каразин, Н.Н.* Атака собак под Ургутом // Нива. 1872. № 3.

Каразин 1872a – *Каразин, Н.Н.* Из Центральной Азии: Очерк первый // Дело. 1872. № 1. С. 63–103.

Каразин 1873 – *Каразин, Н.Н.* Аральское море // Нива. 1873. № 37.

Каразин 1873a – *Каразин, Н.Н.* Защитники Заравшанских гор // Нива. 1873. № 38.

Каразин 1874 – *Каразин, Н.Н.* Земледелие Заравшанской долины: Очерк // Нива. 1874. № 30.

Каразин 1874a – *Каразин, Н.Н.* Ургут: Из походных записок линейца // Дело. 1874. № 5.

Каразин 1874b – *Каразин, Н.Н.* Амударьинская ученая экспедиция: Путевые заметки члена экспедиции // Нива. 1874. № 36.

Каразин 1874c – *Каразин, Н.Н.* Ученая экспедиция на Аму-Дарью // Нива. 1874. № 44.

Каразин 1887 – *Каразин, Н.Н.* Колодцы на пути в Мазар-Шериф // Нива. 1887. № 39.

Каразин 1895 – *Каразин, Н.Н.* Пленницы. Эпизод из недавнего прошлого туркестанской жизни // Нива. 1895. № 37.

Каразин 1905 – *Каразин, Н.Н.* Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб.: Изд. П.П. Сойкина, 1905.

Каразин 1907 – *Каразин, Н.Н.* Скорбный путь: Из воспоминаний старого туркестанца // Русская старина. 1907. Январь. Февраль. Март. Т. 129.

Каразин 1993 – *Каразин, Н.Н.* Погоня за наживой: Роман, повести, рассказы / Сост. А.А. Мачерет. СПб.: Лениздат, 1993.

Карив 2013 – *Карив, Аркан.* Однажды в Бишкеке: Романы, малая проза / Предисл. Д. Кудрявцева. М.: Книжники; Текст, 2013.

Квитка 1883 – *Квитка, А.В.* Поездка в Ахал-Теке. 1880–1881 // Русский вестник. 1883. № 5, 6. Ч. 3.

Коран 2004 – Коран / Пер. смыслов и коммент. Иман Валерии Пороховой. М.: РИПОЛ классик, 2004.

Костенко 1871 – *Костенко, Л.* Средняя Азия и водворение в ней русской гражданственности. СПб., 1871.

Кудря 2010 – *Кудря, А.И.* Верещагин. М.: Мол. гвардия, 2010.

Лебедев-Полянский 2002 – *Лебедев-Полянский, П.И.* Из докладной записки Оргбюро ЦК ВКП(б) о деятельности Главлита // Власть и художественная интеллигенция: Документы ЦК РКП(б) – ВКП(б), ВЧК – ОГПУ – НКВД о культурной политике. 1917–1953 / Под ред. А.Н. Яковлева; сост. А. Артизов, О. Наумов. М.: МФД, 2002. С. 70–74.

Леонидзе 1965 – *Леонидзе, Г.* В тени родных деревьев: Воспоминания детских лет / Пер. с груз. Э. Ананиашвили. Тбилиси, 1965.

Леонидов 1960 – *Леонидов, Л.М.* Воспоминания, статьи, беседы, переписка, записные книжки. М., 1960.

Лесков 1957 – *Лесков, Н.С.* Собр. соч.: В 11 т. / Под ред. В.Г. Базанова и др. М.: Худож. литература, 1957. Т. 6.

Лесков 1984 – *Лесков, А.Н.* Жизнь Николая Лескова: По его личным, семейным и несемейным записям и памятям: В 2 т. М.: Худож. литер., 1984.

Лесков 1989 – *Лесков, Н.С.* Собр. соч.: В 12 т. М.: Правда, 1989.

Логофет 1909 – *Логофет, Д.Н.* На границах Средней Азии. Путевые очерки: В 3 кн. Кн. 3. Бухарско-афганская граница. СПб., 1909.

Лукьянова 2006 – *Лукьянова, И.В.* Корней Чуковский. М.: Мол. гвардия, 2006.

Лыкошин 1916 – *Лыкошин, Н.С.* Полжизни в Туркестане: Очерки быта туземного населения. Петроград, 1916.

Лыкошин 2005 – *Лыкошин, Н.С.* Хороший тон на Востоке / Вступ. ст. и коммент. В.А. Коренько. М.: АСТ: Астрель, 2005.

ЛЭ 1931 – Литературная энциклопедия / Ред. коллегия: П.И. Лебедев-Полянский, И.Л. Маца, И.М. Нусинов и др.;

отв. ред. А.В. Луначарский. М.: Комакадемия, 1931. Т. 5. С. 107–108.

Малиновский 2005 – *Малиновский, Б.* Научная теория культуры / Пер. с англ. И.В. Утехина; сост. и вступ. ст. А.К. Байбурина. М.: ОГИ, 2005.

Массон 1968 – *Массон, М.Е.* Падающий минарет (северо-восточный минарет Самаркандского медресе Улугбека). Ташкент: Узбекистан, 1968.

Меримзон 1913 – *Меримзон, М.И.* Рассказ старого солдата // Еврейская старина: Трехмесячник Еврейского ист.-этнограф. общ-ва, издаваемый под ред. С.М. Дубнова. СПб., 1913. Т. 6. Вып. II. С. 221–232.

Миленко 2010 – *Миленко, В.* Аркадий Аверченко. М.: Мол. гвардия, 2010.

Михайлов 1873 – *Михайлов, Н.* Голос хивинских пленных // Нива. 1873. № 30.

Могильнер 2008 – *Могильнер, М.* Homo imperii: история физической антропологии в России (конец XIX – начало XX вв.). М.: НЛО, 2008.

Морозова 1997 – *Морозова, М.К.* Мои воспоминания // Московский альбом: Воспоминания о Москве и москвичах XIX – XX веков. М.: Наше наследие, 1997. С. 180–213.

Моррисон 2007 – *Моррисон, А.* Рец. на кн.: Willard Sunderland. Taming the Wild Field: Colonization and Empire on the Russian Steppe. Ithaca; London: Cornell University Press, 2004 // Антропологический форум. 2007. № 6. С. 421–436.

МС 1877 – *М. Стр.* Дервиш-филолог // Нива. 1877. № 27. С. 434–435.

Назарьян 2010 – *Назарьян, Р.Г.* Самаркандская старина: Документальные очерки: Кн. 1. СПб.: Нестор-История, 2010.

Наливкин 2012 – *Наливкин, В.П.* Туземцы раньше и теперь: Этнографические очерки о тюрко-монгольском населении Туркестанского края / Изд. 2-е. М.: Либроком, 2012.

Небольсин 1854 – *Небольсин, П.И.* Рассказы проезжего. СПб., 1854.

Неклюдов 1974 – *Неклюдов, С.Ю.* «Героическое детство» в эпосах Востока и Запада // Историко-филологические ис-

следования: Сб. статей памяти акад. Н.И. Конрада. М.: Наука, 1974.

Нива 1873 – Хивинский поход // Нива. 1873. № 40. С. 635–637; № 43. С. 674–678.

Нива 1874 – Николай Николаевич Каразин // Нива. 1874. № 36. С. 561–562.

Нива 1875 – Нива. 1875. № 3.

Нива 1908 – Нива. 1908. № 52.

Никитин 1874 – *Никитин, П.* Ташкентские рыцари (Повести и рассказы Н.Н. Каразина. Иллюстрированное издание) // Дело. 1874. № 11. Современное обозрение. С. 1–20.

Никитин 1875 – *Никитин, П.* Ташкентские рыцари (На далеких окраинах. Роман Н. Каразина. Издание иллюстрированное. Погоня за наживой. Роман Н. Каразина) // Дело. 1875. № 1. Современное обозрение. С. 1–33.

НСИС 2002 – Новейший словарь иностранных слов и выражений. М.: АСТ, 2002.

Огарев 1977 – *Огарев, Н.П.* Избранное. М.: Худож. литер., 1977. С. 197.

Оксман 1923 – *Оксман, Ю.Г.* Судьба одной пародии Достоевского // Красный архив. 1923. Т. 3.

П.И. 1872 – *П.И.* Ташкентец в науке // Дело. 1972. № 12. Современное обозрение. С. 1–25.

Пашино 1868 – *Пашино, П.И.* Туркестанский край в 1866 году: Путевые заметки. СПб., 1868. URL: <http://rus-turk.livejournal.com/12042.html>

Петров-Водкин 1923 – *Петров-Водкин, К.С.* Самаркандия: Из путевых набросков 1921 года. Петроград: Аквилон, 1923.

Пильский 1999 – *Пильский, П.М.* Литературные края: Воспоминания. Нахалкиканец из-за Ташкенту // Балтийский архив. Русская культура в Прибалтике / Сост. Ю. Абызов. Таллинн, 1999. Т. 5.

Пиотровский 1991 – *Пиотровский, М.Б.* Джанна // Мифологический словарь / Гл. ред. Е.М. Мелетинский. М.: Сов. энциклопедия, 1991.

Платонов 1978 – *Платонов, А.* Неизвестный цветок // А. Платонов. Избранные произведения. М.: Худож. литература, 1978.

Подпоренко 2001 – *Подпоренко, Ю.В.* Бесправен, но востребован. Русский язык в Узбекистане // Дружба народов. 2001. № 12.

Пулатов 1995 – *Пулатов, Т.И.* Собр. соч.: В 4 т. М.: Сов. писатель, 1995–1999.

Путилов 2003 – *Путилов, Б.Н.* Фольклор и народная культура; In memoiam. СПб.: Петербургское востоковедение, 2003.

Пушкин 1948 – *Пушкин, А.С.* Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года // А.С. Пушкин. Полн. собр. соч.: В 17 т. Т. 8. М.: Наука, 1948.

РС 1907 – Русская старина. 1907. Январь. Февраль. Март. Т. 129.

Рубина 2006 – *Рубина, Д.И.* На солнечной стороне улицы: Роман. М.: Эксмо, 2006.

Рубина 2014 – *Рубина, Д.И.* Русская канарейка: Роман: В 3 кн. М.: Эксмо, 2014.

Саид 2006 – *Саид, Э.В.* Ориентализм: Западные концепции Востока / Пер. с англ. А.В. Говорунова. СПб.: Русский Миръ, 2006.

Саид 2012 – *Саид, Э.В.* Культура и империализм. СПб.: Владимир Даль, 2012.

Сарнов 2002 – *Сарнов, Б.* Наш советский новояз: Маленькая энциклопедия реального социализма. М.: Материк, 2002.

Симонов 1982 – *Симонов К.М.* Двадцать дней без войны // К. Симонов. Собр. соч.: В 10 т. М.: Худож. литер., 1979. Т. 7. Так называемая личная жизнь (Из записок Лопатина): Роман: В 3 ч. 1982.

Скаков 2011 – *Скаков, Н.* Пространства «Джана» Андрея Платонова // Новое литературное обозрение. 2011. № 107. URL: <http://magazines.russ.ru/nlo/2011/107/sk26-pr.html> (Дата обращения: 26.04.2014.)

Скорино 1894 – *Скорино, К.* Командировка за лошадьми // Разведчик. 1894. № 218, 219.

Стил 2002 – *Стил, Э., Линдли, Р., Бландэн, Р.* Что, если Ламарк прав? Иммуногенетика и эволюция / Пер. с англ. М.: Мир, 2002.

Там, внутри 2012 – Там, внутри: Практики внутренней колонизации в культурной истории России: Сб. статей / Под ред. А. Эткинды, Д. Уффельманна, И. Кукулина. М.: НЛЮ, 2012.

Терентьев 1906 – *Терентьев, М.А.* История завоевания Средней Азии: В 3 т. СПб.: Типо-лито П.П. Комарова, 1906. Т. 1.

Токаева 2011 – *Токаева, А.* История лагеря с экзотическим названием «АЛЖИР» и его узниц. URL: http://rus.azattyq.org/content/gulag_camp_kazakhstan/24179843.html (Дата обращения: 04.08.2014.)

Толстой 1933/Толстой 1935/Толстой 1952/Толстой 1953 – *Толстой, Л.Н.* Полн. собр. соч.: В 90 т. / Под общ. ред. В.Г. Черткова. М.; Л.: Худож. литер., 1928–1958.

Тольц 2013 – *Тольц, В.* «Собственный Восток России»: Политика идентичности и востоковедение в позднеимперский и раннесоветский период. М.: НЛЮ, 2013.

Топоров 1991 – *Топоров, В.Н.* Животные // Мифы народов мира. Энциклопедия: В 2 т. / Гл. ред. С.А. Токарев. М., 1991. Т. 1.

Тримингэм 2002 – *Тримингэм, Дж.С.* Суфийские ордены в исламе / Пер. с англ. А.А. Ставиской, под ред., предисл. О.Ф. Акимовской. М.: София; Гелиос, 2002.

Тынянов 2006 – *Тынянов, Ю.Н.* Смерть Вазир-Мухтара // Ю.Н. Тынянов. Собр. соч.: В 3 т. М.: Вагриус, 2006. Т. 2.

Уралов 1897 – *Уралов, Н.* На верблюдах: Воспоминания из жизни в Средней Азии. СПб., 1897.

Уфимцев 1973 – *Уфимцев, В.И.* Говоря о себе: Воспоминания. М.: Сов. художник, 1973.

Федоров 1913 – *Федоров, Г.П.* Моя служба в Туркестанском крае (1870–1906 года) // Исторический вестник. 1913. Октябрь. С. 33–55.

Фергана.Ру 2013 – Фергана.Ру: Международное агентство новостей. URL: <http://www.fergananews.com/comments.php?id=20683&block=news> (Дата обращения: 31.08.2013.)

Форвард 2002 – *Форвард, М.* Мухаммад: Краткая биография / Пер. с англ. А. Гарькавого. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.

Хаиров 2009 – *Хаиров, А.* Казань – Курочки: Поэма // Октябрь. 2009. № 11. С. 65–93.

Халид 2010 – *Халид, А.* Ислам после коммунизма: Религия и политика в Центральной Азии / Пер. с англ. А.Б. Богдановой. М.: НЛО, 2010.

Хедин 2010 – *Хедин, С.* В сердце Азии. Памир-Тибет-Восточный Туркестан: Путешествие в 1893–1897 годах. М.: Ломоносовъ, 2010.

ЦА 2008 – Центральная Азия в составе Российской империи. М.: НЛО, 2008.

Цветов 1993 – *Цветов, Г.* Забытая слава // Н.Н. Каразин. Погоня за наживой: Роман, повести, рассказы / Сост. А.А. Мачерет. СПб.: Лениздат, 1993. С. 3–8.

Цивьян 2001 – *Цивьян, Т.В.* Золотая голубятня у воды: Венеция Ахматовой на фоне других русских Венеций // Т.В. Цивьян. Семиотические путешествия. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2001.

Чехов 1986/Чехов 1987 – *Чехов, А.П.* Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. М.: Наука, 1983–1988.

Шафранская 2005 – *Шафранская, Э.Ф.* Мифопоэтика прозы Тимура Пулатова: Национальные образы мира. М.: Едиториал УРСС, 2005.

Шафранская 2009 – *Шафранская, Э.Ф.* От воспитания патриотизма в школе до формирования ксенофобии в повседневности // Неокончателный анализ: ксенофобные настроения в молодежной среде. Ульяновск: Изд-во Ульяновского гос. ун-та, 2009. С. 137–144.

Шафранская 2010 – *Шафранская, Э.Ф.* Ташкентский текст в русской культуре. М.: Арт Хаус медиа, 2010.

Шафранская 2013 – *Шафранская, Э.Ф.* Другие «господа ташкентцы» // Восток свыше: Духовный, литературно-исторический журнал. Ташкент: Моск. патриархат; ташкентская и узбекистанская епархия, 2013. Вып. 31. С. 126–128.

Шафранская 2013а – *Шафранская, Э.Ф.* Постколониальный синдром: современные мифологические нарративы о

Путине в Средней Азии // Мифологические модели и ритуальное поведение в советском и постсоветском пространстве: Сб. статей / Сост. А. Архипова. М.: РГГУ, 2013. С. 73–79.

Шафранская 2014 – *Шафранская, Э.Ф.* А.В. Николаев – Усто Мумин: судьба в истории и культуре (реконструкция биографии художника). СПб.: Свое изд-во, 2014.

Шевеленко 2012 – *Шевеленко, И.* Репрезентация империи и нации: Россия на всемирной выставке 1900 года в Париже // Там, внутри: Практики внутренней колонизации в культурной истории России: Сб. статей / Под ред. А. Эткинды, Д. Уффельманна, И. Кукулина. М.: НЛО, 2012. С. 413–444.

Шолохов 1957 – *Шолохов, М.А.* Тихий Дон: Роман // М.А. Шолохов. Собр. соч.: В 8 т. М., 1956–1960. Т. 3. Тихий дон. Кн. вторая. 1957.

Щедрин 1970 – *Салтыков-Щедрин, М.Е.* Собр. соч.: В 20 т. М.: Худож. литер., 1970.

Эдельштейн 2005 – *Эдельштейн, М.* История одного стереотипа // Евреи и жиды в русской классике. М.: Мосты культуры; Иерусалим: Гешарим, 2005. С. 384–391.

Эрнст 2002 – *Эрнст, К.* Суфизм / Пер. с англ. А. Гарькавого. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2002.

ЭСБЕ – Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1890–1907.

Эткинд 2013 – *Эткинд, А.* Внутренняя колонизация. Имперский опыт России / Авториз. пер. с англ. В. Макарова. М.: НЛО, 2013.

Эткинд, Уффельманн, Кукулин 2012 – *Эткинд, А., Уффельманн, Д., Кукулин, И.* Внутренняя колонизация России: между практикой и воображением // Там, внутри: Практики внутренней колонизации в культурной истории России: Сб. статей / Под ред. А. Эткинды, Д. Уффельманна, И. Кукулина. М.: НЛО, 2012. С. 6–50.

**ПРОИЗВЕДЕНИЯ,
ВОШЕДШИЕ В 20-ТОМНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ**

Н.Н. КАРАЗИНА (1905)

- Т. 1: На далеких окраинах: Роман в 3 ч.
Т. 2, 3: Погоня за наживой: Роман в 3 ч.
Т. 4: Рождественские рассказы
Т. 5: Наль: Роман в 3 ч.
Т. 6: Тьма непроглядная. Повести и рассказы:
 Тьма непроглядная
 Ак-Томак
 Тигрица
Т. 7, 8: С севера на юг (Роман в 2 ч.)
Т. 9: В огне. Очерки и рассказы:
 Рискованный сеанс
 Портрет
 Страшное мгновение
 Зарабулакские высоты
 Ургут
 Город мертвых
 Юнуска-головорез
 Рахмед-Инак, бек Заадинский
 Старый Кашкара
 Джигитская честь
 Три дня в мазарке
Т. 10, 11: В пороховом дыму (Роман в 2 ч.)
Т. 12: У костра: Очерки и рассказы:
 Катастрофа на Кастекском перевале в Туркестане
 Байга
 Кочевья по Иссык-Кулю
 Богатый купец Бай Мирза Кудлай
 Охота на тигра
 Старый Джулдаш и его сын Мамет
 Не в добрый час
 Науурсова яма
Т. 13: В камышах: Повесть

- Т. 14: Двуногий волк: Роман в 2 ч.
- Т. 15: Недавнее былое: Повести и рассказы:
Варвара Лепко и ее семья
В опале
Докторша
Атлар
Шхуна «Смолка»
Блокгауз «Червлен-аскер»
Миленка
Ошибка
- Т. 16: В песках: Повести и рассказы:
Дауд – караван-баш
Таук
Ночь под снегом
Наурус и джура, братья Кудукчи
Тюркмен Сяркей
Как Чабар Мумын берег вверенную ему казенную почту
- Т. 17: Голос крови: Роман в 3 ч.
- Т. 18, 19: Дунай в огне: Дневник корреспондента: В 2 ч.
- Т. 20: Сказки Деда бородатого:
Мои сказки:
Незнакомый след
Два пути
Волк
Пар-богатырь
Орел на полете
Петька-зайчик
Дедушка-Буран, бабушка-Пурга
Пожар
Ангел смерти
Колодезь мира и жизни
Литавры Магомета Тузая
Свет во мраке
- С верховьев Волги на истоки Нила (Путевые впечатления журавля)
Андрон Голован

УРГУТ¹³⁵

Из походных записок линейца

После чапанатинского погрома и занятия Самарканда прошла целая неделя. Отряд наш тесным лагерем расположился по сторонам большой бухарской дороги, на выезде из Самарканда. В городской цитадели, где помещен был походный лазарет, устроены временные склады провианта и артиллерийских снарядов, и находилась главная квартира, стал шестой батальон линейцев и три роты стрелков нашей туркестанской гвардии.

На очень небольшом пространстве, прорезанном по всем направлениям арыками, стеснилось около трех тысяч человек. Солдаты помещались в крохотных парусинных палатках, на манер переносных алжирских. Поблизости краснели, зеленели и пестрели азиатские палатки офицеров, ослепительно сверкали медные тела орудий; между зарядными ящиками на протянутых коновязях привязаны были артиллерийские кони, которые фыркали и чихали от мелкой, всюду проникающей пыли и тоскливо отмахивались хвостами от мириад докучливых мух. Целыми тучами носились над лагерем эти несносные насекомые, набивались в палатки, лезли и падали в котлы, миски и стаканы и не давали сомкнуть глаз до солнечного заката, внося в наш лагерь одно из самых существенных неудобств. Дым от ротных кухонь черными и сероватыми облаками носился над рядами палаток. В воздухе пахло котлами, жареным салом, свежее испеченным хлебом и другими, более или менее возбуждающими или отбивающими аппетит, снадобьями.

Небольшой ручей, протекающий на дне оврага, шагах в трехстах впереди, снабжал весь лагерь довольно порядочною водою. Кругом зеленели тенистые фруктовые сады; над лагерьем же кое-где торчали полувысохшие, оципаные деревья.

¹³⁵ Рассказ впервые опубликован в 1874 г. в журнале «Дело» (№ 5).

Дорога в Бухару, обсаженная тузовыми деревьями, разделяла лагерь на две почти равные части. В настоящее время дорога эта кипела самою оживленною деятельностью. По обеим сторонам ее тянулись наскоро сколоченные шалаши, в которых продавались разные съедобные вещи: варился плов, жарился шашлык и рыба, и даже устроены были две или три небольшие хлебопекарные печки, в которых пеклись плоские туземные лепешки. В более опрятных и тенистых шалашах продавались шербет и разные фрукты. Разноплеменную, пеструю толпу по всем направлениям прорезывали сартята и жиденки с лотками на головах, выкрикивая ломаным языком русские названия продаваемых предметов.

В просторных полотняных палатках, принадлежащих нашим русским купцам и маркитантам, толпились солдаты. Татары-приказчики, суеяться, сновали взад и вперед, особенно, если в палатку заходили офицеры, что всегда приносило хороший доход, ибо в лагере жилось весело.

Афганцы Искандер-Хана, в ярких халатах, гремя оружием, рыскали верхом в толпе, усердно прикладывая руку к козырьку, по русскому обычаю, при встрече с нашими офицерами. Лошади ржали, ишаки вытянули длинноухие морды, пронзительно выкрикивали усталые, вылинявшие верблюды, уложенные рядами у самых боковых арыков, жалобно вздыхали, пережевывая рубленую солому (саман). В воздухе стояла невыносимая жара, градусов двадцать пять и более в тени по Реомюру.

По вечерам, когда становилось гораздо прохладнее, в разных пунктах лагеря гремела незатейливая музыка линейных батальонов, звонко заливались хоры песенников, и туземная торговля на базаре прекращалась. Сарты, жиды и индийцы уходили в город с тем, чтобы на другой день вернуться со свежими продуктами. Только в маркитантских палатках было яркое освещение; торговля в этих теплых местах не прекращалась вплоть до рассвета. Впрочем, все меры осторожности, принятые в военное время, исполнялись с возможною тщательностью: сплошная цепь часовых охватывала весь лагерь,

и в разных укромных пунктах закладывались довольно сильные секреты.

Так изо дня в день проводилось время в самаркандском лагере.

В самом Самарканде жители относились к нам чрезвычайно дружелюбно. Мы еще и не подозревали, до какой степени притворна эта миролюбивость. Депутации от всех окрестных местечек и кишлаков почти ежедневно представлялись генерал-губернатору. С самого раннего утра можно было видеть разных представителей, которые молча сидели в тени, на мощенном плитам дворе эмирского дворца (кокташа), где помещалась главная квартира. Перед депутатами стояли круглые медные подносы с лепешками, изюмом, сушеным урюком и разными местными сладостями; тут же жалобно мычали быки на волосяных привязях; все это назначалось на поклон Ярым-Паше (полгосударя), как называли туземцы нашего генерал-губернатора. Часов в одиннадцать, обыкновенно, назначался прием депутации. Разные сласти и скот отбирались и поступали в пользу караульной роты, на почетнейших из депутатов надевались золотые и серебряные медали, всем без исключения – цветные, а иногда и шитые золотом халаты, и вся публика, по-видимому, чрезвычайно довольная, отправлялась с миром восвояси.

Один только из городов, казалось, вовсе не расположен был признавать нашей власти. Это был Ургут. Город этот лежал верстах в сорока от Самарканда к югу, в глухом горном ущелье, и дороги к нему вели не совсем-то удобные. К Гусейн-Беку, тамошнему правителю, уже не раз посылали сказать, чтобы он явился в Самарканд представиться и получить распоряжения от своего нового правительства, и что, иначе, он рискует навлечь на себя гнев русского губернатора, что могло бы иметь для него очень вредные последствия; на все это Гусейн-Бек отвечал чрезвычайно уклончиво и неопределенно или же не отвечал вовсе. А между прочим, это стран-

ное упорство могло вредно влиять на окрестное население. К Ургуту, как к опорной точке, начали пристраиваться то те, то другие партии недовольных новым порядком вещей; получено было важное известие, что Гусейн-Бек сносился с Джурра-Бием, шахрисабзским беком, по ту сторону самаркандских гор, а Шахрисабз явно выставил себя врагом русских и союзником Бухарского эмира. Подобное положение дел относительно Ургута надо было прекратить как можно скорее и окончательно, и решено было послать туда довольно сильный самостоятельный отряд, начальнику которого поручено было, между прочим, стараться, насколько это возможно, устроить дело мирным путем, не доходя до вооруженного столкновения. Десятого мая, вечером, отряд этот был сформирован и ночью выступил из Самарканда по ургутской дороге.

Была чудная весенняя ночь, – такая ночь, какие и здесь, в Средней Азии, выдаются на редкость. Полная луна высоко стояла в небе; было так светло, что читать можно было почти без затруднения. Удушливые, отнимающие сон летние ночи еще не начинались, и в воздухе было прохладно.

Отряд наш вытягивался по узким улицам Самарканда. Пехота шла молча, без песен и говору, тяжело переступая по вершковой пыли. Сильно клонило ко сну, и солдаты на ходу дремали. Все ворота были наглухо заперты, и в городе царствовала мертвая тишина; изредка только выскочит тощая дворовая собака и с хриплым лаем пробежит по плоской крыше, провожая мелькающий перед ее глазами ротный значок. Колеса орудий и ящиков глухо гремели по камням. Пестрые джигиты-киргизы и афганцы, щелкая нагайками по тощим бокам своих лошадей, пробирались вплотную к стенам, обгоняя пехоту. Офицеры, распустив поводья, клевали носом, сидя на мягких казачьих седлах. Скоро подошли к городским воротам; здесь находилась маленькая базарная площадка с запертыми лавочками и пустыми навесами. Четыре оборван-

ных сарта с большими бубнами в руках сидели на корточках под навесом, угрюмо глядя на проходящих солдат; ни один мускул не пошевелился на этих типичных, резко очерченных лицах, и казалось, что они совершенно равнодушно относились к шуткам и остротам гяуров, сыпавшимся на них из шедших мимо рядов. Это был один из туземных городских караулов, обязанность которых была обходить базары и улицы и караулить по ночам городские ворота. Сзади, от хвоста колонны, послышались крики: «Направо, налево раздайся!»

Пешие прижались к стенам, очищая дорогу, конные ускорили шаг. Показалась небольшая группа верховых, которая ускоренным шагом, почти рысцою, обгоняла отряд. Это был начальник отряда, полковник А-в. Он ехал впереди на красивой рыжей лошади, вполголоса здороваясь с людьми и слегка кивая своей белой фуражкой; два-три офицера и несколько казаков рысили за ним тесной кучкою; над конвоем развевался большой полосатый значок, тень от которого длинной полосой бежала по плоским крышам. Скоро весь отряд, пройдя под темными, массивными воротами, выбрался из города и втянулся в окрестные сады. Дорога стала значительно шире; по сторонам тянулись довольно высокие глиняные заборы, из-за которых виднелись развесистые, курчавые верхушки фруктовых деревьев. Громадные туты, сплошь покрытые белыми ягодами, бросали на дорогу густую, непроницаемую тень. Часто попадались отдельные садики с квадратными прудиками посередине, обсаженными высокими, кудреватými карагачами; сквозь темные массы зелени виднелись жилые дворы, обнесенные высокой зубчатою стеною, часто с затейливыми украшениями, вырезанными по сырой глине. Везде по сторонам, сквозь яркую зелень засеянных клевером полей, серебрились узкие арыки, по которым, с глухим журчанием, бежали мутные потоки воды; такие же арыки, но только значительно шире, поминутно перерезывали дорогу, и через них вели ветхие, полуразвалившиеся мостики. В воздухе пахло медовым запахом тутовника. Целый град ягод сыпался на пыльную дорогу при каждом ударе штыка о низ-

ко свесившиеся ветви. Красноватый шар луны спустился к самому горизонту, и на нем ясно рисовались далекие горные вершины. Вся восточная сторона неба подернулась бледным золотистым светом, а через час ослепительно блеснули яркие, огненные лучи и погнали перед собою по целому морю изумрудной зелени легкую дымку утреннего тумана.

Скоро мы выбрались из садов, которые по этому направлению тянутся почти на пятнадцать верст от городских стен. Необозримые поля, засеянные клевером, пшеницею, рисом, виднелись всюду, куда только хватил глаз; кое-где возвышались насыпные курганы, желтели низенькие стенки из глины и отдельно разбросанные небольшие садики. Около дороги лежало довольно большое, изрытое и заросшее бурьяном, мальвами и разными сорными травами пространство, усеянное продолговатыми, белыми и темно-серыми каменными плитами; над некоторыми из них торчали шесты с повешенными тряпками и железными зубчатыми наконечниками: это было кладбище с бесчисленными могилами правоверных. В стороне видны были два кургана, на вершинах которых сложены были грубые подобию мавзолеев, осененные бунчуками из конских хвостов и медными, пустыми внутри, шарами, висящими на тонкой проволоке: здесь покоились те, которые еще при жизни получили высокий сан святых – столпов мусульманства. Мы прошли еще верст пять и, спустившись в небольшую лощину, расположились на привале по берегам довольно широкого арыка с мутною, землистою водою. Обозы с трудом вытягивались на противоположную возвышенность и, выстраиваясь рядами, распрягали лошадей, офицерские повозки катились к своим частям, казаки ставили на приколы своих запыленных и отряхивающихся лошадей. Скоро то там, то сям затрещали веселые огоньки и потянулись голубоватые струйки дыма; оживленный разговор слышался со всех сторон, весь берег арыка усеян был умывающимися солдатами.

Недолго отдыхали мы на этом месте. Скоро барабаны затрещали подъем, люди поднялись и выстроились, артиллерия впрягла лошадей, и мы тронулись снова. Впереди, за лентою

полей, виднелся прелестный голубой хребет Самарканд-Тау, подошвы которого рисовались большими темно-синими пятнами; нам говорили проводники, что это были заросшие садами ущелья Ургута. Странно, что мы по дороге совершенно не встречали никого из жителей; даже в полях не видно было ни одного человека; казалось, что жители бежали от нас и оставляли на полях работы при первом появлении, вдали на дороге, белой ленты нашего отряда со сверкающими на солнце черточками штыков.

Часам к четырем вечера отряд наш пришел к месту ночлега, верстах в шести не доходя до Ургута. Мы расположились на просторной луговой равнине большим четырехугольником, примкнув к быстро бегущему ручью, называвшемуся также Ургутом. Шесть рот пехоты стали развернутым фронтом по фасам четырехугольника, казачьи орудия стали между ротами, казаки растянулись по берегу, прикрывая расположенные здесь же ротные кухни; середину лагеря заняли отрядный обоз и офицерские палатки. Несколько пустых сакель примыкали к самому лагерю; эти, видимо, были брошены не более, как за час перед нашим прибытием. Жители успели захватить только самое для них ценное, все же остальное было в беспорядке брошено, как внутри сакель, так и посреди двориков: посуда глиняная и деревянная, несколько мешков (батманов) с зерновым хлебом, какие-то пестро раскрашенные, с позолотою шкапики и много разного хлама. Сейчас же занялись варкою ужина. На дрова разобрали крышу одной из сакель, и под громадными ротными котлами запылали яркие огни. Офицерские денщики забегали с медными чайниками... Лагерь принял свою обычную физиономию.

Прямо перед нами подымались горы; казалось, что можно было рукой достать эти покрытые сочной зеленью склоны, но почти таш (восемь верст) отделял нас от подножья хребта. Ближе всего, постепенно сливаясь с равниной, высились роскошные, ярко зеленые холмы, выше поднимались грозные скалы причудливой формы, громоздясь одна на другую, то расходясь и образуя темные теснины, то сплошною стеною

загораживая темно-синее небо. Клочковые, разорванные тучи скользили по каменным утесам, бросая на них бегущие тени; иногда они сплывались в большие массы, спускались к самым подножьям и медленно ползли понизу, пока вырвавшийся из ущелья стремительный порыв ветра не разрывал их и не гнал снова ввысь, к искрившимся на солнце ярко-белым снежным вершинам. Густые сады, между которыми виднелись глиняные постройки, раскинуты были по ближайшим склонам; за ними возвышался отдельный курган, вершины и скаты которого тесно были обстроены. В бинокль можно было ясно различать отдельные сакли и зубчатые стены на вершине кургана. Далее, за курганом, снова виднелись сады, постепенно теряясь в глубоком ущелье.

Это и был Ургут, расположенный у входа в свое недоступное ущелье.

Между тем свирепствовавшие в горах порывы ветра стали доноситься и до нас; заколыхались легкие шелковые значки, и дрогнуло натянутое на тонких веревках полотно солдатских палаток. Свинцовая туча, охватив полгоризонта, шла прямо на наш лагерь с глухими ударами грома; горное эхо вторило им с бесконечными перекатами; крупные капли дождя защелкали по пыльной дороге. Через пять минут хватил проливной дождь. Люди попрятались в палатки и под повозки; одни только часовые, плотно завернувшись в свои серые плащи, мерно расхаживали перед рядами составленных в козлы ружей. Через полчаса пронеслись дождевые тучи. Яркие лучи заходившего солнца заискрились на мокрой зелени, и по горам протянулись чудные радужные полосы. В воздухе стало прохладно. День клонился к вечеру.

Цель нашей экспедиции, как я сказал, не была безусловно враждебна. От Гусейн-Бека требовалось только одно – чтобы он прибыл в Самарканд для личных переговоров с генерал-губернатором и принял далеко не тяжелые условия покорности. Только в случае полного сопротивления позволено было нам употребить в дело оружие. Итак, надо было испробовать предварительно мирные цели.

Решено было послать к Гусейн-Беку письма от генерал-губернатора и от начальника нашего отряда, в которых, по возможности, кратко и вразумительно изложена была цель нашего прибытия. Кроме того, надо было послать эти письма с таким человеком, который бы сумел лично говорить с беком и не побоялся бы довольно крупных неприятностей, могущих случиться с посланным, если только предложения наши не будут встречены миролюбиво. Не раз бывали случаи, что подобные посланные возвращались или с обрезанными ушами и носом, или же не возвращались вовсе. В настоящем случае выбор пал на Нурмеда.

Какой-то всадник, на высокой туркменской лошади, в полтатарском костюме и в косматой лисьей шапке с красным верхом, шагом подъезжал к ставке нашего полковника и слез с лошади. Это был Нурмед. Он, согнувшись и приподняв на голове шапку, вошел в ставку. Редко можно встретить такую оригинальную физиономию: под густыми, нависшими бровями сверкали, как угли, два темно-карие глаза, высокий гладкий лоб окаймлялся густою щеткою гладко остриженных седых волос, широкий чувственный рот постоянно складывался в какую-то добродушную и вместе с тем чрезвычайно лукавую улыбку, сквозь белые кольца вьющихся усов сверкали ослепительные зубы, и роскошная черная с частою проседью борода длинными прядями расползлась чуть не на половину груди.

Куда только судьба не закидывала эту оригинальную личность; вся его жизнь наполнена была разнообразными, в высшей степени романическими приключениями. Он сам не любил рассказывать эпизоды своего прошедшего, а если и рассказывал, то часто в его рассказах видимо было умышленное противоречие. Говорили, что лет тридцать тому назад он бежал из Сибири, что долго он слонялся по обширным степям киргизской орды, потом пробрался в бухарское ханство, служил у отца нынешнего эмира Насруллы, был у него в милости и в немилости, участвовал с ним в походах, потом был придворным медиком при дворе уже настоящего эмира Мозофара и, наконец, снова явился к русским, рассчитав,

что давно забыто его прошедшее и не докопаться до него никаким пресловутым следователям, да и кому охота была заглядывать в его далекое былое.

Ему сообщили сущность его поручения; он молча выслушал, завернул в широкий пояс письма и, пожав руки ближайшим из офицеров, с поклоном вышел из палатки. Скоро мы видели его далеко, уже за цепью часовых; длинноногий аргамак ходко рысил по узкой дороге, верхушка лисьей шапки ярко краснела издали, и за согнутой богатырской спиной торчали стволы вынутой из чехла винтовки.

Между тем стало заметно темнеть; звезды все гуще и гуще усеивали синее небо; над кухонными огнями стояло красноватое зарево; казаки и артиллеристы навешивали на коней торбы с ячменем, солдаты уже поужинали, и ночная цепь часовых расставлена была вокруг лагеря. Люди, утомленные большим переходом, крепко спали, свернувшись под своими шинелями. В офицерских палатках кое-где еще виднелись огни, в ставке же начальника отряда было ярко освещено; там никто не спал: ждали возвращения Нурмеда и решения вопроса, быть или не быть назавтра кровавому штурму строптивного Ургута.

Прошло часа три. Наконец в цепи послышался тревожный оклик. Топот нескольких лошадей приближался к лагерю, и из темноты начали одна за другою выделяться конные фигуры. Они остановились уже внутри лагеря и стали слезать с лошадей, их встретили и ввели в палатку начальника отряда. Через пять минут все прибывшие сидели полукругом на разостланном ковре; напротив них поместился на складной кровати полковник А-в, правее и левее его несколько офицеров, а сзади, в полуосвещенных пространствах, виднелось одно за другим множество любопытных лиц, пришедших послушать, чем кончится это интересное заседание. Нурмед вернулся вместе с прибывшими и что-то рассказывал одному из наших офицеров. Мы узнали, что это прибыл сам Гусейн-Бек для личных объяснений с начальником отряда. Объяснения эти, после обычного обмена любезностей, начались.

Теперь мы обратимся несколько назад, к минуте отъезда Нурмеда из нашего лагеря¹³⁶.

Версты четыре проехал джигит, не встретив ни одной живой души; уже ясно были видны первые стенки ургутских садов, можно было свободно различать группы плодовых деревьев; тогда он заметил за стенками какое-то движение: казалось, что толпы пешего народа двигались взад и вперед, что-то работали, спеша и суетясь; кое-где сновали конные, красные халаты которых заметны были издали; глухой говор слышался по садам, можно было уже различать отдельные крики и звуки дребезжавшего рожка. Нурмед постоял минуту на месте, осмотрелся и потом потихоньку начал спускаться к быстрому, бегущему по кремнистому руслу ручью. Через ручей он переехал вброд – воды было едва по колено; выбравшись на другой берег, он пустил коня в карьер и понесся по каменистой дороге, пристально глядя по сторонам. Едва он проскакал шагов триста, как услышал громкие крики: несколько конных выскакали из ближайших садов и приближались к нему, стараясь охватить его со всех сторон. Мимо самых ушей его просвистал пущенный из пращи камень. Нурмед еще шибче погнал своего аргамака; поджарый сын степей стлался по дороге. Джигит хорошо знал местные нравы: попавшись жителям в руки прежде, чем его заметят официальные власти, он мог рассчитывать натерпеться много крупных неприятностей; целью его бешеной скачки было как можно скорее прискакать в город и попасться на глаза если не Гусейн-Бека, то кого-нибудь из его подчиненных. Вот еще раз ему пришлось перебираться через речку. С плеском раступилась прозрачная горная вода; дико фыркая, конь в два прыжка вскарабкался на противоположную сторону; толстое бревно лежало поперек дороги, густые зеленые ветви топорщились во все стороны. Аргамак на минуту остановился, и мигом несколько рук ухватило за поводья; разгоряченный бегом, конь взвился и перелетел через препятствие. Нурмед

¹³⁶ Заимствовано мною из личного рассказа Нурмеда о его ургутских похождениях. (Здесь и далее комментарии Н.Н. Каразина.)

вырвался и оставил в руках державших полу своего пестрого бешмета. Узкая улица, по которой он несся, извивалась по берегу. Вдруг целая баррикада, сложенная из свежесрубленных бревен во всю ширину, загородила ему дорогу; раскакавшийся конь разом стал, как вкопанный, раздув широко ноздри и наострив маленькие уши. В несколько секунд Нурмед был окружен густою толпою народа, которая с криком и ругательствами тащила его с лошади. Но уже несколько красных халатов, беспощадно прокладывая себе дорогу плетями, пробивались к остановленному парламентарю; повелительные крики «оставить! прочь! не трогать!» успокоили толпу. Нурмеда окружили и, отобрав у него лошадь и оружие, пешком повели к Гусейн-Беку по кривым улицам города. Густая толпа сопровождала его вплоть до ворот цитадели, где помещался бек. Дорогою Нурмед успел заметить, что жители не питали дружественных чувств к русским и деятельно готовились к энергической обороне. На каждом перекрестке устраивались сильные завалы: стук топоров звонко раздавался в вечернем воздухе. Женщины и дети спешно укладывались; тяжело навьюченные ишаки, лошади и даже коровы поминутно попадались ему навстречу; все спешило в горы, предоставляя мужчинам защищаться в пустом городе. Лавки базаров плотно запирались досками и железными болтами. Почти все жители ходили вооруженные, хотя огнестрельного оружия было очень мало заметно; но зато всевозможные батики, топоры, даже кетмени, назначенные собственно для мирных работ, все было употреблено в дело, и озлобленные жители, взобравшись на плоские крыши сакель, свирепо глядели вдаль, на белевщиеся далеко на горизонте русские палатки. Все мечети были отперты; оттуда несло заунывное причитывание мулл, и в узорные двери один за одним входили суровые мусульмане, оставляя у входов свои остроконечные туфли.

С каким страшным, фанатическим озлоблением относились жители к бедному Нурмеду, и ведшим его сарбазам стоило немалых усилий удерживать народ от чересчур уже крупных оскорблений. Особенно женщины отличались на этом

поприще; они, как разъяренные кошки, кидались на конвой, пытаясь пробиться к Нурмеду; приподняв свои покрывала, они плевали ему в лицо, швыряли кусками грязи и даже камнями, так что даже сарбазы выходили из себя и пускали в дело узкие приклады своих фитильных мултуков. Наконец массивные, окованные железом ворота цитадели, пропустив, кого следует, захлопнулись перед самым носом шумящей толпы, и Нурмед вздохнул свободней.

Через чисто вымощенный двор провели парламентаря в отдельный дворик, где помещался сам Гусейн-Бек; в просторной, устланной коврами сакле сидел он сам со своими приближенными. Это был еще молодой человек с бледным, растерянным лицом; он, казалось, был взволнован до последней степени; покрасневшие, как будто от слез, глаза беспокойно бегали от одного лица к другому. При входе Нурмеда он смутился еще более, и бесцветные губы его странно зашевелились; он даже пытался приподняться, но костлявая рука рядом сидевшего старика, с патриархальным лицом и седою окладистой бородою, опустилась на его плечо, и бедный Гусейн как-то съежился и, опустив глаза, старался избегать смотреть на спокойного и пристально глядевшего на него посланца.

Сидевшие в сакле сурово встретили Нурмеда; ему указали на место около самой двери, и Нурмед, отдав привезенные письма, уселся на коврик, поджав под себя ноги, по местному обычаю. Медленно, с подобающей важностью, печати были вскрыты, и письма прочитаны вслух. По прочтении писем минут на пять воцарилось общее молчание; потом, по приказанию старика, Нурмеда подняли, вывели из сакли, связали руки за спиною бумажным кушаком и бросили в углу двора, приставив к нему караул из пяти сарбазов с обнаженными кривыми саблями. Между тем по поводу писем началось оживленное совещание.

Недолго продолжалось это совещание. Нурмед слышал, почти до последнего слова, все, что говорилось в сакле. Голос самого Гусейна раздавался изредка и то как-то нерешительно,

но зато резкий старческий крик какого-то фанатика покрывал собою остальной говор. Нурмед понял, что никакие соглашения невозможны: русским письмам и уверениям в желании мира не доверяли вовсе. Вызов Гусейн-Бека в Самарканд они считали просто хитрой уловкой, желанием заманить только в свои руки слабого правителя. Все были убеждены в возможности сопротивляться силой против горстки русских, а они успели уже заметить нашу малочисленность. Припоминались походы эмира на неприступный Ургут, всегда кончавшиеся неудачей для гордого повелителя Бухары; а что же после этого могли сделать русские? Ведь эмир приходил с войсками, которые покрывали собою все окрестные поля, сорок пушек гремели с утра до ночи, пушечный дым закрывал солнце, а ничего не сделано было Ургуту, ни один враг не заходил в его каменные ущелья. Русские же пришли с малым числом солдат и привезли с собою всего четыре пушки, да и то маленькие. А между тем за степями цитадели слышен был глухой, озлобленный говор собравшегося народа: жители требовали битвы. Муллы в мечетях громко призывали всякие беды на головы неверных и предсказывали, что Аллах покроет позором русское войско, и храбрые мусульмане снова будут торжествовать в своем, любимом Аллахом и всеми пророками, городе. Но вот послышались новые вопли, которые заставили побледнеть несчастного Нурмеда: народ требовал немедленной смерти посланника русских. Дело могло кончиться очень плачевно для бедного авантюриста, и Нурмед увидел, что пора начать действовать, а то уже будет поздно.

Связанный по рукам, он с усилием поднялся на ноги и потребовал, чтобы его снова ввели в саклю, говоря, что ему нужно еще сообщить нечто очень важное для Гусейн-Бека. Желание его было исполнено. Усевшись опять на своем прежнем месте, он начал заранее обдуманную речь.

Нурмед начал с того, что он сам истинный мусульманин, но что, вследствие несчастья и воли Аллаха, он попал в рабство к неверным. Что он не переставал думать как настоящий правверный и что он от всего сердца ненавидит русских и

искренно желает, чтобы Аллах ниспослал свои громы на их головы. После этого выступления он продолжал: «Я знаю, что вы храбры и что город ваш видел под своими стенами много могучих воителей, но во всяком случае рисковать не следует и надо осмотрительно приготовиться к столкновению с русскими, чрезвычайно искусными в военном деле. Я знаю, – говорил он, – что Джюра-бек шахрисябзский уже спешит к вам на помощь, но придет он не ранее, как завтра ночью, а то даже и послезавтра утром. Вам непременно надо выиграть время и покуда деятельно укрепляться в улицах и молиться Аллаху.

– О, с каким бы удовольствием, – продолжал он, заметив, что речь его начинает производить благоприятное для него действие, – пристроился бы я к вам, но это невозможно: русские узнают, что я остался здесь, подумают, что меня задержали силою, и сегодня же ночью ворвутся в город и внесут огонь и разорение в мирные дома его жителей». Тут он остановился на минуту и посмотрел на окружающую его публику. Все лица были мрачны, но смотрели на него менее зло, чем прежде; он почувствовал даже, что кушак, связывающий ему руки, заметно ослаб и, наконец, свалился вовсе. Руки Нурмеда были совершенно свободны; тогда он продолжал: «Есть средство заставить русских в бездействии прождать день и даже более под стенами Ургута. Очень может быть даже, что они отступят вовсе. Вот это средство. Русский начальник требует, чтобы Гусейн-Бек выехал к нему в лагерь; этого делать не следует. Русские коварны, и благородного Бека может встретить там какое-нибудь несчастье; но разве нет кого-нибудь, который бы взял на себя назваться Гусейн-Бекем и ехать к русским? Там не узнают обмана и с мнимым Бекем поступят так, как поступили бы с настоящим, если бы Гусейн сам, доверившись слову русских, поехал бы лично в лагерь гяуров. Таким образом, вы увидите сами, насколько можно верить русским, и выиграете время, необходимое для того, чтобы дожидаться прибытия Джюра-Бека. Между прочим, я сам лично заявлю, что приехавший в лагерь есть, действительно, Гусейн-Бек, и это еще более ослепит русских и не даст им заметить подлога».

Речь эта понравилась всем, особенно довольны были предложенной выдумкою заменить Гусейн-Бека. Фанатика, согласного на этот подвиг, было найти нетрудно. Перед Нурмедом поставлено было блюдо плова, и накинут ему на плечи узорный халат из полосатого адраса. Через час, не более, все было готово к отъезду в лагерь, и когда Нурмед снова сел на своего аргамака и забрал возвращенное ему оружие, то уже совершенно стемнело. Небольшая группа всадников, с подложным Гусейн-беком и гарцующим впереди Нурмедом, медленно пробиралась по улицам сквозь густые толпы волнующихся жителей, осторожно объезжая завалы и наскоро вырытые ямы. Выехав из города, они поехали крупною рысью. Мнимый Гусейн-бек, который оказался стариком лет восьмидесяти, в богатом шелковом халате и необъятной белой чалме, кульком тряся на высокой лошади под ковровой попоной. Вся публика ехала молча, один только Нурмед не переставал говорить, давая всем советы, как надо держать себя с русскими вообще, а в особенности с начальником отряда. Скоро их окликнули передовые посты казачьей цепи, но, узнав Нурмеда, пропустили далее. Я забыл сказать, что ургутские муллы не забыли привести Нурмеда к строгой присяге перед кораном в том, что он не изменит им и не откроет обмана, но Нурмед оказался в этом случае истинным сыном девятнадцатого столетия. Впрочем, сам Нурмед не говорил ничего о своей присяге, и это сведение получено со стороны, от одного из уцелевших ургутских жителей.

Палатка, где происходило заседание, была освещена двумя или тремя стеариновыми свечами; ночной ветер, врываясь в отпахнувшиеся полы, поминутно колыхал бледное пламя, вследствие чего свет был неровный, мерцающий, и трудно было подробно рассмотреть черты и выражение лиц прибывших. Ближе всех сидел псевдо-Гусейн; его жалкое морщинистое лицо виднелось только до половины из-под кисейной чалмы; старческие тонкие губы шевелились, как будто пережевывая что-то, открывая по временам беззубый рот с бледными деснами. Рядом с этим старцем, почти прислонившись

к нему плечом, сидел узбек с большой окладистой черной, в смоль, бородой, и с длинными нависшими бровями. Он-то и говорил больше всех, отвечая на все вопросы, предложенные даже самому Гусейну. Двое остальных почти не принимали участия в разговоре; они беспокойно перешептывались между собою, бросая робкие взгляды во все углы палатки. Приезжие сразу показали себя очень плохими актерами. Впрочем, им дали успокоиться и ободриться; по крайней мере, с четверть часа им не давали заметить, что обман их открыт. Наконец им объявили об этом.

Заседание окончилось; вся публика разошлась по палаткам: к прибывшим приставлен караул; им сказали, что они проведут эту ночь в лагере, а там, на другой день, будет видно, как поступить с теми, кто решился на подлог, вместо того чтобы вести честные переговоры.

Между тем по лагерю пронесся слух о том, что в ночь готовится сильное нападение на наш отряд. С вечера на горизонте виднелись большие конные толпы, которые обходили нас и занимали в тылу наши сообщения с Самаркандом. Приняты были все меры, предписываемые осторожностью.

Ни одной звездочки не было видно на небе; густые тучи выползли снова из ущелий и затянули все небо: по временам налетали резкие порывы ветра, парусили солдатские палатки и взметали из-под ротных котлов огненные снопы разлетающихся искр.

В эту ночь я был назначен дежурным по отряду. На моей обязанности лежала, между прочим, проверка постов и караулов. Часу в первом пополуночи я окончил объезд по цепи и возвращался в лагерь от самого дальнего конного пикета, верстах в четырех от лагеря, по ургутской дороге. Я не следовал всем изгибам дороги, а ехал напрямик, направляясь на лагерные огни. Моя лошадь шла положительно ошупью; я совершенно доверился инстинкту коня и пустил свободно поводья уздечки. Умное животное вытянуло шею, наострило уши и осторожно подвигалось вперед, слегка пофыркивая. Таким образом, я ехал минут десять. Вдруг конь мой остановился,

громко всхрапнул и попятился назад; я перегнулся в седле и пристально стал вглядываться в темноту; ясно было, что впереди находится какой-то предмет, пугающий моего Орлика; это не могло быть что-нибудь обыкновенное – куст, арык, какой-нибудь выдавшийся камень или что-нибудь подобное; я хорошо знал своего испытанного коня, и потому отстегнул пуговку револьверного кобура и освободил оружие. Сколько я ни всматривался в темноту, я решительно не мог ничего заметить. Впереди, шагах в трех, виднелось как будто бы несколько кустов, я даже слышал шелест веток, шевелившихся от ветра; больше я ничего не видел подозрительного; я тронул легонько коня, который слегка вздрогнул от прикосновения шпор и тронулся вперед, но заметно нерешительно, и вдруг, круто повернув на задних ногах, стремительно скакнул раза два, так что я едва усидел в седле. В эту минуту я услышал хриплый голос, который что-то причитал непонятное, мне даже показалось, что-то похожее на плач, по крайней мере, я ясно слышал судорожное всхлипывание. Я громко окликнул. Едва только раздался мой голос, как невидимое существо пронзительно вскрикнуло и бросилось бежать от меня, что слышно было по шуму удаляющихся шагов. В этом отчаянном крике я узнал женский голос; в этом нельзя было сомневаться – пронзительная, раздирающая душу, полная смертельного испуга нота еще дрожала в воздухе. Я не кинулся преследовать это странное существо; это ни к чему бы не повело, да и было положительно невозможно: в этой темноте, на местности, изрытой и заросшей, я десять раз мог бы сломать себе шею прежде, чем поймал бы эту странную незнакомку. Я тронулся дальше, все направляясь на огни, и через четверть часа был уже около своей палатки. Отдав коня вестовому, я завернулся в шинель и лег на ковре, рассчитывая соснуть час до нового объезда по цепи.

Не успел я хорошенько задремать, как меня разбудил грубый солдатский голос: «Ваше благородие! Ваше благородие!» Я открыл глаза. Передо мною стоял солдат в амуниции, с ружьем и в накинутой на плечи шинели; он прибежал из цепи.

– Что случилось? – спросил я его.

– Там в цепи «притча», ваше благородие! – отвечал он, указывая рукою по направлению левого угла лагеря.

– Какая притча? Что за вздор!

– Не можем знать, ваше благородие! Так прямо на часовых и лезет; пробовали отогнать – кусается, окаянная; кто ее знает, что такое!

Я вскочил и пошел вслед за солдатом, который побежал впереди, указывая дорогу.

Там, на дальнем конце лагеря, пылал яркий огонь; солдаты жгли сухую прошлогоднюю колючку: пламя взвивалось высоким столбом, освещая вокруг довольно значительное пространство. Группа солдат, с громким говором и смехом, стояла вокруг чего-то, привлекающего общее любопытство. Когда я подошел, солдаты расступились, и я увидел странное существо.

Это была женщина, еще не старая, высокого роста и чрезвычайно худая. На голове у нее ничего не было; черные с проседью волосы длинными прядями падали в беспорядке; она поминутно поправляла их длинными, костлявыми пальцами. Большие круглые глаза смотрели на огонь совершенно бессмысленно; красный рот, с белыми ровным зубами, был искривлен улыбкой, но улыбкой безобразной, без всякого выражения: так улыбаются идиоты. Женщина сидела на корточках около огня и дрожала, как в лихорадке. Остатки полосатого халата едва держались на плечах; обе груди были обнажены совершенно. Она то напевала себе под нос что-то монотонное, то плакала, то смеялась. Она была сумасшедшая, в этом нельзя было сомневаться. Вдруг она пристально взглянула на одного из солдат и, как кошка, прыгнула к нему, вытянув руки; испуганный солдат отскочил и выронил при этом из рук кусок хлеба. Безумная вцепилась в этот кусок и с какою-то неестественною жадностью принялась его грызть и глотать, почти не прожевывая куски. Она была голодна: она, верно, несколько дней ничего не ела. Я тотчас же послал на кухню за кашей, а сам начал допрашивать ее, с помощью солдата-переводчика.

Впрочем, все мои попытки остались бесплодны – я не узнал ровно ничего. Безумная, видимо, ничего не понимала, и я прекратил расспросы. Солдаты толковали между собою и, как казалось, недружелюбно относились к этому визиту.

– Прикидывается, ведьма, – говорили они. – Знамо, прикидывается. Подослали, чай! Таперича ее до утра никак нельзя выпускать из лагеря. – Чего выпускать, пришибить, да и все тут!

– Ишь ты, пришибить! А ну-ко-сь, поди пришиби; чай тоже человек!

Я видел, что эту женщину нельзя оставить на попечение такого караула, и велел отвести ее на главную гауптвахту: там ее накормили и оставили до утра. С рассветом ее вывели из лагеря. Она медленно побрела к горам, ковыляя по высокому бурьяну.

Рано утром, еще до солнечного восхода, отряд наш уже был на ногах. Пехотинцы оставили на повозках шинели и сухарные мешки и в одних рубашках выстраивались перед лагерем. Палатки были сняты; обоз запрягал лошадей и вытягивался на дорогу. Решено было сделать еще одну, последнюю попытку уладить мирно с Гусейн-беком, а затем, если не удастся, штурмовать Ургут сегодня же.

Вывели из палатки мнимого Гусейн-бека с товарищами; они провели мучительную ночь в ожидании наутро достойного воздаяния: они были уверены, что им утром отрежут головы. Когда им привели их лошадей и велели ехать в Ургут, они не хотели верить и думали, что над ними смеются. Полковник А-в приказал им передать Гусейн-беку, что если он не выедет переговорить лично с начальником русского отряда через два часа, то русские пойдут к Ургуту. Послы медленно выехали из лагеря, но едва только они проехали последних часовых, как пригнулись к седлам и во всю конскую прыть понеслись к городу. Только тонкая полоса пыли стлалась по дороге вслед за быстро удаляющимися всадниками.

Между тем отряд тронулся к Ургуту. Солдаты, подгоняемые утренним холодом, шли ходко, с песнями; казаuchy ору-

дия рысили между ротами, в обозе скрипели и визжали немазаные колеса арб; арьбергартная рота, составив ружья, ждала, когда последняя повозка выберется на дорогу. Начальник отряда поехал вперед с казачьей сотней, с ним поскакали и несколько офицеров.

Едва мы отошли версты две от места ночлега, как заметили на всех окрестных холмах конные толпы. Место нашего лагеря тоже было уже занято неприятелем и, кроме того, по шахрисябской дороге из ущелья подвигалось большое пыльное облако. Нас положительно охватили со всех сторон, и, в случае неудачи под Ургутом, мы могли рассчитывать на самое неприятное отступление.

Перед началом ургутских садов находилась довольно значительная, но с пологими скатами, возвышенность; она вся была покрыта конными, и на самой вершине пестрело несколько ярких значков. Отдельные всадники джигитовали шагах в трехстах, даже менее, перед нашим авангардом; иные совершенно неожиданно выскакивали из незаметных, заросших бурьяном лощин, почти перед самым фронтом, гикали и стремглав неслись назад, чертя круги своими длинными пиками. Впрочем, ни одного выстрела не было сделано ни с той, ни с другой стороны; это была прелюдия, могущая окончиться еще мирным образом. Неприятель, видимо, давал нам заметить свои силы, рассчитывая, что мы будем, вследствие этого, уступчивее в своих требованиях.

Мы все продолжали подвигаться вперед; передние толпы неприятеля отходили при нашем наступлении, задние же неотступно следовали за нами. Не доходя полутора верст до начала садов, мы остановились и перестроились в боевой порядок: три роты стали в первую линию, стрелки рассыпались в цепь, а остальные роты составили резерв и прикрытие обоза, который сворачивался в густую колонну, по столько повозок в ряд, сколько позволяла холмистая и сильно изрытая местность. Орудия, не снимаясь с передков, заняли места на небольшом холме, несколько впереди первой линии. Вообще позиция была довольно удачная; ургутские сады были видны

как на ладони, на зубчатой вершине цитадели что-то дымилось, по садам пестрели густые толпы пешего народа.

Наш маневр произвел оживленное движение в массах неприятеля: заволновались нестройные толпы, и глухой гул пронесся по окрестностям. Значки отступили к садам, и оттуда показалась небольшая отдельная кавалькада, которая поскакала прямо по направлению к георгиевскому значку начальника нашего отряда. Оказалось, что это были вчерашние знакомцы; они ехали с окончательным ответом к полковнику А-ву.

От этих послов мы узнали, что Гусейн ни под каким предлогом не выедет к русским. Ургутцы явно дали нам заметить, что нашим словам и обещаниям они не доверяют вовсе. Начальник отряда настаивал на своем требовании; это оказалось совершенно бесполезным. Послы говорили: «Мы видим, что вы хотите битвы; что ж, пусть Бог решит, кто из нас правее. Впрочем, мы видели и не таких под нашими стенами. У нас в книгах сказано, – продолжали они, – что сам Тимур-Ленк приходил с мечом и огнем в наши горы, но Бог не допустил до гибели свой любимый город и покрыл стыдом войско Тимура. Идите лучше с Богом домой и скажите своему губернатору, чтобы он оставил в покое нашего бека».

Так говорили послы, а конные массы неприятеля все прибывали и прибывали; казалось, все окрестные села и местечки восстали и выслали своих вооруженных жителей на помощь Ургуту. Мы предчувствовали, что нам придется иметь горячее дело. Мы не давали много значения тем конным толпам, которые сновали у нас в тылу и на флангах: мы по опыту знали, что, как бы ни было многочисленно это скопище, оно не решится всею массою нахлынуть и раздавить наш отрядик, а это было бы очень не трудно: неприятеля было, наверное, более двадцати тысяч, а у нас не набиралось и семисот человек. Ружейный огонь всегда удержит в почтительном отдалении джигитов, и одной роты будет совершенно достаточно, чтобы прикрыть как наш обоз, так и тыл штурмующего отряда. Но в садах, где ургутцы будут драться на своем родном пепели-

ще, где каждая сакля, каждый садик, обнесенный глиняным забором, могут служить прекрасным укреплением, наконец, в самом городе, где жители имели время подготовиться к обороне и баррикадировать улицы, здесь, мы знали, что встретим жестокий отпор, и много надо будет усилий, чтобы опрокинуть столько, по-видимому, непреодолимых препятствий. А между тем надо было во что бы то ни стало сломить строптивый город; отступить без штурма было бы слишком рискованно: мы могли бы много потерять в этом крае, где мы, с своею малочисленностью, только и держимся каким-то чарующим обаянием нашей непобедимости.

Послам велено было ехать обратно и сказать, что еще час мы даем на размышления и что ровно через час, если не получим ответа, откроются с нашей стороны военные действия.

В ожидании сигнала к наступлению роты стояли настоуже, готовые двинуться по первому знаку. Рассыпанные в цепи стрелки прикладывались от скуки, конечно, примерно, в кое-каких слишком подозрительно подъезжавших всадников; это движение заставило джигитов мигом поворачивать лошадей и, вплотную пригнувшись к седлу, удирать во все лопатки: солдаты хохотали и острили по-своему, а знавшие туземный язык посылали вдогонку разные приветствия, конечно, самого нецензурного свойства. Особенно отличался в этом один молодой человек, еще безусый; он, приставив руки ко рту трубою, во все горло выкрикивал весь репертуар национальной брани и от души заливался звонким, почти детским смехом, когда его усилия увенчивались успехом, и издалека доносился ответ такого же грязного свойства.

Вообще, наши солдаты большие любители всевозможных домашних животных, особенно собак, и при ротах обыкновенно бродят целые прикормленные стаи. В курс дрессировки, главным образом, входит бросаться на сартов, и надо видеть, с каким остервенением нападают ротные псы на всякую личность, показавшуюся в долгополом туземном костюме. В настоящее время более сотни всевозможных Волчков, Белок, Арапчиков и Куцок носились перед цепью, храбро на-

летали на ближайших джигитов и, свирепо прыгая, хватали за хвосты лошадей и за полы халатов, ловко увертываясь от сабельных ударов. Наши боевые псы, – я смело даю эпитет боевые, – с успехом разыгрывали роль фланкеров и потешали солдат, служа бесконечною темою острот и веселой, оживленной болтовни.

– Таперича, братцы, – говорили они после дела, – надо Куцего и Валетку тоже наградить!

И солдаты с любовью поглаживали по мокрым, мохнатым мордам прибежавших и виляющих хвостами псов. А между тем данный на размышление час приходил к концу. Орудия снялись с передков, и канониры прилаживались уже к прицелу, поглядывая, ловко ли придется. По линии пронеслась команда: «становись!» Шутки и смех замолкли разом; солдаты сняли шапки и перекрестились.

Вдруг из-за пригорка, который находился не более как в двухстах шагах от крайней роты, показались беглые дымки, несколько пуль с визгом пронеслись над колоннами, и в ту же минуту отчетливо послышались команды: «Картечь, первая!» В самую середину большой конной толпы, рассекая воздух со свистом и шуршанием, врезалась картечь и запрыгала, рикошетируя по каменистой почве; другой выстрел направлен был туда же. Застонала окрестность от конского топота и заунывного гиканья; в облаках беловатой пыли неслись тысячи всадников, очищая нам путь перед фронтом и охватывая наши фланги; загнулись концы стрелковой цепи, крайние роты выслали по полувзводу в цепь, и на флангах мигом зарокотала оживленная перестрелка. Размахивая в воздухе саблями и стреляя на ветер, конечно, из своих фитильных мултуков, ургутцы, как черти, появились вокруг нашего отряда с громкими криками: «Ур! ур!»¹³⁷. Трудно представить себе что-нибудь более неприятное и заунывное, чем воинственные вопли азиатов; каждый не кричит своим обыкновенным голосом, а старается взять фистулой как только можно высокую ноту, поэтому общий клик кажется каким-то стоном и пла-

¹³⁷ Бей! бей!

чем, в котором слышатся порою отдельные пронзительные взвизгивания.

То там, то сям барахтались на земле сброшенные всадники; уже много коней, с растрепавшимися, сбитыми под брюхо седлами, скакали, путаясь в порванной сбруе. Расстояние между нами и неприятелем становилось все более и более: картечь и ружейный огонь охладили несколько воинственный жар, и ургутцы со своими союзниками обратились к обыкновенной своей тактике: держаться подальше от проклятых белых рубашек (ак-кульмак¹³⁸), так чтобы выстрелы наши не достигали до правоверных, и издали дожидаться, когда Аллах напустит страх и ужас на гяуров и обратит в бегство беспокойных пришельцев. Вот тогда бы они показали себя. Сидя на не знающих устали конях, с своим неукротимым зверством и опьяняющей страстью к резне, они составляли превосходное войско для преследования разбитого неприятеля; можно смело ручаться, что очень немного из беглецов спаслись бы от смерти, да и то каким-либо чудом разве. Глядя на эти бесчисленные толпы, мне не раз приходила в голову мысль, что плохо пришлось бы нам, если б хоть раз мы потерпели крупную неудачу, такую неудачу, которую можно было бы назвать поражением.

Как скоро картечь очистила нам дорогу к Ургуту, мы тронулись вперед. Мы шли тремя колоннами, направляясь на ближайшие сады. По дороге нам попадались раненые и убитые люди и лошади; те, кто только не был ранен смертельно, старались спрятаться от нас при нашем приближении, иные ползли по высокой траве, оставляя широкие кровавые следы; иные, стиснув зубы и подавив в себе мучительный стон, прикидывались мертвыми; сарты боялись, чтобы мы не начали, по дороге, пришибать тех, кто еще жив и шевелится; впрочем, они имели основание бояться этого. Конечно, этого не могло случиться в данную минуту: люди шли в строю, в полном порядке, офицеры были на своих местах, и подобного зверства

¹³⁸ Так называют они наших солдат за их обыкновенный костюм.

не могло быть допущено, но в минуту разгара штурма, когда немислим никакой надзор над отдельными действиями каждого солдата, это может случиться. Сколько раз случалось, что после какого-нибудь кровавого эпизода не было ни пленных, ни раненых, были только убитые. Попадались и кони, у которых картечь вырвала чуть не все внутренности; несчастные животные пытались приподняться, но, обессиленные, с тяжелым храпом снова падали на землю. А наши роты все шли и шли. Вот уже перебрались через кремнистую речку, уже близко серые стенки, за которыми беспокойно забегали сотни пестрых голов. Орудия взяли на передки и шли за нами; иногда они снимались и пускали в сады гранаты через наши головы, подготавливая нам штыковое дело. Немного не доходя садов, пущено было несколько картечных выстрелов; пыль от глиняных стенок, взбитая картечью, смешалась с дымом неприятельских выстрелов. С страшным криком отхлынули нестройный массы и, неловко прыгая, в своих тяжелых халатах, через стенки, очищали переднюю линию ограды. Вот в эту-то минуту наши крикнули «ура» и бегом бросились за отступающими. Скоро все скрылось и перемешалось в массах зелени. Отдельные выстрелы, недружные, урывчатые крики ура! вопли ур! ур! и мусульманская ругань, – все слилось в какой-то дикий хаос звуков, и только отчетливый огонь наших винтовок да резкие, дребезжащие звуки сигнальных рожков, подвигаясь все далее вперед и вперед, указывали приблизительно направления, по которым шли штурмующие роты. Здесь уже нельзя было видеть ничего общего, все распалось на отдельные эпизоды, и только после дела из разных рассказов можно было составить себе подробный отчет о самом ходе ожесточенной схватки.

Наши стрелки как шли цепью, так и ворвались в сады, разбившись по два и по три звена, где как случилось; сомкнутые роты шли по узким улицам, заваленным баррикадами из свеженарубленного леса.

В тесном проходе, между двух высоких садовых стен, в густой тени от нависших над самыми головами фруктовых

деревьев сжалась одна из рот. Солдаты, запыхавшись, с красными, облитыми потом физиономиями, с трудом пробирались по заваленной камнями и хворостом дороге. Из-за стен валились камни и бревна, на деревьях вспыхивали дымки выстрелов; наши изредка отвечали, спеша пробежать это опасное пространство. Вдруг пронесся говор: «майор убит, майора ранили». Я поспешил протискаться, верхом, сквозь толпу к месту, где я заметил серую лошадь майора Г-га, которая без всадника уже билась и фыркала в руках растерявшегося жидка-горниста. Майор Г-г лежал на земле, растянувшись во всю длину своего богатырского роста: его прекрасная светло-русая борода была окровавлена, по белому кителю тянулись ярко-красные полосы. Наш доктор, который на своей маленькой лошаденке, вооруженный простою форменною шпашонкой, всегда находился во главе атакующих рот, уже сидел на корточках около раненого и забинтовывал ему голову. В несколько секунд перевязка была окончена, Г-го подняли и подвели ему лошадь; с помощью солдат он довольно твердо сел на седло и тронулся вперед. Я подъехал к доктору П-ву, который уже садился, кряхтя, на свою рыжатку, и спросил его: «ну что?»

– Плохо, – отвечал он вполголоса, – у самого виска; пуля там. Крепится покуда, горяч больно да и сила медвежья!

И П-в, погнав лошадь плеткой, рысцой догнал Г-га и поехал рядом, посматривая изредка на его завязанную голову.

Замявшаяся на минуту рота снова бросилась вперед. Один полувзвод, поднявшись с помощью товарищей на стену, перелез в сад, из которого больше всего беспокоили нас обороняющиеся; за стенкою закипела горячая схватка. Уругтцы приняли наших в батики; это оружие допотопное, но, тем не менее, могущее наносить чувствительный вред; оно состоит из чугунной с острыми шипами шишки, насаженной на длинное, гибкое древко. Одно из звеньев цепи, зарвавшись слишком вперед, было со всех сторон окружено густою толпой сартов. Мы видели эту небольшую кучку, всего в восемь человек, прижавшуюся к полуразвалившейся сакле. Стрелки с трудом

отбивались от расвирепевших нападающих; ружья были разряжены, вновь заряжать не было никакой возможности, и усталые, измученные солдаты, собрав последние усилия, отмахивались штыками и прикладами от целого града батиков, кетменей и даже просто палок, которыми были вооружены уругтцы. Почти у всех уже были разбиты головы, и липкая кровь текла по лицам и слепила глаза защищавшимся: трое уже лежали ничком на земле; одного из солдат сарты успели оттащить баграми от товарищей и буквально домолачивали батиками. Но с улицы было уже замечено критическое положение зарвавшихся: человек двадцать солдат бежали врасыпную на помощь. Впереди всех, прыгая через заборы и срубленные деревья, без шапки и размахивал руками, шел молодой офицер атлетического сложения; он много опередил бегущих солдат и ринулся с разбега в густую толпу сартов; он разметал ближайших и уже пробился к стрелкам; как вдруг тяжелый батик опустился ему на голову, и Б-ский, вздрогнув, повалился на землю. В эту секунду загремели чуть не в упор направленные выстрелы, и началась бойня. В несколько секунд по всем углам сада, под стенами, в густой траве – всюду корчились и дико стонали заколотые сарты. Солдаты положительно вышли из себя; вид наших израненных стрелков доводил их до бешенства.

А между тем штурмующие прошли уже предместья и ворвались в самый город. Здесь истощилось уже мужество защитников, и они, бросаясь при нашем приближении за валы и баррикады, в ужасе спасались из города. По всем плоским крышам сакель виднелись развевающиеся халаты бегущих; иные останавливались на всем бегу и, как пораженные молнией, падали враспяжку; их догоняли наши шестилинейные пули. Из-за угла, сбив с ног двух или трех солдат, неслась перепуганная, дико храпящая лошадь; седло было сбито и окровавлено; около коня, запутавшись ногою в стремяни, волочился обезображенный труп; голова, разбитая совершенно вдребезги, щелкала о камни. Это был, вероятно, кто-нибудь из важных сановников, судя по остаткам дорогого бархатно-

го халата и богато вышитой попоне, покрывавшей бухарское седло.

Дикий стон и отчаянные вопли носились над городом. Все бежало, очищая узкие улицы. На главной дороге, ведущей к городскому базару, были устроены такие баррикады, разбирать которые пришлось бы слишком долго; но вдоль улиц, с шумом, прыгая по камням, катился горный ручей, и баррикадированы были только берега его; солдаты спускались в воду и брели по поясу, сгибаясь под мостами. Таким образом выбрались на улицы, ведущие к цитадели Ургута.

Даже в цитадели, объятые паническим страхом, ургутцы не хотели защищаться. Ворота были открыты; их хотели было затворить бежавшие, но, вероятно, не сумели сделать этого: одна половина ворот, сколоченная из массивных бревен, тяжело скованных железом, сорвалась с крюков и наискось повисла на петлях.

Цитадельные дворы были вымощены плитами, сложенные из камня стены сакель красиво украшены пестрою мозаикой и разрисованы яркими красками. В угольном дворике раскинулся роскошный виноградник, поднятый на подставках, в тени которого помещался белый мраморный бассейн в виде колодца, аршина в три глубиною, наполненный до краев превосходной, прозрачной, как стекло, водою. У стен под навесами были расположены кухни, вероятно, самого бека: громадные медные котлы, вмазанные в глиняные очаги, стояли рядами; некоторые были до половины наполнены остатками шурпы и плова¹³⁹. Всюду видны были следы самого поспешного бегства.

На крыше самой высокой, господствующей над всем городом сакли поставили ротные значки; все наличные горнисты и барабанщики расположились там же и грянули сбор, чтобы собрать рассыпанных по городу солдат. В главной сакле разостлали несколько здесь же добытых ковров и на них положили раненого Г-га, который все время был в голове отряда и одним из первых добрался до цитадели.

¹³⁹ Национальные блюда азиатов.

Он был очень истощен потерей крови и жаловался на шум в голове и на боль, увеличивающуюся еще от невыносимой трескотни барабанов и визга сигнальных труб. П-в сделал еще раз более аккуратную перевязку, и больной несколько успокоился. Начали понемногу сносить раненых наших солдат; почти все раны были холодным оружием, но раны, нанесенные кетменями, были положительно ужасны; я видел одного, получившего удар кетменем по лопатке: кость была совершенно расколота надвое, и железо прошло насквозь, раздробив даже противоположные ребра. Этот раненый умер через несколько минут.

Я забрался на одну крышу. Отсюда ясно был виден весь Ургут: можно было видеть изгибы всех улиц города. Все окрестные возвышенности были покрыты толпами бежавших жителей. Большие стада угонялись в ущелья. Наш обоз втягивался в сады, и издалека белелись рубашки арьергардной роты.

Мне приказано было поехать навстречу к начальнику отряда, который должен был находиться в настоящую минуту с орудиями и резервом при въезде в город. Я отыскал свою лошадь и поехал. При въезде из цитадельных ворот я увидел страшную картину: целая куча тел, наваленных одно на другое, загородила почти весь проезд; некоторые были еще живы и страшно корчились в предсмертной агонии; ватные халаты дымились и тлели: видно было, что выстрелы по ним сделаны были почти в упор. Группа солдат, составив ружья, стояла тут же, делая при этом кое-какие замечания; два офицера крутили папиросы и говорили что-то о разнице между бухарскими и хивинскими коврами. Я не видел этих тел прежде; сколько я помнил, в самой цитадели мы не встретили ни одной души. Я поинтересовался узнать, откуда взялись эти убитые, и мне рассказали следующее.

Под воротами, в одной из боковых стен, находилась маленькая дверь, ведущая в темное помещение. Когда наш караул занимал посты в цитадели, между прочим, и в воротах, то на эту дверь не было обращено никакого внимания. Уже

расставлены были часовые, и караул расположился как дома; вдруг неожиданный выстрел загредел под воротными сводами, густой дым повалил из незамеченной двери, и один из караульных солдат, раненный в спину, вскрикнув, присел на ступени лестницы. Наши бросились к предательской двери, но оттуда раздалось еще несколько выстрелов; тогда солдаты, в свою очередь, принялись стрелять в темное пространство, и ни один выстрел, несмотря на то, что пущен был наудачу, не пропал даром. Сперва послышались бранные, озлобленные крики, потом все затихло. Тогда наши, вооружившись длинными баграми, которые стояли в углу, неподалеку от ворот, принялись вытаскивать осажденных, и на свет стали появляться, одна за другою, растерзанные фигуры в красных и синих халатах.

Сиди сарты спокойно в своем убежище – на них никто бы не обратил никакого внимания; но уже такова азиатская натура, так велико фанатическое озлобление, что не хватило сил, чтобы утерпеть и не послать пули в спину зазевавшегося гяура.

Я поехал далее. Улицы были так узки и так неровно вымощены крупным камнем, притом повороты были до такой степени круты и неожиданны, что нельзя было и думать провезти в цитадель наши орудия. Часто попадались мне наши солдаты в изорванных рубашках, с усталыми донельзя лицами; платье и руки у многих были выпачканы кровью; они спешили в цитадель, направляясь на бой барабана. Скоро я выбрался к базару. Здесь улицы пошли шире, кое-где были перекинута плетеные навесы. Базар расходился на несколько ветвей, которые после сходились снова в одну улицу. В одной из этих ветвей остановились наши орудия; они положительно не могли двинуться ни взад, ни вперед; за ними стеснились повозки обоза. Трудно описать, что происходило на базаре в эту минуту.

Еще подъезжая, я издали слышал крики, хохот, стук топоров и треск ломающихся дверей. В наказание за упорство жителей, базары велено было разорить дотла, и солдаты рев-

ностно принялись за эту веселую работу. Началось то, что на местном туркестанском наречии называется «баранта». Надо хоть раз видеть это, чтобы составить себе понятие, что это такое. Это не простой грабеж, корысть не играет здесь вовсе первостепенной роли; нет, это какой-то дикий разгул: все наше, а что не наше, так и ничье! Попалось фарфоровое китайское блюдо – об пол его. «Нешто потащишь его с собою»? – говорит расходившийся солдат, глядя, как звенят и прыгают по камням раскрашенные черепки. Здесь нашли чан с кунжутным маслом, туда лезут с ногами, чтобы несколько размякли заскорузлые от солнца и пыли сапоги. Там высыпана на улицу целая груда ярко-желтых и серебристо-белых коконов. Тут разбита лавка с красными товарами: солдаты целыми тюками расхватывают пестрые ситцы и полосатые адрасы; размотавшиеся, неловко захваченные куски волочатся по грязной улице. В стороне два солдатика сворачивают громадные узлы, с усилием стягивая концы ватного одеяла: они намерены тащить это в лагерь, и дотащат, если какой-нибудь встретившийся офицер не прикажет бросить всю эту дрянь. Вы думаете, что они с сожалением исполнят это приказание, выразят при этом неудовольствие или что-нибудь в этом роде? Ничуть. Они тотчас же послушаются и еще расшвыряют ногой узел, который они тащили версты полторы с таким громадным трудом. Все равно; они продали бы его за полтинник, много разве – за рубль. Я видел одного молодого солдата, который больше всех шумел, неистовствуя по разгромленному базару: тут он роется в кучах седельной сбруи, там перебирает медную посуду в чайной лавочке, через минуту разглядывает на свет готовый халат из яркой материи, но когда я, уже в лагере, спросил его, что же он притащил хорошего, то он с улыбкой показал на свои карманы, набитые кишмишом и урюком.

Впрочем, есть солдаты, особенно из евреев, которые барантуют, руководимые чисто меркантильными соображениями, те не довольствуются тем, что приносят сами, но еще за бесценок скупают баранту у других солдат и частенько составляют себе очень хорошие деньги. Подобные примеры случа-

ются в области, и почти все быстро разбогатевшие бессрочные солдаты обязаны своим богатством баранте.

Скоро я отыскал полковника А-ва; он находился у повозок с ранеными. Здесь я увидел и Б-го с перевязанной головой. Рана его оказалась неопасной, хотя и лишила его чувств в первые минуты. Я сообщил полковнику, что цитадель уже занята и что улицы так узки, что будет совершенно невозможно провезти туда орудия. Принимая это обстоятельство в соображение и, кроме того, не имея возможности поместить в цитадели весь отряд, так как там находилось место для одной роты, решено было к ночи выбраться из города, потому что иначе пришлось бы ночевать в улицах, растянувшись по бесконечным их изгибам, а это могло бы иметь очень вредные последствия, так как надзор за людьми, при таком положении отряда, был бы в высшей степени затруднителен, да и в случае ночного нападения на нашей стороне были бы одни только невыгоды. Занять же аванпостами крайнюю черту города было немыслимо при нашей малочисленности: мы едва могли бы оценить десятую часть городских окраин, и то израсходовав на посты всю пехоту.

Повозки, по одной, с большим трудом, выпрягая лошадей, начали поворачиваться и выходить из города, орудия сделали то же. Посланы были всюду приказания очищать городские улицы.

Место для лагеря выбрано было не более, как в полуверсте от начала садов, на ярко-зеленой пологой возвышенности, с которой мы начали, несколько часов назад, свою атаку. Тут же, невдалеке, протекал ручей, на котором были наскоро набросаны живые мостики. Влево, к самой горе, подходили роскошные поля, засеянные пшеницею. Вблизи ни одной рывины, ни одного куста, ничего, могущего скрыть подпалзывающих лазутчиков или кого-нибудь в этом роде; короче, место было превосходное.

Вся дорога от города к лагерю была занята еле двигающимися, тяжело нагруженными солдатами. Гнали ишаков, которые были до такой степени навьючены, что не видно

было ни ног, ни головы, двигалась какая-то безобразная куча. Забытые жителями коровы и телята, задрав хвосты, с ревом скакали, подгоняемые ружейными прикладами.

При всех отрядах, как бы они ни были малы, непременно находится два или три маркитанта, преимущественно из казанских татар; очень часто, что эти господа бывают агентами довольно значительных купцов в Туркестанском крае. У них можно найти бутылку фабрикованного хереса или марсалы, еще что-нибудь в этом роде, но, главным образом, целью маркитантов служит баранта. В разгар, из первых рук, маркитанты за чарку спирта приобретают целые вороха разных вещей, которые и продают после с барышом, о котором никакие в мире торговые дома не имеют даже понятия. Арбы хитрых татар нагружаются до такой степени, что трещат карагачевые оси и гнутся высокие колеса.

Кроме того, за хвостом отрядов тянутся, иногда на лошадях и ишаках, а иногда и просто пешком, оборванные байгуши-туземцы; у каждого из них непременно найдется несколько серебряной мелочи. Эти, как шакалы после тигров, скупают то, что оставлено маркитантами без внимания. Они рискуют иногда и сами барантовать в саклях, но за это часто слишком дорого платятся, потому что солдаты, не стесняясь, убивают эту сволочь, принимая их за сартов с неприятельской стороны; не помогают даже белые повязки на руках, которые эти шакалы навязывают себе в подражание джигитам-милиционерам.

Не успело еще стемнеть, как уже последние солдаты выбрались из Ургута и пришли в лагерь. Послали ротные повозки за дровами; ближайšie сакли были разобраны и привезены целые воза лесу. Сделана была тщательная перекличка, все раненые перевязаны, убитые похоронены тут же, в лагере. Это делалось, обыкновенно, таким образом: срезают осторожно дерн, потом вырывают яму и землю относят как можно подальше, чтобы свежавырытая земля не выдавала места, где зарыто тело; затем кладут труп, засыпают его и тщательно закрывают дерном. Это все делается так искусно, что реши-

тельно невозможно узнать место самой могилы, и предосторожность эта далеко не лишняя. Сколько раз случалось, что сарты разрывали неаккуратно скрытые тела и отрезывали головы, которые отвозились в Бухару, за что получались халаты и другие знаки монаршей милости эмира.

Когда совершенно стемнело, в лагере вспыхнула великолепная иллюминация. Почти каждый солдат принес с собою с базара связки сальных свечей. Эти свечи, расставленные тесными рядами по линиям лагеря, огненными линиями опоясывали место стоянки. Это была волшебная картина. А за погруженным в глубокую темноту Ургутом, сквозь тучи, закрывшие собою горные цепи, мелькали, на недостигаемой высоте, бледные огненные точки: это были ночные костры сбежавших ургутцев. С каким тоскливым чувством смотрели они на нашу иллюминацию. Сколько проклятий сыпалось на наши головы. Сколько семейств не досчитывались своих членов!

По известиям, полученным после, в Ургуте собрано было до семисот тел – ужасная цифра сравнительно с числом наших солдат, участвовавших в штурме. Сам Гусейн одним из первых сбежал в горы, чуть не при самом начале штурма...

Цель экспедиции была отчасти достигнута: непобедимый Ургут был взят и разорен горстью русских. Это имело громадное значение в моральном отношении.

На другой день мы снялись с лагеря и отошли к Самарканду, и только к вечеру этого дня стали понемногу возвращаться ургутцы на свое пепелище.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Пролог	4
О туркестанском тексте	16
Колониальная русская проза в контексте политики намеренного забвения	29
Ташкентцы	46
Каразин – писатель-этнограф	61
Кинесика (<i>На корточках. Без ложки.</i> <i>«Рука к желудку». Ц-ц)</i>	64
Гастрономия	85
Кунжутное масло	89
Питие	94
Опий, ганаши	100
Фатика	103
Бачи	105
Малайка	118
Камнем	121
Дома и улицы	128
Колодцы	130
Базар	134
Мазар	137
Дервиш	139
Баранта	162
Одежда и украшения	167
Ландшафт (<i>мираж, Арал, сом, фаланга,</i> <i>скорпион, саранча, верблюд)</i>	175
Зрение кочевника	198
Рождение девочек	199
Евреи	200
Глоссы и курсив	212
Война. Туркестанские пленники	218
Туркестанский манок	229
Ориентализм Каразина	236
Каразин – современники и преемники	247

Каразин и купцы (<i>Хлудов. Захо. Филатов. Первушин</i>)	247
Каразин и Лев Толстой	261
Каразин и Чехов	266
Каразин и художники (<i>Верещагин. Петров-Водкин</i>)	270
Каразин и Салтыков-Щедрин	273
Каразин и Лесков	279
Каразин и Чернышевский	290
Каразин и Вамбери	292
Каразин и Алматинская	298
Каразин – фольклорист	303
Некролог	312
Эпилог	314
<i>Литература</i>	318
<i>Приложение</i>	331
Н.Н. Каразин. Ургут: <i>Из походных записок линейца</i>	333

Шафранская Э. Ф.

Туркестанский текст в русской культуре:
Колониальная проза Николая Каразина
(историко-литературный и
культурно-этнографический комментарий)

ISBN 978-5-4386-1048-9

«Свое издательство»
199053, Санкт-Петербург, ул. Репина, 41
(812) 900-21-45
<http://isvoe.ru>
editor@isvoe.ru

Отпечатано в собственной типографии
«Своего издательства»
Подписано в печать 18.04.2016
Усл.-печ. л. 16,8. Бумага офсетная. Печать цифровая
Заказ № 1486